НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XIII

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. О. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XIII

НЬЮ-ИОРК
1946

Printed in the United States of America
by L. Rausen, 417 Lafayette Street, New York 3, N. Y. GR, 5-9802
Residence AU 3-0310

ОГЛАВЛЕНИЕ:

И. А. Бунин. — Галя Ганская 5
Б. К. Зайцев. — Путешествие Глеба 14
М. А. Алданов. Истоки 53
В. С. Яновский. — Американский опыт 113

СТИХИ:

И. Кнорринг, С. Яблоновского, К. Славиной, Т. Тимашевой, З. Троцкой, А. Биска, С. Хаимсона. Г. Яковлева 145

ВОПРОСЫ ДНЯ:

Н. С. Тимашев. — Плановое хозяйство и демократия 155
М. В. Вишняк. — Соблазн патриотизма 168

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Л. Галич. — Реализм Достоевского 188
В. И. Коварская. — Искусство на островах Океании 199

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

В. А. Александрова. — Советская молодежь 40-ых годов 205
С. П. Мельгунов. — Рыцарь свободы 217
Б. Иванов. — Советский строй и мы 240

С. М. Шварц. — «Большая Волга» 260
Г. Дерюжинский. — В Академии Художеств 281
Памяти Л. Е. Эльяшева 294

БИБЛИОГРАФИЯ:

М. Т. Флоринский. — Новые книги о внешней политике России 295
С. М. Соловейчик — Germany---our problem, by H. Morgenthau 299
Б. Н — ский. — Воспоминания В. Н. Ипатьева 302

Дальнейшие главы романа М. А. Алданова «Истоки» тесно связаны с главами, которые были автором выпущены в отрывках, печатавшихся в «Новом Журнале». Оне появятся лишь в отдельном издании.

ГАЛЯ ГАНСКАЯ

Художник и бывшій моряк сидѣли на террасѣ парижскаго кафэ. Был апрѣль, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.

— А в мои золотыя времена Париж весной был, конечно, еще прекраснѣе, — говорил он. — И не потому только, что я был молод, — сам Париж был совсѣм другой. Подумай: ни одного автомобиля. И развѣ так, как теперь, жил Париж!

— А мнѣ почему-то вспомнилась одесская весна, — сказал моряк. — Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ея совершенно особенную прелесть — это смѣшеніе уже горячаго солнца и морской еще зимней свѣжести, яркаго неба и весенних морских облаков. И в такіе дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...

Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Garçon, un demi!» и живо обернулся к нему:

— Извини, я тебя перебил. Представь себе — говоря о Парижѣ, я тоже думал об Одессѣ. Ты совершенно прав, одесская весна дѣйствительно нѣчто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздѣльно парижскія весны и одесскія, онѣ у меня чередовались, ты вѣдь знаешь, как часто ѣздил я в тѣ времена в Париж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видѣл ее гдѣ-то и говорил мнѣ, что никогда не встрѣчал прелестнѣй дѣвочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Парижѣ, думал как раз и о ней и о той веснѣ в Одессѣ, когда она впервые зашла ко мнѣ в мастерскую. Вѣроятно, у каждаго из нас найдется какое нибудь особенно дорогое любовное воспоминаніе или

Copyright 1946 by the New Review. All Rights Reserved.

какой-нибудь особенно тяжкій любовный грѣх. Так вот, Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминаніе и мой самый тяжкій грѣх, хотя, видит Бог, всетаки невольный. Теперь это дѣло столь давнее, что я могу разсказать тебѣ его с полной откровенностью...

Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отцѣ, котораго мать давно бросила. Был он очень состоятельный человѣк, а по профессіи неудавшійся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что кромѣ живописи не интересовался ничѣм в мірѣ и всю жизнь занимался только тѣм, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом — у него была усадьба в Отрадѣ — старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, гдѣ возможно. Очень красивый был человѣк, дородный, высокій, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вѣжливый, внутренно очень замкнутый, но дѣлавшій вид очень открытаго человѣка, особенно с нами: одно время мы, молодые одесскіе художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встрѣчал нас с распростертыми объятіями, держался с нами, при всей разницѣ наших лѣт, совсѣм по товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Галѣ было тогда лѣт тринадцать, четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как дѣвочкой: мила, рѣзва, граціозна была она на рѣдкость, личико с русыми локонами вдоль щек как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вбѣжала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон:

— Ой, ой, что за дѣвченка растет у меня, друзья мои! Боюсь я за нее!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и всѣ до единаго, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоѣло нам в Отрадѣ — вѣрно, его непрестанные разговоры об искусствѣ и о том, что он на-

конец открыл еще один замѣчательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел двѣ весны в Парижѣ, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дѣл и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлѣйшим щеголем: цилиндр, гороховое пальто до колѣн, кремовыя перчатки, полулаковыя ботинки с пуговицами, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и поведеніе с женщинами совершенно подлое. И вот иду я однажды в чудесный апрѣльскій день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую и на углу, возлѣ кофейни Либмана, встрѣчаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, гдѣ была эта кофейня, — на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тѣм, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себѣ: весна, всюду множество нарядnаго, беззаботнаго и привѣтливаго народа, эти скворцы, сыплющіе немолчным щебетом точно каким-то солнечным дождем, — и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая дѣвушка во всем новеньком, свѣтло-сѣром, весеннем. Личико под сѣрой шляпой на половину закрыто пепельной вуалькой и сквозь нее сіяют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицанія, разспросы и упреки: как вы всѣ забыли папу, как давно не были у нас!— Ах, да, говорю, так давно, что вы уже успѣли вырости. Тотчас купил ей у оборванной дѣвченки букетик фіалок, она, с быстрой, благодарной улыбкой глазами тотчас нюхнула его. — Хотите присядем, хотите шоколаду? — С удовольствіем. — Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все разспрашивает о Парижѣ, а я все гляжу на нее. — Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? — Нѣт, больше не увлекаюсь, работаю и написал нѣсколько порядочных вещиц. Хотите зайти ко мнѣ в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника и

живу я в двух шагах отсюда. — Ужасно обрадовалась: — Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кромѣ папиной! — Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру ее под руку, она на ходу попадает мнѣ в ногу и смѣется. Галя, говорю, — вѣдь мнѣ можно называть вас Галей? — Быстро и серьезно отвѣчает: вам можно. — Галя, что с вами сдѣлалось? — А что? — Вы и всегда были прелестны, но теперь прелестны просто на удивленіе — Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: — Это еще что, то-ли будет! — Ты помнишь темную, узкую лѣстницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с нѣкоторым благоговѣніем, начала шепотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали! и все Париж... И стала ходить от картины к картинѣ с тихим восхищеніем, заставляя себѣ быть даже не в мѣру неторопливой, внимательной. Насмотрѣлась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали! — Хотите рюмочку портвейна и печеній? — Не знаю... Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял ея ручку в лайковой бѣлой перчаткѣ: — можно поцѣловать? — Но я же в перчаткѣ... — Разстегнул перчатку, поцѣловал начало розоватой ладони. Опустила вуальку, без выраженія смотрит сквозь нее аквамариновыми глазами, тихо говорит: ну, мнѣ пора. Нѣт, говорю, сперва посидим немного, я вас еще не разсмотрѣл хорошенько. Сѣл и посадил ее к себѣ на колѣни, — знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легеньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрѣл я на нее, посмотрѣл на фіалки, которыя она приколола к своей новенькой жакеткѣ, и даже засмѣялся от восхищенія: а вам, говорю, вот эти фіалки нравятся, ваш новенькій tailleur нравится? — Я не понимаю. — Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же новенькая, как весь ваш весенній наряд и эти фіалки. —

Опустив глаза, смѣется: у нас в гимназіи такія сравненія барышень с разными цвѣтами называли писарскими. — Пусть так, но как же иначе сказать? — Не знаю... И слегка болтает висящими нарядными ножками, дѣтскія губки полуоткрыты, поблескивают... Поднял вуальку, отклонила голову, поцѣловал — еще немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому чулку вверх, до застежки на нем, до резинки, отстегнул, поцѣловал теплое тѣло, потом опять в полуоткрытый ротик — стала чуть-чуть кусать мнѣ губы...

Моряк с усмѣшкой покачал головой:

— **Vieux satyre!**

— Не говори глупостей, — сказал художник. Мнѣ все это очень больно вспоминать.

— Ну, хорошо, разсказывай дальше.

— Дальше было то, что я ее не видал цѣлый год. Однажды, тоже весной, пошел наконец в Отраду и был встрѣчен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорѣл со стыда, как посвински мы его бросили. Очень постарѣл, в бородѣ серебрится, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мнѣ свои новыя работы — летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди — старается, бѣдняк, не отстать от вѣка. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперед вы сдѣлали! Крѣпится, но сіяет как мальчик. — Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! — А гдѣ дочка? — Уѣхала в город. Вы ее не узнàете! Не дѣвочка, а уже дѣвушка, и, главное, совсѣм, совсѣм другая: выросла, вытянулась, як та топóля. — Вот не повезло, думаю, я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотѣлось видѣть ее, и вот, как нарочно, она в городѣ. Позавтракал, расцѣловал мягкую душистую бороду, наобѣщал быть непремѣнно в слѣдующее воскресенье, вышел — а навстрѣчу мнѣ она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! — А я еще больше, говорю, папа мнѣ сказал, что вас теперь и

узнать нельзя, уже не тополек, а цѣлый тополь, — так оно и есть. — И дѣйствительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плечѣ раскрытым зонтиком. Зонтик бѣлый, кружевной, платье и большая шляпа тоже бѣлыя, кружевныя, волосы сбоку шляпки с прекраснѣйшим рыжим оттѣнком, в глазах что-то слегка заносчивое, польское... — Да, я ростом даже немножко выше вас. — Я только качаю головой: правда, правда... Пройдемся, говорю, к морю. — Пройдемся. — Пошли между садами переулком, вижу, все время чувствует, что, говоря что попало, я не свожу с нея глаз. Идет, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, лѣвой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв — подуло свѣжим вѣтром. Сады уже одѣваются, млѣют под солнцем, а море точно сѣверное, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом Понт Эвксинскій. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем, она, очевидно, думает то же, что и я, — как она сидѣла у меня на колѣнях год тому назад. Я взял ее за талію и так сильно прижал всю к себѣ, что она выгнулась, ловлю губы — старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает мнѣ их. И все это молча — ни я ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, оправляя шляпку, просто и убѣжденно говорит:

— Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй.

Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.

— Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нѣт? — спросил моряк.

— До конца не было. Цѣловались ужасно, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснѣлась, вся растрепалась, и вижу, что уже не владѣет собой совсѣм подѣтски — и страшно и ужасно хочется этого страшного. Стал цѣловать ручки, успокаивать...

Но как же послѣ этого ты цѣлый год не видал ее?

— А чорт его знает, как. Боялся, должно быть, что во второй раз не пожалѣю. Но погоди, дай уж все до конца разскажу. Не видал я ее еще с полгода. Прошло лѣто, стали всѣ возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на дачѣ — эта бессарабская осень нѣчто божественное по спокойствію однообразных жарких дней, по ясности воздуха, по красотѣ ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана — и, представь себѣ, опять навстрѣчу она. Подходит ко мнѣ как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое мѣсто, опять Либман!»

— Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видѣть, но что с вами?

— Не знаю. Послѣ моря все время ног под собой не чую от удовольствія бѣгать по городу. Загорѣла и еще вытянулась — правда?

Смотрю — правда и, главное, такая веселость и свобода в разговорѣ, в смѣхѣ и во всем обращеніи, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

— У вас еще есть портвейн и печенья?

— Есть.

— Я опять хочу смотрѣть вашу мастерскую. Можно?

— Господи Боже мой! Еще бы!

— Ну, так идем! И быстро, быстро!

На лѣстницѣ я ее поймал, она опять выгнула талію, опять замотала головой, но без большого сопротивленія. Я довел ее до мастерской, цѣлуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:

— Но послушайте, вѣдь это же безуміе... Я с ума сошла...

А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвитая челка, лицо в легком ровном загарѣ, глаза глядят ярко и безсмысленно... Я стал как попало раздѣвать ее,

она поспѣшно стала помогать мнѣ... Когда я звѣрски повалил ее на подушки дивана, глаза у ней почернѣли и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись, — как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно... Но оставим это. Вот что случилось недѣли через двѣ, втеченіи которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбѣгает она однажды ко мнѣ утром и прямо с порога:

— Ты, говорят, на днях в Италію уѣзжаешь?

— Да. Так что ж с того?

— Почему же ты не сказал мнѣ об этом ни слова? Хотѣл тайком уѣхать?

— Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.

— При папѣ? Почему не мнѣ наединѣ? Нѣт, ты никуда не поѣдешь!

Я подурацки вспыхнул:

— Нѣт, поѣду.

— Нѣт, не поѣдешь.

— А я тебѣ говорю, что поѣду.

— Это твое послѣднее слово?

— Послѣднее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь мѣсяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя...

— Я вам не Галя. Я вас теперь поняла — все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мнѣ, что вы никуда и никогда во вѣки не поѣдете, мнѣ теперь все равно. Дѣло уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лѣстницѣ. Я хотѣл кинуться к ней, но удержался: нѣт, пусть придет в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что не хочу огорчать ее, в Италію не ѣду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг быстро входит ко мнѣ с дикими глазами художник Синани:

— Ты знаешь — у Ганского дочь отравилась! На смерть! Чѣм-то, чорт его знает, рѣдким, молніеносным,

стащила что-то у отца — помнишь, этот старый идіот показывал нам цѣлый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо-да-Винчи. Вот сумасшедшій народ, эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось — никому непостижимо. Отец говорит, что он поражен как громом с яснаго неба...

— Я хотѣл застрѣлиться, — тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. — Чуть с ума не сошел...

Ив. Бунин

ПУТЕШЕСТВІЕ ГЛѢБА *)

II.

Глѣб сидѣл в чертежной над листом ватманской бумаги — подшипник глядѣл оттуда. Сережа с бобриком своим на головѣ, в веснушках, проводил на чертежѣ пунктир. В огромное окно сіяло небо — весеннее уже, лазурь с кисейными облачками. На той сторонѣ, за Яузой, деревья еще голыя, по мартовски острыя — синяя пестрядь бежит от них по землѣ. Когда облаком прикроется солнце, все темнѣет. Скучными становятся рыжіе Кадетскіе Корпуса. Анненгофская роща, направо, хмуро синѣет соснами. Но опять прыснет свѣтом — опять радость, трепет, струеніе.

В другое время Глѣб взволновался-бы весной, молодость заговорила бы томленіем пронзительным. Но сейчас он в равнодушіи подшипников, винтов, гаек. Вокруг юноши тоже не видят ничего кромѣ циркулей и линеек. Всѣ они дѣлают так называемое дѣло, серьезны, внимательны. И это тоже называется жизнью — в нѣкоторой прописи изображено: «молодые люди учатся, чтобы стать инженерами».

Стеклянная дверь отворилась, вошли три студента. Один постарше, нечисто одѣтый, с перхотью на воротникѣ — глаза сѣро-тусклые, волосы жирные. Спутник, розовый юноша с усиками, очень миловидный и складный, почтительно к нему обратился: «Клингер, я думаю, здѣсь?» В рукѣ у него бумажка, он указывает, гдѣ-бы ее устроить.

Тот, кого он назвал Клингером, ничего не отвѣтил.

---

*) См. 12-ую книгу «Нового Журнала».

Взял бумажку, прикрѣпил к черной доскѣ над кафедрой.

— Коллеги, завтра в три часа сходка — по предложению Университетскаго комитета, объединеннаго с нами и совѣтами землячеств. Всѣ являйтесь. Надо выявить волю студенчества. Тут объяснено.

И так-же быстро как появились, всѣ трое вышли в другую дверь — нечего разговоры разговаривать!

Головы поднялись от чертежей. Теперь трудно было-бы сказать, что молодые люди учатся. Всѣ именно перестали учиться. Один за другим к доскѣ потянулись, образовали стайку: каждому хочется прочесть, что там такое. Глѣб тоже подошел. Один Сережа Костомаров не оторвался от пунктира своего — запылай зданіе, он, покуда не жарко, чертежей не бросит.

— «Это комитетчики. Клингер третьяго курса, связь с Университетом.» Глѣб удивился. «Какіе комитетчики?» «Такіе, забастовочнаго комитета, видите, тут написано». Глѣб протиснулся к доскѣ, прочел что надо.

Бумажка грязно была напечатана, синеватыя буквы гектографа кое гдѣ сливались. «Комитетчики!» Глѣбу не понравилось слово. «Комитетчики!»

Он вернулся к Сережѣ. «В Университетѣ волненія. Завтра нам предложат присоединиться». Сережа поднял голову. Его милые голубые глаза — давняя Калуга — выражали озабоченность. Лѣвая рука придерживала на бумагѣ линейку, правую с рейсфедером он приподнял, но никак не забывал, что пунктир еще не додѣлан. «Куда присоединиться?» «К Университету. Из чувства товарищества». Сережа опустил глаза, продолжал свои точки и черточки: двѣ черточки, точка, двѣ черточки, точка. Он нанизывал их с усердіем древняго миніатюриста. «Значит, нам предлагают бунтовать? Смѣшно!»

Неизвѣстно, что смѣшного нашел тут Сережа. Тон его был так простодушно-невозмутим, что на него самого можно было-бы улыбнуться. Глѣб, однако, не улыбнулся. Ничего не отвѣтил. Нѣчто вошло в него

острое, возбуждающее. Опять сѣл за стол, пробовал работать. Спокойствія Сережи не оказалось. «Комитетчики! Что за Комитеты такіе? Кто их устраивает?»

Домой ушел ранѣе обыкновеннаго. Пообѣдал один. В сумерки прилег у себя на диванѣ. «Они хотят бороться с Правительством. Но бороться можно, когда есть надежда побѣдить, хотя-бы маленькая». А какая-же тут надежда? Ни малѣйшей! Глѣб чувствовал себя безпокойно. Что-то начинается, ясно. Надо понять, объяснить самому-себѣ. Чтобы вышло по здравому смыслу. Но не выходит. Университетскіе студенты устроили демонстрацію. Нынче в раздѣвальной он слышал, что во дворѣ Университета сожгли кипу «Московских Вѣдомостей» — за что нѣсколько человѣк арестовано. Ничего хорошаго: сидят гдѣ нибудь в участкѣ, в грязи, с клопами. А может быть, и в тюрьмѣ? Противно. Он им вполнѣ сочувствует. «Но развѣ их выпустят, если и мы забастуем? Конечно, нѣт. Посадят еще нѣсколько наших — и тогда еще кому нибудь — студентам Петровцам, напримѣр, придется за нас заступаться».

Вернулась Таисія Николаевна, слышно ея неторопливое ворошенье в квартирѣ. Вѣрно, что нибудь убирает, переставляет. На раздавшійся вскорѣ звонок отворила сама. «Ах, это вы, Сергѣй Дмитрич». Да, Сережа. Сквозь полуоткрытую дверь Глѣб слышит их разговор, тоже негромкій. «Я так вам благодарна, что вы вазочку склеили — отлично держится, а я уж думала, пропала: это память Михаила Акинфіевича». «Очень рад, Таисія Николаевна, что́ смогу, всегда с удовольствіем». «Глѣб Николаевич, кажется, заснул. Заходите лучше сюда, ко мнѣ».

Глѣб не спал, но не подал о себѣ вѣсти. Лежа слушал спокойные голоса.

Вот взяли стул, переставили. Сережа взлѣзает на него. «Так хорошо? Повыше?» «Выше и чуть чуть вправо. Да, теперь отлично». Молоток забивает гвоздь. «Вы знаете, Таисія Николаевна, Университетскіе студенты

начали бунтовать и нас подбивают. Завтра сходка». «Неужели вы тоже присоединитесь?» Сережа слѣз со стула, вздохнул. «Я, конечно, нѣт. Мнѣ надо чертеж кончать, работы еще порядочно, а тут забастовка. Но как другіе, не знаю. Завтра рѣшится».

Глѣб перевернулся на правый бок. Ну, разумѣется, если забастовка, то из всѣх этих чертежей усердных студентов ничего не выйдет. «Какіе там чертежи, зачеты? Ерунда!» Глѣб нельзя сказать чтобы успокаивался. Скорѣе наоборот. И самый вечер, закат мартовскій с Венерою, засіявшей в огнѣ, только мучил. «А если Сережа, и я, и другіе всѣ не сдадут чертежей, это тоже неважно». Он одновременно ощутил нелюбовь и к комитетчикам, и к добропорядочным юношам Императорскаго Техническаго, ко всѣм подшипникам, зачетам, пунктирам, своим и сережиным треволненіям.

На другой день Коровій Брод не совсѣм на себя походил. По Нѣмецкой, по ближним переулкам проѣзжали на сухих лошаденках казаки. Конные полицейскіе в черных шинелях занимали перекрестки. Появились жандармы.

В Училищѣ — точно-бы перед поднятіем занавѣса странный дневной спектакль. Вот-вот дѣйствіе и начнется, а пока молодежь снует по корридорам и лѣстницам. Нельзя сказать, чтобы было покойно. Не видать прежних профессоров — лысых, сѣдых. Они в сторонкѣ. А волненіе, возбужденіе в глазах худощавых юнцов в тужурках с вензелями на плечах, с усиками, проборами на головах — головы-же начинены технологическою премудростью.

И здѣсь, и в Университетѣ, и по всей Россіи бурлят они сейчас, бѣгут, волнуются. Собственно, что случилось? Будто и ничего. Кто-то гдѣ-то повздорил с начальством. Но вода закипает внезапно, тогда, когда силы невидныя ее поднагрѣли.

Как и другіе, Глѣб оказался в большой аудиторіи. Со всѣх концов входили студенты. Подоконники огром-ные, радіаторы, низ кафедры, все полно. В разных углах задымили. Бумажки гектографа ходили по рукам, путаный, возбужденный концерт-гул со сложнѣйшей гармоніей стоял вокруг.

Он попритих, когда у кафедры, пред черной доской появилась кучка студентов — техники, но с ними и университетскіе.
Застучали, шум смолк. Выступал студент в очках, слегка подслѣповатый, с лысинкою, в мятой тужуркѣ
— и сам не первой молодости, и все на нем не такое юное. Говорил спокойно, точно читал лекцію. Рядом Клингер, дальше — вчерашній щеголеватый юноша и другіе, Глѣбу неизвѣстные.

— Коллеги, студенчество Московскаго Университета обращается к вам с призывом поддержать наше движеніе, вспыхнувшее в связи с актами произвола и насилія правительства.

Глѣб обернулся к сосѣду. «Кто это такой?» «Вы не знаете? Евстафьев, один из старост Университетских. Очень популярная личность». Глѣб дѣйствительно не знал, чѣм извѣстен Евстафьев и насколько он популяр-ная личность. Но скромный его тон, близорукость, поношеная одежда не внушили непріязни. В чем состояли «насиліе и произвол правительства» несовсѣм было яс-но. Да и Бог с ними. Евстафьев упоминал о «реакціон-ных профессорах», мѣшавших жить «студенческим мас-сам». «Оплоты реакціи» поддерживались «казацкими нагайками и городовиками». Против всѣх них и предлагалось выступить «единым фронтом все оссійскаго студенчества» — объявить забастовку.

Глѣб слушал довольно холодно. Ближе сердцу было то, что какіе-то студенты, сжегшіе «Московскія Вѣдомости», исключены из Университета и сидят под арестом — за них предлагалось заступиться. Если-бы это раз-

сказать простыми, человѣческими словами, сочувствія было бы еще больше.

Послѣ Евстафьева говорил Клингер, все о том-же, но грубѣе и рѣзче. Холодные, судачьи его глаза не разогрѣлись, сальные волосы раздражали. Он добавил, что «студенчество Техническаго училища, разумѣется, присоединится. Не присоединиться могут только трусы и шкурники».

Эти слова вызвали волненіе. «Вы задѣваете несогласных с вами» закричали сбоку. «Шкурники всегда прикрываются идеями» отвѣтил Клингер. Из дальних рядов крикнули: «Провокатор!»

Всѣ повскакали, поднялся гвалт. Большинство апплодировало Клингеру. Но группа, тѣснившаяся вокруг плотнаго брюнета, стоявшаго на подоконникѣ, упорно свистала. «Это оппозиція», сказал Глѣбу тот-же сосѣд, который освѣдомил об Евстафьевѣ. «Их лидер Андобурскій».

Евстафьев звонил в колокольчик, юноша-адъютант с усиками старался изо всѣх сил, стучал, махал рукой — как бы только утихомирить.

Наконец, Евстафьев смог произнести: — Слово принадлежит коллегѣ Андобурскому.

Опять поднялся шум. Часть апплодировала, боль-шинство свистало и кричало: «Бѣлоподкладочник, до-лой!»

Андобурскій скрестил руки на груди, не без вызова, и выжидал. В элегантной тужуркѣ, бѣлом крахмальном воротничкѣ, с самоувѣренным взором чернослив ных глаз, походил он на молодого инженера (Глѣбу смутно вспомнился калужскій Александр Иванович: «вам предстоит широкая дорога — желѣзная»). Когда чуть стих-ло, начал:

— Господа, меня удивляет самая постановка вопро-са. Смѣлость одних, якобы — трусость других — это чистѣйшая демагогія. Нас хотят запугать словами.

— Долой!

— А между тѣм, дѣло не в наших качествах, а в разумности или неразумности предлагаемых дѣйствій.

Андобурскій был слегка блѣден, но говорил увѣ-ренно. Видно, что говорить умѣл и любил слушать себя. Баритон его, с тѣм-же черносливно-влажным оттѣн-ком, что и глаза, рокотал ровно. Его прерывали против-ники, апплодировали ему сторонники.

Ни баритон Андобурскаго, ни осанка, ни довольно полный зад не понравились Глѣбу. А говорил он почти слово в слово то, что и сам Глѣб думал. Конечно, ничѣм они товарищам не помогут. Училище только закроют. Если-же не закроют, то часть студентов будет ходить на лекціи и в чертежныя. Многих зря повыгоняют, про-падет год работы ... «Он совершенно прав», шепнул ря-дом Сережа. «Глѣб, мы с тобой то-же самое говорим».

Глѣб помалкивал. Андобурскій кончил под свистки, апплодисменты. Послѣ него выступали еще другіе —одни за забастовку, другіе против. Глѣб все болѣе на-грѣвался. Ни та, ни другая партія ему не нравилась. А дѣло существенное — это он чувствовал. И как всегда — чувствовал, что сам должен что-то рѣшить, сдѣлать, оно и будет лучшим. Ему казалось, что он поступил-бы и сказал разумнѣй Клингера, разумнѣе и Андобурскаго.

Аудиторія распалялась. Среди комитетчиков, взвол-нованных, распаренных, вдруг увидал Глѣб длинные усы Артюши, его университетскій мундир и дубинку на ремешкѣ — видимо Артюша явился с запозданіем. Пахну-ло домашним — Лизой, Вилочкой, Арбатом. Глѣб сразу ощутил, что должен высказаться. Вскочил, протолкался к кафедрѣ. Измученный Евстафьев пытался навести порядок, но трудно было: говорило уже сразу двое. А тут еще Глѣб просит слова. Артюша дружественно ему за-кивал. Евстафьев крикнул Глѣбу в отчаяніи: «Коллега, вы-же видите, что происходит!» И потом, в безотзывное пространство: «Коллеги, довольно ! Президіум считает вопрос исчерпанным». Глѣб перебил: «Нѣт, почему-же, я тоже могу предложить ... » Как и многіе Глѣб искренно

думал, что вот именно он и скажет вполнѣ правильно, но никто уже ничего не слушал, всѣ орали каждый свое. Бѣлобрысый студент рядом с Глѣбом кричал, что басто-вать надо для того, чтобы добиться от правительства конституціи.

Глѣб раздражился. «При чем тут конституція?» «А при том, что царизм надо свергнуть». «Это глупо, развѣ мы сможем свергнуть правительство? И для чего?» Бѣ-лобрысый студент крикнул, что поддержат рабочія массы. Глѣб долдонил свое — нѣчто вродѣ того, что надо ходатайствовать за арестованных студентов — со-ораль-ник вполнѣ возмутился: не просить, а требовать. И во-обще так могут разсуждать только бѣлоподкладочники и шкурники. «Маменькины сынки, боитесь бастовать, на второй год остаться, чертежей своих не дочертить». «Я никакой не маменькин сынок и ничего не боюсь». Бѣло-брысый продолжал громить врагов, принявших для него обличье Глѣба. Глѣб поблѣднѣл, у него затряслись гу-бы, перехватывало в горлѣ. Припадки такіе он знал — еще минута, еще градус и он просто вцѣпится в ворот-ник этого болвана — как нѣкогда, ребенком, сражался с Юзепчуком. «Шкурники всѣ говорят, что не боятся, а дойдет до дѣла, и в кусты». «Я не шкурник» ... Но бѣло-брысый гремѣл уже что-то другому, а с кафедры подхи-хикивали Глѣбу глазки Артюши (Вот-вот, того и гляди пустится Артюша в самую неподходящую минуту в пляс. Гоп, мои гречаники, гоп мои ...).

Все-же наступило голосованіе. За забастовку — против. Блѣдный, злой, Глѣб видѣл тоже блѣднаго Ан-добурскаго во весь рост на подоконникѣ, к нему жались сочувствующіе. Большинство тѣснилось к кафедрѣ. «Я шкурник? Я боюсь чертежей и остаться на второй год?» Если-бы Глѣб в эту минуту был покойнѣе, он-бы честно признал, что вовсе ему не хочется ни терять года, ни быть высланным — тѣм болѣе, арестованным. А-а, но если он «шкурник», у котораго нѣт никаких благородных порывов, который ничѣм не пожертвует для сидя-

щих в тюрьмѣ товарищей и только трепещет — тогда наплевать, вот именно он и покажет, он и докажет... Ничего он не боится.

Когда началось голосованіе, Сережа Костомаров, пробравшійся к Андобурскому, с изумленіем увидал, что Глѣб поднял руку — «да, быть забастовкѣ» — близ самой кафедры. «Что с ним такое? С ума сошел?»

Глѣб с ума не сходил, но забастовку поддержал. Если-бы и не поддержал, она бы прошла: большинство было за нее. И апплодировало своей побѣдѣ. Враги отступали. Андобурскій взывал еще с подоконника, но уже тщетно. «Коллеги», крикнул Клингер: «забастовка начинается немедленно. Комитет сообщит профессорам. Студенчество не пойдет на лекціи! Студенчество не должно ходить в чертежныя, лабораторіи. Мы клеймим именем шкурника того, кто нарушит волю студенчества».

Так как Глѣб стоял у кафедры, Артюша без труда протискался к нему, обнял. «Я-жь так и знал, что вы с нами! Молодчина, настоящій студент! Мы им теперь укрутим хвоста!»

Кругом молодыя, возбужденныя лица. На многих тоже увѣренность, что вот кому-то там («наверху») укрутят хвоста. Одним словом, праздник!

Глѣб точно-бы перескочил через что-то — прыгнул и теперь летит, как во снѣ прыгают с четвертаго этажа: легко, пріятно и не расшибешься.

Артюша подтащил его к Евстафьеву, представил. Евстафьев добродушно улыбнулся, отирал платочком пот с лысины. Глѣб чувствовал, что уж он здѣсь свой, в каком-то потокѣ, молодом и бурном. Подходили студенты, точно-б уж давно знакомые, чуть-ли не друзья. Даже Клингер не так показался непріятен.

— Коллеги, в чертежную! Выбирать старост, десятских!

Через нѣсколько минут Глѣб в чертежной. Вот он в

самом ядрѣ, это ближайшіе забастовкѣ люди, здѣсь в нѣсколько минут выбраны старосты, налаживают и десятских. У каждаго свой десяток, десятскій должен об-ходить подвластных, убѣждать чтобы держались твердо, объяснять смысл забастовки, и так далѣе. «Коллега, вы согласны стать десятским?» Глѣб замялся. «Сумѣю-ли» ... «Тут умѣть нечего, надо быть убѣжденным и не бояться. Шкурникам, бѣлоподкладочникам мы и не предлагаем».

Какой-же Глѣб шкурник? Или бѣлоподкладочник? Кто посмѣл-бы это подумать? И хотя он не увѣрен, удастся-ли ему ... у него нѣт опыта ... — но уже поздно. Он серьезный студент, «сознательный», «нам такіе имен-но нужны».

Недалеко столик, гдѣ распредѣляют десятских. Пришлось подождать в очереди. Бритый студент, в пен-снэ, довольно строгій, записал его адрес в цѣлую ко-лонну других. Самому-же ему дал бумажку, на ней де-сять фамилій, тоже с адресами: подчиненные его, подо-печные. Он пастырь, они овцы. «Не забудьте, центр свя-зи — коллега Клингер. Нѣмецкая, дом Шапошникова». Глѣб понял — у Клингера главный штаб, туда надо яв-ляться, сообщать о десяткѣ, получать указанія.

Пока-же дѣла никакого. Глѣб спрятал свою бумаж-ку, потолкался в толпѣ, вышел из Училища. Студенты тоже расходились. Теперь все здѣсь умолкнет, а если кто нибудь попытается придти — на лекціи, в чертеж-ныя, — то особыя группы будут стеречь: не пустят.

Странно все, странно. Вот проѣзжают на рыжих ло-шадях синіе жандармы. Два часа назад это просто были жандармы. Теперь враги. Враг будет и Сережа Костома-ров, с которым вмѣстѣ учился он в Калугѣ — если взду-мает взяться за свой чертеж. А друзья — Артюша, Ев-стафьев, Клингер... еще разные. Ну, а этот его «деся-ток?» Фамиліи все незнакомыя. Он должен их убѣждать. Убѣдит-ли? И как это дѣлается? А если они вовсе не хотят ни бастовать, ни поддерживать, ни бороться с

правительством? Все равно. Надо пробовать. Трусов-то и маменькиных сынков всегда достаточно. И при этом, бастующіе заступаются за арестованных товарищей.

Домой пришел он в нѣкотором возбужденіи. «Забастовка-то прошла», сказал Таисіи Николаевнѣ. «Прошла?» «Огромным большинством. Чертежныя, аудиторіи, все закрыто». Таисія Николаевна взглянула на него с осторожностью. «И что-же, долго будете бастовать?» Глѣб нервно улыбнулся. «Не знаю, ничего не знаю». В улыбкѣ его была и черта таинственности: как один из главарей, он ничего не мог разглашать — мог знать (но не знал), а молчать должен. Да, несовсѣм он теперь тот Глѣб, что прожил уже восемнадцать лѣт на бѣлом свѣтѣ, занимался рисованіем и акварелью, и вот в дневники что-то начал записывать.

Послѣ обѣда дома оставаться не захотѣлось. Он взял записку с адресами. «Сюда зайду, около Разгуляя... а тут на Новой Басманной, какой то Судаков — и к нему...» Остальные в других направленіях: кто на Нѣмецкой, на Камер-Коллежском валу, гдѣ-то около завода Гужона, другой на Золоторожской... Нѣт, туда сегодня не хочется, это такія трущобы. Завтра. А с Новой Басманной можно на конкѣ проѣхать в центр, там пѣшком до Арбата — сразу представилась свѣтлая квартирка Лизы в четвертом этажѣ: свое, родное.

Адрес около Разгуляя нашел Глѣб скоро. Солидный дом, хорошая лѣстница. Отворила нарядная горничная — молодого барина нѣт дома. Ну, что-же подѣлать. Вечером? — Лучше уж завтра утром: вѣрнѣе.

На Басманную Глѣб прошел пѣшком, в настроеніи бодром. Странно, конечно: ходит по незнакомым... — провѣряет, научает? Во всяком случаѣ, ни на что прежнее непохоже.

Судаков оказался немолодой одинокій студент угрюмого вида, снимавшій комнатку «во дворѣ во флигелѣ». Принял Глѣба хмуро. На столѣ лежало «Сопротивленіе матеріалов», развернуто на 59-й страницѣ. Сто-

ял стакан недопитого чая. В комнатѣ сѣро, накурено, кровать под коричневым одѣялом, на стѣнѣ гитара. Судаков сразу-же, рѣшительно отказался. Нѣт, нѣт и нѣт. Довольно с него. Из Технологическаго выгоняли, из Межевого... — теперь пора и учиться. Покорно благодарю. Он даже взволновался, плохобритое его лицо покраснѣло. «Можете меня считать за шкурника, за кого угодно...» Глѣб растерялся. «Нѣт, что вы... тут свобода мнѣній... мы никого не принуждаем».

Вышел в настроеніи смутном. Свобода мнѣній... Но, конечно, он и убѣдить его не сумѣл, даже не пожелал. Десятскій! Это и есть его занятіе? Слава Богу, на сегодня довольно. К Лизѣ!

Медленно ползла конка по весенним улицам Москвы. Около Университета стало попадаться больше студентов — бродили они не совсѣм обычно: кучками. Кое гдѣ проѣзжали казали.

У Лизы отворила дверь Вилочка. Увидав Глѣба слегка вспыхнула, хмыкнула носом — нос тотчас покраснѣл. Лиза играла на роялѣ. Рядом сидѣла высокая, довольно полная дѣвушка в мелких свѣтлых кудрях. Она слѣдила по нотам и перевертывала страницы.

Лиза Глѣбу обрадовалась. Музыка прервалась. «Вот хорошо... Я как раз о тебѣ думала. Ну, как ты? Что у вас там в Технологическом?» Глѣб поцѣловал ее. «Мы бастуем, тоже». «Я так и знала. Да, вот познакомьтесь: Лера, это мой брат Глѣб».

Глѣб поклонился. Лера не спѣша протянула ему руку. Стройное, но и пышное ея тѣло плавно двинулось. Она была в голубоватом легком платьѣ. Очень большіе, шелковисто-сѣрые глаза, прозрачные и покойные. И волосы ея легкіе, самовольно и круто вившіеся, вольно произрастали.

Музыка не возобновилась. Разговор сразу перешел на событія. Лера сложила ноты. Слушала, но не вмѣшивалась.

Глѣб попал здѣсь вполнѣ в тот-же воздух, что и в

Техническом. Лиза и Вилочка были за студентов, за забастовку. Лиза особенно волновалась. «Ты знаешь, это такое насиліе правительства... они сожгли «Московскія Вѣдомости», а их за это в тюрьму ...и говорят, полиція избивает. Могут в Сибирь сослать». Вилочка хмыкнула носом. «В Сибирь не в Сибирь, а нѣкоторых навѣрное выгонят. Смотри, Лиза, как бы не Артемія».

Глѣб сказал, что сегодня видѣл Артюшу — он показался. Лиза опять заволновалась. «Да, но ты знаешь, он вѣдь в самом пеклѣ. В Университетском забастовочном комитетѣ. И он такой горячій...» «Я тоже в Комитетѣ», скромно сказал Глѣб. «Не в центральном, но у нас в Училищѣ».

Скромность была не вполнѣ скромная. Глѣбу очень нравилось предстать пред барышнями в видѣ воина. Он даже слегка задохнулся — и лавр сорвал. Вилочка пробормотала: «Разумѣется, настоящій студент и не может иначе».

Лиза весело тряхнула чолкою — будто в треволненіях за Артюшу ее утѣшало поведеніе Глѣба.

— Ты всегда был такой консерватор... А теперь вмѣстѣ со всѣми, отлично.

Лиза не договорила, но могла бы добавить: вмѣстѣ с Артюшей и его друзьями — с истинными борцами за прогресс и просвѣщеніе.

Лера сидѣла покойно. Незамѣтно, чтобы участіе или неучастіе Глѣба и Артюши в забастовкѣ сколько нибудь ее занимало. Она поднялась.

— Значит, мы в четверг будем разучивать эту арію?

Лиза разсѣянно отвѣтила:

— В четверг ... да. А почему-же вы уходите?

— Maman будет ждать. Она такая нервная. И кромѣ того, она говорит, что теперь скоро начнется бунт.

Лиза и Вилочка засмѣялись, как двѣ вполнѣ современныя и прогрессивныя барышни.

— Ах, Лера, как это ваша maman еще пускает вас сюда?

Лера тож засмѣялась — довольно милым, как Глѣбу показалось, смѣхом.

— Maman и боится, это вѣрно. Но я утѣшаю ее тѣм, что мы кромѣ музыки ничѣм не занимаемся.

Глѣб пожал на прощанье ея руку — нѣжная, как-бы тепло-пахучая волна прошла по нем. Он улыбнулся — не зная чему. Лера тоже улыбнулась — плавной походкой своею ушла.

— Она немного поет, — сказала Лиза. — Мы ей аккомпанируем иногда. Дома у них скучища, вот она к нам и ходит. Maman, papa... смѣшные. Он предсѣдатель суда, по гражданскому отдѣленію, а мать такая... знаешь, в кудряшках, на овцу похожа. Тонкая дама, с французскими фразами. Государь Император, визиты... Но не шикарные совсѣм. Живут в небольшой квартиркѣ, на Волхонкѣ.

— Мать дура ужасная, добавила Вилочка. — Впрочем, и Лера не далеко уѣхала.

Лиза улыбнулась.

— Ничего, мы к ней привыкли. Да и держится она с нами очень мило.

Глѣб посидѣл у них, но недолго. В передней Лиза поцѣловала его.

— Глѣб, а если тебя арестуют?

Вилочка хмыкнула носом.

— Лиза, не каркай.

Глѣб с видом философа надѣл студенческую свою фуражку — что-же, чаша с цикутой не так страшна.

— Арестуют так арестуют. Значит, судьба.

С тѣм и ушел. И неторопливо направился по Арбату, мимо Николы Явленнаго, Арбатскою площадью, по Воздвиженкѣ к Университету. Мартовскій закат пылал за Дорогомиловым — один из романтических закатов Москвы, весеннее ея сіяніе, не в первый раз сіявшее, Глѣбом в первый раз принятое. Московскіе закаты, юность, треволненія! Вот он шагает по Воздвиженкѣ, близок угловой «Петергоф», направо за стѣной Архив

Иностранных Дѣл, в розовом небѣ голы еще вѣтви тополей в саду его. Прямо подъем в Кремль, Кутафья башня, в Кремлѣ слѣпительно горит стекло в зданіи над стѣной. Горят купола золотые, кресты. Там, правѣе, за Моховой Волхонка. Там именно эта Волхонка с maman, тѣсной квартирой, юристом-отцом.

А надо сворачивать влѣво. Пройдешь мимо Новаго Университета, на углу образ св. Татіаны с лампадкою, украшает он полукруглое зданіе. На той сторонѣ Манеж —низкій, тяжело-неуклюжій. Сюда загоняют студентов бунтующих —кроткая Великомученица прямо на ' них смотрит. «Арестуют так арестуют» —сказать пред барышнями легко, а собственно, радости нѣт. Какая радость? Вот так-бы идти, мечтательным вечером, задумчивым юношей —это дѣло. А сѣсть в тѣсноту, за рѣ-шетку, в компаніи Клингеров, других разных?

Стало тоскливо. Ах, как все странно! Завтра опять ходить по десятку, звонить у неизвѣстных подъѣздов, разговаривать с людьми, которые, может быть, вовсе не желают тебя видѣть?

Все равно, взялся —мудрить поздно. Глѣб вскочил в конку —неторопясь погромыхивала она в края Гаврикова переулка.

«Молодой барин» около Разгуляя оказался изящ-ным юношей. Он встрѣтил на слѣдующее утро Глѣба любезно, во всем с ним согласился —будто остался даже доволен, что не надо ходить на лекціи и в чертеж-ныя: да, он тоже за забастовку! Если-бы Глѣб знал, что зимой занимался он преимущественно бѣгами и оперет-кой, к экзаменам вовсе готов не был, сочувствіе это еще менѣе удивило-бы его. Вот и бѣлоподкладочник, а под-держал.

От него отправился Глѣб по другим. Кого заставал, кого нѣт. Большинство забастовкѣ сочувствовало. Глѣб

держался серьезно, говорил вездѣ приблизительно одно и то-же и с каждым новым повтореніем оно меньше ему нравилось. Он был согласен с тѣм, что говорил, но хотѣлось-ли ему говорить, кого-то убѣждать? Да и слова, которыя произносил — принадлежали-ли именно ему? Был-ли он сам сейчас вполнѣ Глѣбом?

Вернулся домой в настроеніи смутном. Поѣл один, зашел к Клингеру. Табачный дым, суета. Дали еще новые адреса: «коллега, потрудитесь обойти и этих» — значит, опять шатаніе... Вот так день! Будто и наполненный, минуты свободной нѣт. Да... но всетаки...

Таисіи Николаевны вечером дома не оказалось. И Сережа не заходил. Ну, да что-ж, Сережа, Таисія — это обычная жизнь, каждодневная, а теперь началась новая, новые люди, иной воздух, вот и он сам чѣм-то другой.

Ночь спал неважно — нервно, все просыпался, все щемило что-то сердце. Вспомнил мать. Балыково. Вот гдѣ сейчас покойно! Мать раскладывает пасьянс, отец набивает папиросы. Пожалуй началась тяга...

Встал мало отдохнувшій. Послѣ кафе опять тронулся. «Обойд этих — и будет. Что это, правда, подряд взял?»

Идти довольно далеко — на Золоторожскую. В неприглядном домишкѣ отворили не сразу. Вышел студент в пенснэ, косовороткѣ, встревоженный, недовольный. В полуоткрытой двери, в глубинѣ, мелькнули профили в пиджаках и тужурках — синій табачный дым, как вчера у Клингера, окурки. Дверь быстро захлопнули.

Глѣб объяснил цѣль прихода. «М-м, вас послали!» «Да, вот ваш адрес». Хозяин сжал узкія сухія губы. «Вижу. Болваны!» Глѣб не знал что сказать. Но непріятно себя чувствовал. «Может быть, это ошибка?» «Не ошибка. Разумѣется, я Кропотов. Но скажите посылавшим вас, что они ослы. К Кропотову с такими глупостями не посылают! Вы первокурсник? Ну, конечно, Вы и непричем, а они должны знать...» Тон его был такой,

что вот полный генерал получил безсмысленную бумагу от каких-то прапорщиков. Как-же не возмутиться! «А теперь, извините, я занят».

Глѣб вышел нѣсколько раздраженный. Какой-то знаменитый Кропотов, матерой волк революціи, с которым первокурснику и разговаривать невозможно! Пожа-луй он сам вродѣ вождя, замѣститель или предсѣдатель, а к нему разлетѣлись. И что же это за подозрительные субъекты у него? Тайное засѣданіе?

Для слѣдующего адреса надо было пересѣчь пу-стырь — здѣсь называли его «Плац». Вдали Анненгофская роща, справа завод Гужона — там дѣлают гвозди, катают рельсы. А на плацу никого. Глѣб шел тропкой, завод гремѣл вдали, но это не было милое Людиново. Ни лѣса, ни озера! Пустыня, вагонетки, шлак. Визжит желѣзная пила, дым валит из огромной трубы. Стек-лянная крыша мастерской освѣтилась снизу: сталь вы-пускают расплавленную.

Опушка роіци — песочныя ямы. Вродѣ пещер. Валяются пустыя жестянки, клочья газет. Сосны гудят. Темные типы бродят здѣсь вечерами — женщинам луч-ше подальше держаться от этих мѣст.

Тропка вывела, наконец, начавшимися огородами, близ какой-то ограды, не то кладбищенской, не то церковной, на мост. Внизу дорога. Тут опять окраина горо-да — домики. И застава.

Глѣб сѣл на перила моста. Теперь сзади, там вда-лекѣ и завод Гужона, и Кропотов со своими заговорщи-ками. Вдаль, за город идет шоссе. Болѣе знаменитое, чѣм Кропотов. Владимірка! Глѣб знал, что это такое, но сегодня в первый раз увидѣл — обыкновенное шоссе, правѣе Анненгофской рощи. И так вот сотни верст, по нем пѣшечком, с кандалами на ногах, в Сибирь! Кандалы звякают, конвойные идут, тянутся лѣсочки и овраги.

Что за мрачный край, лачуги, ямы Анненгофской рощи, унылый постоялый двор у заставы: там узенькія

бочки для вывоза нечистот, «тараканы». Около них копошатся убогіе золотари.

Глѣб соскочил с перекладины. Почему он тут, хмурым утром, с тучами и воронами, заводом Гужона, свистками паровозов Курской дороги? Задворки Москвы, Владимірка... — ни луча, ни просвѣта! Что такое? Что за занятіе? Вновь идти, по какому-то еще адресу, разыскивать еще одного студента? Какая ложь!

От Измайловскаго звѣринца трусцой возвращался в город по Владимірскому шоссе извозчик. Пролетку потряхивало. Она миновала прибѣжище тараканов у заставы — на мосту худенькій молодой человѣк в формѣ Императорскаго Техническаго крикнул:

— В Гавриков переулок! Полтинник!

Извозчик остановился.

— Пожалуйте.

Ну вот, опять своя квартира, корридор, комната. В кухнѣ Анфимьюшка копошится. Таисія Николаевна вышивает в столовой. Нехитрый очаг, но мирный, с ним отчасти уж сжился — никаких Кропотовых и Клингеров.

Нѣт, больше никуда не идти, ни с кѣм не разглагольствовать. Бастуют, не бастуют, Бог с ними. В Училище он не пойдет, к Клингеру тоже — просто будет пережидать: чѣм нибудь все это да кончится.

Послѣ обѣда Глѣб заснул, в первый раз теперь очень покойно, будто в маленькой комнатѣ с бѣлыми занавѣсками дома в Балыковѣ.

Он провел так, в тишинѣ и отдыхѣ, два дня. Записал кое что о том закатѣ, когда шел от Лизы по Воздвиженкѣ. Пробовал изобразить словами цвѣт облаков: не то, чтобы удалось, все-же пріятно было вновь пережить тот вечер, из за облаков виднѣлась и Лера с нѣжноэлектрическими кудреватыми волосами, мягкостью, полнотой легкаго тѣла. Вспоминая о ней Глѣб улыбался.

В обликѣ ея не было той туманности, щемящаго отдале-нія, как нѣкогда в Аннѣ Сергѣевнѣ. Но нѣчто мило-вле-кущее, живое и теплое.

Заходил и Сережа. Глѣб с ним был мягок, привѣт-лив. О забастовкѣ почти не говорили. Никаким врагом для него Сережа не оказался, напротив, чувствовал он его болѣе своим, чѣм ранѣе, калужским. Даже Таисія Николаевна стала ближе. И когда предложила сыграть в преферанс, Глѣб охотно согласился. В комнатѣ ея, под голубым висячим фонариком Глѣб, Сережа, хозяйка мирно записывали мѣлками на зеленом сукнѣ Михаила Акинфіевича, сдавали, назначали игру. Можно было подумать, что нѣт ни забастовок и ни комитетов, ни землячеств. Россія тихо похрапывает.

Однако, на другой день Таисія вошла в комнату Глѣба озабоченная.

— Ах, знаете, как все это выходит непріятно ...

— Что такое, Таисія Николаевна?

— Да уж все, главное ...

Нынче она не робѣла, усѣвшись смотрѣла на него взором пристальным, почти материнским.

— Глѣб Николаевич, скажите, вы вѣдь в этом... в бунтѣ тоже принимали участіе?

Глѣб улыбнулся.

— В забастовкѣ?

— Как хотите называйте, всетаки против Правительства.

— Да, принимал. Но перестал принимать. Видите, дома сижу.

— Теперь дома, а тогда ... Ну, конечно, сгоряча. Я ведь постарше вас, многое понимаю. И не хочу, там, осуждать, или спорить, а для вас получается, все-же, не так выгодно.

И тѣм-же серьезным, обезпокоенным тоном разска-зала Таисія, что сегодня встрѣтила кума, пріятеля по-койнаго Михаила Акинфіевича. Он пристав их части. «Кума, говорит, я вам по старой дружбѣ: насчет вашего

жильца. Вѣдь он в комитетѣ! К нам всѣ ихніе списки попали и такое распоряженіе: у всѣх обыски произвести, кого арестовать, кого нѣт — смотря найдем-ли что при обысках и на каком кто счету у полиціи»... Разспрашивал о вас, я разумѣется с лучшей стороны отоз-валась, но обыск все равно будет, так приказано. Глѣб Николаевич, очень вас прошу, если есть что, уничтожь- те, или мнѣ передайте, я спрячу».

Глѣб поблагодарил. Нѣт, ничего нѣт. Ну, тѣм и луч-ше. «Никита Степанович сказал, что конечно уж потревожат ночью».

Когда Таисія Николаевна вышла, Глѣб всетаки стал перебирать вещи. Уничтожил адреса своего десятка, сжег и двѣ три бумажки, напечатанныя на гектографѣ. По наружности старался быть покоен, даже пред самим собой. Но покоя не было. Всетаки обыск, полиція ... — безславный конец страннаго его занятія послѣдних дней.

Эту ночь мать спокойно спала в Балыковѣ, сном не-крѣпким, но не смущенным: ни она, ни отец понятія не имѣли, что в Москвѣ безпорядки, безпорядки в Техническом — и всего меньше могли-бы повѣрить, что сыночка сам в них участвует. А представишь-ли себѣ, что глухой ночью, в четвертом часу, квартальный Савелов, помощник Никиты Степаныча, с двумя городовыми и прыщавым «сотрудником» (в штатском), звонят в сыночкину квартиру, входят и прямо идут к Глѣбовой комнатѣ?

Никита Степаныч не пожелал являться к кумѣ. Савелов был заспанный и недовольный, тощій и не-внушительный полицейскій, из не-преуспѣвающих. Вяло сидѣл в глѣбовом креслѣ, просматривал его паспорт, докумен-ты. Сотрудник выворачивал письменный стол, рылся в книгах, перелистывал их. Скучно горѣла лампа. Глѣб, блѣдноватый, с натянуто-надменным видом готов был каждую минуту возражать, защищаться, если бы его задѣли. Но никто не задѣвал. Никому даже интересен он не был.

«Сын горнаго инженера... Симбирское дворянство ... переведен и приписан к Калужскому, окончил Реальное Училище первым» ... — Савелов зѣвал. Третью ночь приходится возиться с этими обысками, шататься по раз-ным студентам. «И чего они лѣзут? Выросли барчуками, маменькиными сынками, выходить должны в инженеры. Папашка, небось, тысячи загребает, вродѣ нашего Ни-китки. Ну, у того жалованье, а наш прохвост купцами кормится да бандершами. Ээ, жизнь!»

В шесть все кончилось. Листки писем валялись по полу, газеты. Книги всѣ верх дном. Ящики стола выдви-нуты, комод раскрыт, перерыта постель. И Савелов и сотрудник понимали, что искать нечего, все-же стиль сохранить надо было.

С собою его не увели. Но взяли подписку: о пере-мѣнѣ жительства должен сообщить.

Через два дня Императорское Техническое было открыто. Полиція охраняла входы — ничего не осталось от пикетов забастовщиков. Сережа тотчас отправился кончать чертеж. Из вывѣшеннаго списка он узнал, что вмѣстѣ с другими «зачинщиками забастовки» Глѣб из Училища исключен.

III.

Таисія чувствовала за Глѣба отвѣтственность. В ея домѣ молодой человѣк должен произрастать солидно. «Из хорошей семьи» — тѣм болѣе. Правда, Глѣб за зиму не разочаровал ее — но вот теперь какая исторія! Что подумает его матушка? И не выйдет-ли, что и она, Таисія Николаевна, в чем-то виновна? Не досмотрѣла! Подумать: полиція, обыск ... У нея в квартирѣ. Какая непріятность! Конечно он не ребенок, и вот товарищ-то его сразу понял, чего стоит вся эта забастовка. Но ... — перед родителями будто и она в отвѣтѣ.

Глѣб удивил ее. Со странным спокойствіем, точно

и не о нем рѣчь, заявил:

— А знаете, вѣдь меня исключили.

Она ахнула.

— Что-же вы теперь будете дѣлать?

Послѣдовал знаменитый россійскій отвѣт:

— Ничего.

— Может, прошеніе подать? Кто нибудь бы похлопотал у начальства ... передумают, простят?

Простят! «Достойная женщина, но не весьма сообразительная», говорил покойный Михаил Акинфіевич болѣе сообразительная такой вещи никогда Глѣбу не предложила-бы.

Он, разумѣется, не так уж был и покоен. Выгнанный студент! Раньше и в голову не приходило. Но надо держаться, показать нельзя. Жаль-ли самого Училища и дѣла? Нѣт, нисколько. А учиться надо, что-то дѣлать надо. Глѣб молчал, скрывал, томился. Отец любил выраженіе: «недоросль из дворян». Вот он теперь и есть такой недоросль.

Домой написал письмо равнодушное, ясное. Была в Училищѣ забастовка, как и другіе, он не ходил, его исключили (Ничего особеннаго ! Исключили и исключили).

Отправляя посланіе, меньше всего думал о том, ка-кое впечатлѣніе произведет оно на родителей. Родители — нѣчто общеизвѣстное, главное их занятіе — любить Глѣба, помогать ему в жизни, устраивать, налаживать. Родители созданы для его благоденствія — это безспорно.

Опустив письмо в ящик, отправился на Арбат.

Лизу застал в волненіи. Увидѣв его, она чуть не заплакала, обняла, поцѣловала.

— Ну, слава Богу, хоть ты цѣл.

Вилочка хмыкнула носом, сказала довольно твердо:

— Знаете, вѣдь Артемія взяли.

Лиза отошла к окну, глаза ея налились слезами.

— Это такая жестокость ... они сидѣли в Манежѣ ...

с ними так грубо обращались... а теперь... разослали по тюрьмам в провинцію.

Дальше говорить было трудно. Лиза не любила плакать на людях, выскочила в спальню.

Вилочка относилась покойнѣе.

— Все волнуется. Бѣгает по разным жандармам, охранкам, в Университетѣ разузнает. Артемія с цѣлой партіей отправили в Нѣжин. Вы знаете, что она наду-мала? К нему собирается, навѣстить! Ей кажется, что уж его на каторгу сошлют, вообще всякія страсти. А я увѣ-рена — она понизила голос: что его никуда не сошлют. Вообще все это она преувеличивает. Ну, а вы? Как вы? Слава Богу, на свободѣ?

Глѣб отвѣтил, все с тѣм-же не вполнѣ естественным спокойствіем, что его исключили.

Вилочка вспыхнула.

— Это ужас, это ужас! Что-же вы теперь будете дѣлать?

Она совсѣм взволновалась. Даже нос покраснѣл. Отворила дверь к Лизѣ.

— Слышишь, Глѣба Николаевича исключили из Техническаго!

Лиза вышла с мокрыми глазами и посочувствовала. Но так-же была внѣ глѣбовых несчастій, как Вилочка внѣ артюшиных. На Глѣба извѣстіе об отъѣздѣ ея подѣйствовало.

— Ты в Нѣжин собралась?

Лиза молча кивнула.

— Что-ж ты там будешь дѣлать?

— Постараюсь его увидѣть. Они всѣ в тюрьмѣ сидят, как разбойники. Такіе несчастные ...

Лиза сдержалась, на этот раз не заплакала. Глѣб смотрѣл на нее. Да, это она — маленькая и худенькая, она-то и поѣдет. Эта не выдаст. «Несчастные ... » — гдѣ несчастные, там уж и она. Так в дѣтствѣ было, с хромы-ми цыплятами, больными дѣтьми на деревнѣ. И теперь то-же самое. Нѣжин, тюрьма, полицейскіе ...

У него дрогнул голос, когда он спросил:

— Скоро трогаешься?

— На этих днях. Как только из Консерваторіи отпустят.

— Да, Лиза, — сказала Вилочка, — Лера оставила тебѣ десять рублей. Тоже хочет помочь. «Только, гово-рит, чтобы maman не узнала, что это на поѣздку к ссыльным». Так что у тебя теперь пятьдесят.

Глѣб удивился — не скрыл этого. Собирают на до-рогу, почему-же к нему не обратились? Кажется, он брат, ближайшій человѣк. Вилочка засмѣялась. «Да у вас самого навѣрно ничего нѣт!» «Откуда вы это знае-те?» «Ну, так подумала — вы-же студент». Но настаи-вать не стала. Почувствовала, что Глѣб взволнован, вот вот и обидится.

Двадцать рублей он выложил тотчас. Вилочка осталась довольна.

— Болѣе чѣм достаточно.

Когда жалѣла, Лиза не могла уже ни с чѣм считаться. Они всѣ там в бѣдѣ, заточеніи, Артюша тоже, значит, страшно или не страшно, есть деньги или нѣт, ѣхать надо. Просто — не поѣхать невозможно. И Лиза Вилочки не послушалась (та вначалѣ ее отговаривала). Не послушалась бы и матери, отца, если-бы тѣ были тут.

Путешествіе началось. Никакой суетни, впору пріѣхали, впору сѣли в вагон: дамское купэ второго класса.

Мѣсто у окна, двѣ приличных сосѣдки. Второй звонок. Глѣб и Вилочка на платформѣ, у окна, в свѣтѣ дня весенняго; а там и третій. Поѣзд трогается, вокзальная толпа ушла. Во втором русском классѣ, неторопливо

погромыхивающем, катит Лиза мимо Андроніева монастыря, мимо завода Гужона гдѣ недавно Глѣб бродил, в дальній путь через Тулу, Орел, Курск. Лиза смотрит в окно. В сумочкѣ на груди семьдесят рублей, все внутри напряжено и собрано, полно силы, порядка. Лиза вѣса не чувствует, что ни сдѣлает — самый пустяк — все легко. Дальше, дальше, вперед. Все не зря. Все не зря.

Рощи Подольска, Лопасня Чехова. Лиза лежит на диванчикѣ второклассном, он в полосатом чехлѣ. Вагон идет мягко, сосѣдки болтают. Сосѣдкина сумка, подвѣшенная на крючкѣ, поколыхивается, неторопливо подрагивает. В Серпуховѣ пересѣкает Лиза Оку, ту са-мую, что в дѣтствѣ любила в Будаках. Из Будаков она и течет! Может быть «Князь Владимір» ципулинскій, или «Екатерина» стоят там у пристани, завтра в Калугу тронутся?

Тула, Мценск, Орел — та-же средняя Русь, что Ка-луга, Усты и Людиново. Ночь — на том-же диванчикѣ, при заснувших сосѣдках, задернутой свѣчѣ фонаря над дверью, в тепло-душноватом воздухѣ. Лиза спит крѣп-ко. Поѣзд несет ее, поѣзд несет. Маленькая рука, для которой трудны октавы, придерживает и во снѣ сумочку на груди. Да никто и не тронет.

В Курскѣ ей пересадка — новое купэ, новый моло-дой сон. Начинается страна Гоголя — зеленая мощь, бѣ-лыя хаты, тонкіе тополя. Лиза не видит их, но уже ды-шит воздухом Малороссіи. А Нѣжин является в сіяніи утра. Невысокое зданіе, жандарм и начальник станціи в красной фуражкѣ. С нехитрым своим чемоданчиком Ли-за выходит. Новый мір. Он хватает сейчас-же своей лапой — добродушной и теплой. Как блестит солнце! Какой крик на базарѣ! Какія хохлушки, в монистах, за-пасках, здоровенныя, бѣлозубыя!

Лиза сильно здѣсь выдѣлялась по виду — московская барышня, постоличному и одѣтая, худенькая, хруп-кая. Но не робѣла. И край этот, домиков с садами, в цвѣтущих вишнях, сливах, с деревянными заборами, не

был враждебен. Впрочем, если-бы и враждебен все равно, теперь поздно. Она взяла комнату в первой попавшейся гостинницѣ. Пила чай с удивительными сливками, пуховым бѣлым хлѣбом.

А потом вышла на базар, спросила гдѣ тюрьма и неторопясь, точно шла за покупками, под плавным солнцем, сквозь толпу хохлацкую направилась к этой тюрьмѣ. Так-же мало себя ощущала Лиза, как и когда ѣхала. Так-же катила по рельсам, а они уж вели куда надо. Привели в самый обыкновенный острог, столько русских городов украшавшій на окраинѣ их: тяжеловѣсное зданіе с оконцами в рѣшетках. За рѣшетками вѣчные «несчастненькіе» — на вечерней зарѣ выѣзжающій в тарантасѣ, взглянув на окна острога, гдѣ блеснет луч закатный, вздохнет погружаясь в поля.

Лиза прошла в низкую комнатку, вродѣ канцеляріи. Она не вздыхала, ей просто нужен начальник тюрьмы. Из другой комнаты вышел тощій старичек, его можно было принять за инвалида.

«Я хотѣла-бы видѣть Артемія Грищенко, студента из Москвы. Он у вас, среди политических». Старичек удивился. «А вы кто же будете? Почему о нем спрашиваете?» «Я его невѣста». «Невѣста». Он застегнул пуговицу на тужуркѣ, поправил худородный сѣдой ус. «Что-же это вы, из Москвы к нам?» «Из Москвы». Голубоватые его глазки на морщинистом лицѣ, запеченом и нисколько не грозном, выражали удивленіе. «Как далеко»... Лиза тихо сказала: «Я хотѣла повидать жениха».

Старичек слегка фукнул. «А вѣдь свиданія не разрѣшаются». «Я так долго ѣхала»... «Ѣхала зря и доѣхала, а я что-жь могу подѣлать, когда такой порядок? Нѣту с ними свиданій и все тут!» Лиза молчала. Она стояла тихо, упорно. И не боялась. Старичек был недоволен. Морщинки на лицѣ собирались, разъѣзжались. Он вынул бумажку, положил табачку, свернул; проведя языком по бумажкину краю склеил. Потом вдруг отошел от двери. «Пройдите сюда». Лиза покорно вступи-

ла в корридор. Из окна виден был двор. Солнце затопляло его, воробьи заливались на крышѣ. Старичек закурил. «Как фамилія-то? Жениха-то?» «Грищенко, Артемій». «Я не могу вам дать свиданія». «Дайте, пожалуйста». Старичек пустил дым ноздрями. «Я не могу вам дать свиданія, но никто не может помѣшать мнѣ вызвать к себѣ на квартиру студента Грищенку. Рѣшительно никто не может. А квартира моя вот — пожалуйте в эту дверь».

Лиза вошла в небольшую комнату, вродѣ гостиной, с икусами в кадках, зеленой ползучей «бородой». Кот важно прошелся по половичку. Портрет Александра Второго смотрѣл со стѣны — пробритый подбородок, бакены, гусарскій ментик.

Окно с фуксіями на подоконникѣ тоже выходило во двор. Через нѣсколько минут стайка воробьев, веселившихся и клевавших посреди двора, в травкѣ между неровными булыжниками, шумно взлетѣла — прямо на них шел студент в сѣрой тужуркѣ, с бобриком на головѣ, длинными горизонтальными усами. Он пересѣк двор, слышно как отворил дверь, вошел.

Лиза одна была в комнатѣ. Кот сидѣл на солнышкѣ, грѣлся, умывался лапкой. Император продолжал быть в ментикѣ.

— Лиза!

Артюша присѣл, ноги его растопырились, а потом кинулся он к ней, в первую минуту ничего даже не могли они сказать друг другу — в слезах, путаных восклицаниях — «да как! да ты, тут! Вот так раз ... » Старичек позволил им провести вмѣстѣ четверть часа.

Каждый день отправлялась Лиза в тюрьму к старич-ку — имя старичка Иннокентий Иваныч. Каждый день приходил к ней Артюша, все в ту-же комнатку с Александром Вторым. Солнце украинское так-же веселило

воробьев, радовало кота и мух. Лиза питалась не солн-цем, но любила его, как и Малороссію эту полюбила, базар, хохлушек, хохлов с усами Тараса Бульбы, торго-вавших дегтем, горшками, колесами — мало-ли еще чѣм! Проходя базаром вспоминала «Сорочинскую яр-марку» и отца, в Устах им читавшаго вслух: «чого нема на тій ярмарци! колеса, скло ... тютюн, крамари всяки ... »

Питалась-же она собой. В ней жило чувство крѣпо-сти, силы, она знала, что вот надо так, и хорошо —жить в маленькой нѣжинской гостинницѣ, бродить по базару, бѣгать с хохлушками (скоро пронюхавшими, что у ней жених ссыльный — сочувствовали), главное-же хорошо: в комнатѣ старичка Артюша; простыя сло-ва, но милыя, в свѣтѣ. Лиза чувствовала, что и собою питает. Чѣм больше питала, тѣм больше возрастала в ней самой эта пища.

К Иннокентію Иванычу очень привыкла. Точно свой, дядя, дѣдушка. А подумать только: начальник тюрьмы!

«Иннокентій Иваныч, разрѣшите мнѣ нынче побыть полчаса!» Начальник тюрьмы пофукивает. «Да вы и так полчаса бываете». «Нѣт, меньше. А нынче хочется ... » «Вам всегда, разумѣется, хочется. Из Москвы в Нѣжин пріѣхала, значит, треба видѣти. Полчаса, полчаса... Ну, Бог с вами. А когда нибудь влетим мы оба».

Иннокентій Иваныч хоть и начальство, но не един-ственное. В тюрьмѣ бывает и прокурорскій надзор, и полицеймейстер. Лиза довольно скоро в этом убѣди-лась — как и в том, что не всѣ похожи на Иннокентія Иваныча.

На шестой день, подходя к тюрьмѣ, увидала про-летку, парою на пристяжку. Все блестит, лоснится, кучер нарядный. Прошла мимо, в ту-же дверь как всегда. «Нѣт, нѣт, нынче нельзя, полицеймейстер здѣсь, ухо-дите». Иннокентій Иваныч был смущен, раздражен. Лиза покорно исчезла. Недалеко от тюрьмы эта-же пара на пристяжку обогнала ее. Высокій человѣк в полицей-

ской шинели, с темными бакенбардами, крѣпко сидѣв-шій в пролеткѣ, посмотрѣл на нее внимательно.

Вечером вновь зашла. «Влетѣли, матушка, влетѣли! И чтоб духу вашего тут больше не было. А то с жандармами в Москву отправят, да и меня по головкѣ не погладят». И Иннокентій Иваныч сообщил, что все от-крылось — полицеймейстер знает, что она пріѣхала, недоволен, велѣл и в канцелярію не пускать. Да и все равно, она жениха больше не увидит: завтра студентов отправляют в Чернигов, тоже в тюрьму. А там будут сортировать. Кого куда.

У Лизы ноги похолодѣли. «А в Сибирь могут?» «Куда захотят, туда и могут. А я ничего не знаю-с, ни-чего... я должен завтра всѣх их новому начальству сдать».

Лиза провела тягостную ночь. Неужели даже не простится с Артюшей? Вспоминая его бобрик, простенькіе, но такіе милые глаза (он смотрѣл ими на нее как на мать, на заступницу), Лиза плакала молча, в тишинѣ

непровѣтренной нѣжинской комнаты. Нѣт, всетаки она его увидит! Поѣзд в Чернигов уходит в десять — надо явиться на вокзал. С тѣм под утро она и заснула, с тѣм и день провела: но ни дня, ни ее не было, был впереди только вечер.

А к вечеру гроза грянула, зеленыя молніи ломали небо, бѣлый дождь хлестал, малороссійскій Нѣжин весь кипѣл, пѣнился в пузырях и брызгах. Разбушевалась Хохландія. Но к восьми смолкло, дождь перестал.

Расплатившись в гостинницѣ, Лиза в девять без четверти вышла с саквояжиком своим, так-же тихо и дѣловито, как сюда ѣхала — направлялась к острогу. Уже сильно стемнѣло. Никого! Зарницы поблескивают, на базарной площади нѣт уже хохлушек. Послѣ дождя лужи, грязь. Пред знакомым зданіем тоже темно — керосиновых своих фонарей еще не зажигал город Нѣжин, да если-бы и зажег, мало от них радости.

Лиза так и ходила, неприкаянной тѣнью, взад и

вперед по тротуару напротив, пока в сумрачном зданіи медленно, скучно дѣлалось свое дѣло. Ходили, ругались, выстраивали во дворѣ арестантов. Винтовки конвойных побрякивали. Лиза ждала. Все равно, надо ждать. Для того и пришла.

Отворились ворота — шествіе началось. Солдаты, тюремщики. Они окружают, а там, за ни-ми, в срединѣ ... — Странный звук — позваниваніе, точно желѣзо об желѣзо. Так и есть. Голова шествія поровнялась с Лизой, она разглядѣла: куртки, шапочки вой-лочныя, на ногах цѣпи. Каторжники! Потом без цѣпей арестанты, а там и они, московскіе. Лиза задохнулась. Вот гдѣ Артюша! За каторжниками, ненастною ночью мѣсит грязь гоголевскаго городка!

Студенты брели ватагою, тоже проходили совсѣм близко, хотѣлось крикнуть «Артюша» ! но сдержалась. В каждой проходившей тѣни он мерещился. И вот всѣ прошли, его не увидѣла.

Начались подводы с вещами, опять солдаты, стража тюремная. А вдруг и вовсе не увидит, на вокзалѣ? Нѣт, надо и надо, что тут раздумывать. И по той-же мосто-вой, не по тротуару, как на похоронах, зашагала по той-же грязи, какую и они мѣсили, это вѣдь свои, род-ные, «несчастные». Так и продѣлала путь через пустын-ный Нѣжин, на странных ночных похоронах — до вок-зала. Они мѣсят грязь и она, так и надо, все правильно.

У вокзала их повели налѣво, к боковому входу, гдѣ товарные вагоны. Солдаты стерегли эти ворота. Туда не пройти. Лиза вернулась к главному подъѣзду. Вошла, взяла билет до Москвы — ея поѣзд отходил в одиннадцать. Время есть. Была тиха, все дѣлала неторопливо и спокойно. У буфета съѣла пирожок с видом самым обыденным — путешественница дальняго плаванія. Но и в движеніях ея, спокойствіи, сосредоточенно-сти было нѣчто сомнамбулическое. Ее несла сила — пока не перестала дѣйствовать, Лиза знала куда идти и что дѣлать, хотя ни о чем не думала.

Дожевав пирожок вышла на платформу, беззвучно по ней пошла, не размышляя спустилась в концѣ с лѣ-сенки. Вблизи будка с семафором. Товарные вагоны на путях. Красные, зеленые огни меж ними и над ними, движущіеся фонарики пересѣкают рельсы, фигурки постукивают молотком под вагонами. Пыхтит, выпуская вбок пар, освѣщенный золотым фонарем, маневрирую- щій паровоз.

Лиза шла мимо каких-то стрѣлок, подъѣзжавших, отъѣзжавших на другой путь вагонов — то они прицѣплялись к составу, глухо бухая буферами, то силою огневѣющего паровоза вновь уходили в темноту. Но во всей этой пестрой темени скоро оказалась она гдѣ надо: на запасном пути, у товарной станціи. Там грузили аре-стантов.

Вот они, милые синіе околыши, черныя шинели с золотыми пуговицами — свои, наши! Борцы за лучшее будущее, вмѣстѣ с другими свѣтлыми личностями ве-дущіе «к тѣм-же огонькам, которые ... »

Тут Лизѣ повезло — не то, что было тогда у остро-га: самый лучшій борец, с длинными горизонтальными усами, в папахѣ, тот самый, из-за котораго путь про-дѣлан до Нѣжина, оказался прямо под рукою, один из первых ей попавшихся. И темнота, безтолковщина по-садки помогли — удалось отойти в сторону, к груди прижать, поцѣловать, поплакать... «Господи, куда-же вас, в Чернигов? А оттуда?» «Ничего, ничего ... там по-бачим, а ты не журись, у-у, дурная, зачѣм плакать ... »

Но у борца самого глаза на мокром мѣстѣ, однако, слезы эти не горесть: волненіе, быть может даже счастье — вѣдь вот явилась-же сюда, в послѣднюю минуту, в темнотѣ среди конвойных разыскала — значит любит, одиночества нѣт, пусть Чернигов, ничего.

Это и была удача их в темный нѣжинскій вечер, но удача краткая.

— Вы зачѣм здѣсь? Кто вас сюда пустил?

Как внезапно Артюша возник, так из той-же тьмы

с той-же неожиданностію явилась крупная, знакомая фигура в полицейской формѣ. Нѣт, это не Иннокентій Иваныч!

— Я прошла...

— Вы не можете тут находиться. Потрудитесь уйти. И нынче-же выѣзжайте в Москву. Если завтра я вас увижу в Нѣжинѣ, то этапом вышлю к родным. Мнѣ это надоѣло. Аникин! Проводи барышню до вокзала. И посади в вагон. В одиннадцать, на Москву.

Жандарм сдѣлал под козырек.

— Слушаю, ваше высокородіе!

Ночь, неторопливый ход поѣзда. Широкая русская колея, тяжкіе вагоны — спѣшить некуда, ѣхать так ѣхать, во всяком случаѣ основательно.

В дамском купэ фонарик над дверью задернут. Коричнево, полумрак теплый и душноватый, случайное жилье, но уж будто насиженное. У окна Лиза. На другом диванѣ, полосатом, второклассном, женщина средних лѣт, полная, с мягкими карими глазами, в шали, серьгах. На пальцах кольца — жует пряник.

— Кушайте, скушайте еще.

Протягивает Лизѣ коробку.

— Поѣдите, милая, веселѣй на сердцѣ станет.

Ѣдут вмѣстѣ около часу. Уже познакомились, уже начинаются разговоры — из безконечных русских вагонных, «открывающих душу», иногда заключающих даже дружбы. Уже знает Авдотья Семеновна, зачѣм ѣздила Лиза в Нѣжин. Лиза узнала, что сосѣдкѣ путь совсѣм дальній — за Москву, за Урал, в Тюмень. А ѣдет из Кіева: не так то мала Россія! Ѣздила по дѣлам наслѣдства, теперь домой.

Лиза поблагодарила, взяла пряник.

— Вы меня этак закормите.

— Вас чего-же, голубушка, и закармливать. Вас

подкармливать надо, вон вы какая кволая. Да от слез дородности не наживешь. А только я правду говорю: разливаться вам нечего.

Авдотья Семеновна отложила коробку с пряниками, оправила волосы, усѣлась поудобнѣе.

— Первое дѣло, вы боитесь, что жениха вашего отправят в Сибирь. Это напрасно. Что-же он такое сдѣлал? Чѣм провинился? Забастовка, газету жгли, пошумѣли... — помилуйте, мы это дѣло смыслим немного. Видали ссыльных. Другая статья. Это которые в партіи, печать тайная, прокламаціи, рабочих на бунт подбивают.

— Артюша ни в какой партіи не состоял.

— То-то и оно-то. Просто: молодой человѣк, горячій, товарищей поддержал. Посидит, конечно, в Черниговѣ. Веселиться не приходится, да и убиваться не надо. На доктора, говорите, учится? Вот, подержат до осени, а там опять в Москву, в клиники эти, на Дѣ-вичьем полѣ. Клиники замѣчательныя. Меня туда три года назад посылали. Там у вас Снѣгирев, знаменитый профессор — вылѣчили, не могу пожаловаться. Москва город богатый, щедрый. Ваши купцы много на меди-цину жертвовали — что правда, то правда.

Но вот что насчет Сибири, вы русскіе мало ее знае-те, и как бы сказать, не цѣните, даже боитесь.

Лиза подала из уголка своего голос:

— Почему вы сказали: «вы русскіе», развѣ вы сами не русская?

— Я, понятно, русскаго происхожденія. Но сибирячка. Это особая статья. А Сибирь цѣлый мір.

Лиза не только что Сибирь, свою Россію едва знает. Волги не видала никогда, Кавказа, Крыма, даже Кіева. Поѣзд, постукивая, идет малорусскими полями, мимо Бахмачей разных и Конотопов, но и это все мгновенно мелкнет в ночи, не оставив слѣда: да и Нѣжина бѣглый слѣд — сон!

Сном окажется, может быть, и сама поѣздка, эта

ночь и сосѣдка с разсказами, но сейчас еще сон длится. Лиза слушает.

— Мой отец из Тюмени родом. Знаете, Западная Сибирь. У нас дом свой в Тюмени, отличный. Мать рано умерла, я сироткой росла, но отец, Царство Небесное, очень меня любил. У него винокуренные заводы были по Иртышу. Большое дѣло. А меня он отчасти и баловал, отчасти и в жизнь вводил, с ранних лѣт. Напримѣр, когда ѣздил вдаль, по заводам своим, то меня непремѣнно брал. Ах, это так было интересно! Во мнѣ по наслѣдству, что-ли, дѣловая жилка оказалась. Да и путешествія эти ее развивали. В тринадцать, четырнадцать лѣт я многое в нашем хозяйствѣ понимала. И куда мы с отцом ни пріѣзжали, он всегда меня служащим представлял: «моя наслѣдница, ваша будущая хозяйка».

Отец был дѣловой человѣк, но добрый и вѣрующій. И я тоже вѣрующая, с дѣтских лѣт. А отец был и благотворитель, и в церковных дѣлах дѣятель. Вот мы с вами, голубушка, все про арестантов да ссыльных разговаривали. А вѣдь я сызмальства их знаю, можно сказать даже среди них росла.

К нам в Тюмень очень много их из Россіи присы-лали. Была и пересыльная тюрьма — огромная. При ней церковь. А отец в ней церковный староста. Так что по-стоянно около нея и в ней — и я, конечно. Там я и впер-вые каторжников увидала, которых дальше отсылали, в Восточную Сибирь. Они совсѣм не казались мнѣ страшными.

Один случай мнѣ особенно запомнился, на всю жизнь. Если угодно, разскажу.

Лиза сказала, что очень хочет послушать.

— Я была еще совсѣм маленькая, лѣт восьми-девяти. Мы с папенькой стояли у обѣдни в этой церкви. А там так устроено было, внизу вольные, а каторжники наверху, на хорах — у них и дверь особенная. Когда их вводили, то всегда такой звон кандалов, знаете, слабый, скорѣе позваниваніе, но на меня это дѣйствовало. Мнѣ

их всегда жалко было. Да и отец жалѣл, что мог им всегда помогал. И вообще у нас в Сибири принято жа-лѣть ссыльных. Но тут вышло особенно.

Значит, я стою с отцом у клироса, на обычном на-шем мѣстѣ. Литургія идет. Наконец, Херувимская, Хор поет: «Иже Херувимы, тайно образующе ... » — как всег-да мы на колѣни опускаемся и вдруг сверху звук такой, цѣпи, знаете-ли, звенят — вся толпа долу приникает. Хор! «И Животворящей Троицѣ Трисвятую Пѣснь при-пѣвающе» — я подняла голову, а они на полу лежат, над нами, простерлись, и рыдают, рыдают ... Тут, помню, мнѣ по спинѣ точно кипятком брызнули, в глазах блес-нуло. Я, знаете-ли, к папашѣ прижавшись... Опять на них, посмотрѣла, отцу шепчу: «Папенька, говорю, а вѣдь Христос-то с ними».

Голос Авдотьи Семеновны оборвался, она слегка отвалилась на диванѣ.

— Папаша говорит: «Понятно с ними, Дунечка. А это ничего. Ты их жалѣй, так Он и с тобою будет — Он всѣх страждущих жалѣть заповѣдал».

Она примолкла.

— Вот, душенька, и вы платочек вынули, а меня прямо тогда это потрясло. И сорок лѣт прошло, папа-ши давно в живых нѣт, я замужем, а до гроба доски не забуду как меня тогда всю, махонькую, такая сила пронзила.

К этому еще и то могу добавить: о. Виталій, наш священник был тюремный, он их исповѣдывал и прича-щал — старый человѣк, почтеннѣйшій. Он говорил мнѣ, когда я уже взрослая была: «Им у меня нечему учиться. Они так исповѣдуются, как нам и не снилось. Я пола-гаю, что настоящіе-то христіане они, а не мы». И еще добавлял: «Я им до высшей степени благодарен. Они меня смиренію учат». Видите, какіе каторжники-то наши.

И наша жизнь там, в Сибири, очень с ихнею пере-плелась. Они, обычно, когда из Россіи в пересыльную

попадали, то очень боялись: Сибирь, мол, да то да се, каторга начинается. А как раз наши им к празднику то пирогов, то пряников понашлют, отец мой в первую голову: что-жь, хоть и провинились, а вот искупают — несчастненькіе, значит. Их жалѣть надо. Они и удивлялись.

Или тоже, я помню по дѣтству: отец берет меня с собою в поѣздку. Садимся на пароход, и по Иртышу, путь немалый. Велика наша сторона, ух, огромна! И рѣки как моря. Ну, вот, плывем, на буксирѣ за еами баржа, с каторжниками: их из Тюмени дальше, в Восточную Сибирь отправляют. Хмуро так, небо сѣрое, вода, вода... а они хором пѣть начинают. Как поют! Вы бы послушали. Отец мнѣ, напримѣр, говорит: «гдѣ бы ты хотѣла, Дуня, чтобы мы остановились?» (Там разныя пристани есть — мимо нѣкоторых мы проходили, у других останавливались). Я отвѣчаю, положим: там-то. Он сейчас к капитану: «Вот, наслѣдница моя желает привал сдѣлать». «Извольте, ваша воля».

Останавливаемся. Сейчас-это нам на пароход всякое добро тащут, с берега. Болѣе всего рыбу — знают, сурьезный купец ѣдет. Осетрина, бѣлуга, мало-бы чего... нельма, такая знаменитая сибирская рыба. Пироги разные. Птица.

Отец все берет, цѣльными корзинами. Неужто-жь мы съѣсть можем? «Это здѣсь на пароходѣ оставить, остальное им на баржу», остальное то — самая большая часть. И вдруг оттуда через четверть часа ура несется. Получили! Благодарят. Да, это у нас уж так заведено. Мы привыкли к каторжникам и не боимся их. И знаете, в Сибири: бѣглые, напримѣр, которые с дальней каторги пробираются — вѣдь им всѣ помогают. Вы навѣрно и слышали: в деревнях бабы на ночь им у ворот, околиц хлѣбушка выставляют, молочка... а то с голоду вѣдь в тайгѣ помереть можно.

Поѣзд постукивает-себѣ постукивает. Неторопясь

бѣжит. Свѣча горит за коричневою занавѣскою. Лиза слушает да слушает.

— Я сама раз наткнулась... Вы еще не заснули?

Лиза лежит на спинѣ. Нѣт, не заснула. Нѣт, уж тут не заснешь!

Голос в тихой ночи русской:

— Мнѣ уж было, может быть, лѣт четырнадцать. Мы пріѣхали с папенькой на винокуренный наш завод, жили там нѣсколько дней. Мѣсто глухое, дикое. Лѣса да лѣса кругом — тайга. Раз, знаете-ли, собрались слу-жащіе в поѣздку, в воскресный день, для развлеченія, верст за десять. В долгушѣ, самовар с собой, всякаго добра довольно. Отец не поѣхал, а меня пустил: пору-чил одному там особенно за мной смотрѣть.

Лизѣ нравился голос. Как покойно! Мягкій и до-вольно низкій, но и круглый — вот идет, идет ...

— На полянкѣ чай пили, свое угощенье, а потом в лѣс по грибы. Со мною провожатый мой, да мы вдаль и не собирались, друг другу голоса подаем, а Иван Пет-рович от меня ни на шаг. Только вышли на прогалинку — вижу, трава в одном мѣстѣ подымается, точно там что то шевелится. Я испугалась. «Иван Петрович», го-ворю: «медвѣдь!» «Не извольте, мол, барышня, безпо-коиться, это не медвѣдь, а как раз человѣк!»

Мы к нему. Так и есть, человѣк. Да какой, в каком видѣ! Уж дѣйствительно, никому не опасен. «Дяденька, говорит, сил моих нѣт, отощал совсѣм, пропадаю в этой вашей тайгѣ. Дай хлѣбушка Христа ради».

Милая, на него только взглянуть! Посмотрѣли-бы вы. Весь волосами зарос, точно дикобраз какой, а уж, худ ...

Авдотья Семеновна даже охнула — грустно предста-вить себѣ такого худющаго.

— Мы его с собой повели, назад, к нашим. Он сов-сѣм смирный — ну, с каторги бѣжал, это конечно, а сейчас едва на ногах держится. Покормили, чайку дали, ветчины, яичек ... Что-же с ним дѣлать? Служащіе стали

между собой совѣщаться — колеблются. А я говорю: «мы его домой повезем, на завод, не бросать-же тут в лѣсу». Сначала будто противились, но я настояла. Я, мол, хозяйская дочь. Моя воля. Я перед папенькой отвѣчаю.

И как-бы вы думали: не с собой-же его, в лохмотьях, сажать — так пристяжку одну отпрягли, его верхом, а с ним кучера, и вот, шажком на завод. Конечно, мы на парѣ в долгушѣ раньше их домой добрались, но они не пропали, тоже пожаловали благополучно. Я отцу разсказала. Он ничего. Когда того привезли, сразу велѣл его в баню, новую одежу ему...

Лиза слушает как отец, запершись с бѣглецом, с ним поговоривши, позвал Дуню эту — и она увидѣла совсѣм другого человѣка. Начинается вродѣ милой сказки. О страшном, что в той-же Сибири есть, не хочется говорить в эту ночь Авдотьѣ Семеновнѣ — так видит она сейчас край свой. И что-же удивительнаго, что в разсказѣ ея отец еще денег ему дает на дорогу, стражников с завода усылает в другую деревню, чтобы этому было удобнѣе скрыться. Как и не удивительно, что тот говорит Дунѣ: «Гдѣ-бы вы ни были, барышня, что-бы с вами ни случилось, то знайте, что есть всегда человѣк, который за вас молельщик».

— А что вы думаете, душенька, я очень даже считаю, что вот если жива и благополучна и жизнь моя, слава Богу, идет хорошо, так это не без его молитвы... того, медвѣдя-то из тайги. Он так навсегда в Сибири и остался — поселенцем стал, в нашей-же мѣстности. Женился, хозяйством обзавелся. И мнѣ иногда писал о себѣ — помнил.

Теперь-же, вам сказать по правдѣ, пора нам укладываться. Спать, спать, всѣх сибирских разсказов не перескажешь.

Авдотья Семеновна стала разстегивать ремни, гдѣ в пледѣ завернуты были подушки. В полутьмѣ медленно

устраивались. Лиза туманно на нее смотрѣла, глаза влажны, в сердцѣ тихо.

— Вы думаете, наших не отправят в Сибирь?

Авдотья Семеновна встала, нагнулась к ней, поцѣловала в лоб.

— Все Сибири боитесь. А хорошая сторона, я вам говорю. Ничего, спите мирно. Не отправят. Скоро увидитесь.

Лиза молча заплакала, покорно и благодарно. Поѣзд тихо постукивает. Неторопясь несет к Курску. Дурные сны сзади.

Бор. Зайцев

(Продолженіе слѣдует)

ИСТОКИ *)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I.

Желябов и Перовская, под именами Слатвинскаго и Воиновой, жили по 1-ой ротѣ Измайловскаго полка в небольшой квартирѣ из двух комнат с кухней. Прислуги они не держали, людей принимали мало, никаких писем не получали. Время было тревожное, полиція приказывала дворникам большого дома № 18, Пѣтушкову и Афанасьеву, держать ухо востро. Слатвинскій и Воинова выдавали себя за брата и сестру. Этому дворники не вѣрили и ухмылялись. Подозрѣній же против них до послѣдних дней не имѣли. И лишь в самом концѣ февраля околодочный велѣл особенно слѣдить за квартирой № 23. У полиціи возникли смутныя подозрѣнія.

Дворники потому не считали этих жильцов братом и сестрой, что Воинова не сводила со Слатвинскаго глаз. Перовская хорошо скрывала свою революціонную работу, но скрывать любовь к Желябову было ей не под силу. В революціонном кругу говорили — одни сочувственно, другіе равнодушно, третьи неодобрительно, — что Соня любит его «до безумія». От близких товарищей она своих отношеній с ним не скрывала и часто, со счастливой улыбкой, называла его «мой Тарас». Собственно Желябов уже больше не был Тарасом: теперь назывался то «Захаром», то «Бородачем». Но она любила это прежнее его имя, которое он носил в началѣ их сближенія. Большинство друзей думало, что Перовская полюбила в первый раз в жизни. В свое время она почти без любви стала невѣстой Тихомирова и отказа-

*) См. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 кн. «Нов. Журнала».

лась от него почти без огорченія, хоть ей и было досад-но, что, разставшись с ней, он скоро влюбился в дру-. гую. Интимныя дѣла никого не касались, говорить о них не полагалось, — это считалось «мѣщанством», — тѣм не менѣе в революціонном кругу, как и во всяком другом, очень интересовались этими дѣлами.

Несмотря на переполнявшее ее счастье, Перовская часто плакала. И она, и Желябов прекрасно понимали, что жить им осталось очень недолго. Но в его присут-ствіи Перовская была бодра, весела и даже скрывала от него, что здоровье ея худо. Ей часто случалось и прежде подвергаться очень большой опасности. Однако прежде ея жизнь, каждый день, каждая минута не имѣли для нея такого необыкновеннаго значенія, как теперь.

Характер у нея был от природы веселый. Тѣм не менѣе жизнь ея была печальной задолго до того, как стала нечеловѣческой. В ранней юности она была несча-стна из за деспотическаго нрава ея отца. Его всю жизнь ненавидѣла еще больше, чѣм Александра II. Бывшій петербургскій губернатор и теперь был для нея как бы воплощеньем зла старой Россіи. Позднѣе, уйдя из дому, она занялась пропагандистской работой. У нея было гордое сознаніе того, что она живет согласно своим убѣжденіям и исполняет свой долг перед народом. Но, вѣроятно, радость от этого была менѣе велика, чѣм ей хотѣлось бы. По настоящему в первый раз Софья Перовская стала счастливой именно тогда, когда ея коротк-ая страшная жизнь подошла к концу. Желябов тоже любил ее, но не «до безумія». Он всегда нравился женщинам, имѣл немало увлеченій и никогда им большого значенія не придавал.

Цѣпь политических разсужденій, которая привела их всѣх к мысли о необходимости убить Александра II, оставалась прочной. Но у Желябова иногда бывали ми-нуты сомнѣнія и колебаній. Нѣкоторые народовольцы находили, что Тарас как будто начал разочаровываться в террорѣ, хоть этого прямо не гово ит и хоть работает

втрое больше других. Вспоминали, что он в свое время вошел в партію условно, выговорив себѣ право уйти, если убійство Александра II не даст Россіи свободы. — «Да он всегда был в сущности конституціоналистом, как Старик, как Колоткевич», — неодобрительно замѣчали наиболѣе радикальные члены Исполнительнаго Комитета. «Народная Воля» объединяла людей разных взглядов: одни хотѣли конституціоннаго образа правленія; другіе Учредительнаго Собранія и республики; третьи соціалистической революціи; четвертые сами не знали, чего хотят, — вошли в партію из молодечества, по чувству товарищества, или от неудачно сложившейся личной жизни. Желябов считался умѣренным человѣком по программѣ и перемѣнчивым в вопросах тактики. Иногда он говорил, что террора недостаточно, что надо поднять крестьянское возстаніе, говорил, что соберет и поведет на Петербург стотысячную народную армію, — и говорил так увлекательно, что ему вѣрили даже серьезные разсудительные люди. Желябов выступал на небольших собраніях «сочувствующих», — успѣвал дѣлать все, — имѣл огромный успѣх, и слушателям казалось, что этот высокій, красивый, похожій на царя революціонер — воплощеніе непоколебимой воли.

Это было вѣрно. Но Перовская знала, что он иногда по ночам бредит и вскрикивает, что и на яву в одиночествѣ он порою с остановившимися глазами разговаривает сам с собой, что он раза три за послѣдній мѣсяц падал в обморок. Изрѣдка, в кругу самых близких людей, Желябов описывал свою смерть на висѣлицѣ, — описывал с такими ужасными реальными подробностями, что она, Геся, даже мужчины затыкали себѣ уши.

Как человѣк, он был живѣе, чѣм она, и страстно любил жизнь. Быть может, в минуты, казавшіяся ему минутами малодушія, думал, что *все-таки* люди живут на землѣ только раз. Работал Желябов как никто другой и рисковал головой ежеминутно. Перовская умоляла его беречь себя. Он отшучивался.

Перед своим отъѣздом из Петербурга к ним зашел проститься Тихомиров. Его прежнія отношенія с Перовской создавали при встрѣчах неловкость и холодок. Однако слова «попрощаться перед отъѣздом» имѣли для террористов не такой смысл, как для других людей: для них каждый вечер мог оказаться послѣдним. Ста-рик, по своему обыкновенію, был настроен мрачно. Про-клинал затѣю цареубійства, говорил, что она и безсмыс-ленна, и неосуществима.

— Александр Дмитріевич погиб, а гдѣ уж нам до него? Мы всѣ умрем раньше царя.

Перовская на него напала, раздраженная и сущно-стью его слов, и тѣм, что он Тараса ставил ниже, чѣм Михайлова, да еще как будто нарочно это подчеркивал. Но, к ея изумленію, Желябов, хоть был самолюбив и вспыльчив, почти согласился со Стариком.

— Все же теперь нам отступать нельзя. На вѣсах и наша честь, и репутація Исполнительнаго комитета, — рѣшительно сказал он.

Когда он вышел на кухню за самоваром, Перовская, подавив обиду, шопотом попросила Тихомирова повлі-ять на него:

— В послѣдніе дни совсѣм закусил удила! Ради Бога, убѣди его вести себя осторожно.

Тихомиров с усмѣшкой развел руками.

— По нашей диспозиціи, Тарас должен вскочить на подножку кареты царя и заколоть его кинжалом. Думаю, что сдѣлать это о с т о р о ж н о было бы не-легко.

В послѣдніе дни февраля Желябов работал и по ночам: копал землю в сырной лавкѣ Кобозевых и возвращался домой поздно. Перовская только просила его точно указывать, куда он уходит и когда вернется до-мой. Это ея желаніе он выполнял неизмѣнно. Однако задолго до наступленія указанного им часа она переста-вала понимать и слышать. Тарас возвращался, от него

шел запах подземной галлереи, он убѣгал приводить себя в порядок, затѣм весело разсказывал, как хорошо идет дѣло, какой молодец Антонина (так когда-то называлась Якимова). Перовская ласково кивала головой Между ней и Якимовой шла глухая борьба. Обѣ хотѣли получить роль хозяйки сырной лавки на Малой Садовой. Александр Михайлов незадолго до своего ареста признал, что Якимова, с ея простонародной наружностью, с говорком на о, подойдет лучше.

— Да, да, Антонина замѣчательная личность, — подтверждала Перовская.

Когда выпадал свободный вечер (что случалось рѣдко), Желябов читал ей вслух. Это было лучшим ея наслажденіем, — особенно если больше никого не было. Иногда он читал ученыя статьи Антоновича, и она дѣлала вид, будто очень ими интересуется. Случалось, читал роман Жорж Занд. Это ее в самом дѣлѣ занимало, а он смѣялся и говорил, что ничего ни в каких Леліях не понимает: и баб таких нѣт, и вопросов этих в Россіи не существует. Увлекало его Лукьяновское изслѣдованіе о Гайдамачинѣ. Она, слушая, представляла себѣ его на конѣ, с казацкой саблей в рукѣ. Охотнѣе же всего он читал «Тараса Бульбу». Это было его любимое произведеніе, — вѣроятно, отсюда и пошла его революціонная кличка. Читал он мастерски. У нея кровь отливала от сердца, когда он торжественно и звучно читал послѣднюю сцену повѣсти. Перовская з н а л а, что он кончит как т о т Тарас. И у нея было твердо рѣшено, что она умрет вмѣстѣ с ним, рядом с ним, на одной с ним висѣлицѣ. Это было единственное сбывшееся из ея желаній.

II.

В этот послѣдній свой день на свободѣ он был особенно весел и бодр. Подкоп был кончен, теперь оставалось только загнать мину и заказать Кибальчичу его

новые метательные снаряды. Метальщики подобрались прекрасные: Рысаков, Гриневицкій, Емельянов Тимофей Михайлов.

— Михайлов простой рабочій-котельщик. У нас всѣ классы, всѣ сословія! — радостно говорил Желябов.

День покушенія однако еще не был назначен. Царь теперь не всегда выѣзжал из Зимняго Дворца и по воскресеньям. Были основанія думать, что в ближайшее воскресенье, послѣзавтра, он поѣдет в Манеж. Но так быстро заложить мину и приготовить бомбы было невозможно.

Они рано пообѣдали. Дома у них был в избыткѣ сыр разных сортов: лавка торговала слабо, и Кобозевы снабжали товарищей непроданным сыром. Перовская приготовила щи с капустой. Стряпала она довольно плохо. Он ѣл с аппетитом, весело дразнил ее, — «бѣло-ручка», «барышня», «дворяночка», — и говорил, что сам стряпает лучше. Послѣ завтрака притащил старую книгу, как-то у них оказавшуюся, «Самоохранительныя Записки», принялся читать вслух, и оба помирали со смѣху.

— Позднѣе, когда дѣло выйдет, — сказал он, мы поселимся с тобой на хуторѣ, будем землю пахать и в свободное время читать книги. Хочешь?

Она хотѣла.

— А Учредительное собраніе? Вождю партіи надо будет быть там.

— Ни в какое Учредительное собраніе я не пойду, хоть обо мнѣ и говорят, будто я честолюбив. Может, и правду говорят, да я не пойду. Я не подрядился быть «вождем». Да и кто меня в вожди выбирал? Развѣ как у Гоголя казаки Кирдягу избрали кошевым: с пинками притащили на площадь: «Не пяться же, чортов сын! Принимай честь, собака, когда тебѣ дают ее!» — Он опять залился смѣхом. — Ох, хорошо писал, землячек ... И непремѣнно, чтоб хутор был на югѣ, хоть ты кацапка.

Она соглашалась и на юг. Понимала, что никакого «позднѣе» для них быть не может, — и все-же почти вѣрила ему. Он тоже знал, что его слова безсмысленны. Говорил, чтобы подбодрить ее и себя.

В пятом часу они вмѣстѣ спустились во двор. В послѣдніе дни им казалось, будто они замѣчают за собой слѣжку. Дворники как будто странно на них поглядывали. Желябов давно уже, особенно со времени гибели Михайлова, полагался больше на судьбу, чѣм на конспиративную технику. Однако нетрудныя мѣры предосторожности они принимали. Часто выходили из дому не через парадный ход, а через мелочную лавку Афанасьевой, в которую можно было пройти двором. При этом всякій раз что-либо покупали. Расплачиваясь за плитку шоколада, Желябов шутил с хозяйкой.

— Пошли, сестрица, што ли? — весело сказал он Перовской. «Чорт тебя под ракитой с твоей сестрицей вѣнчал», — проворчал послѣ их ухода сидѣлец, впрочем без злобы, скорѣе из зависти к этим счастливым людям.

На улицѣ подозрительных фигур не было. Желябов нанял извозчика, что позволял себѣ не часто: денег у партіи становилось все меньше. Красавица Вѣра Фигнер недавно спасла дѣло, достав у кого-то триста рублей: умѣла доставать деньги у богатых людей; на средства этого богатаго человѣка, повидимому, и был убит Александр II; да еще послѣдніе гроши пожертвовал партіи полуголодный Рысаков. Другіе в большинствѣ раньше отдали то немногое что имѣли.

По дорогѣ Желябов был очень весел, совал ей в рот шоколад, говорил, как им будет хорошо на югѣ. Разговор не мѣшал ему внимательно слѣдить за всѣм на улицѣ.

— Нѣт слѣжки. И насчет дворника это так тебѣ показалось. Прекрасно идет дѣло, — говорил он. — У Публичной библіотеки я сойду, а ты поѣзжай дальше.

— Да и я сойду на Невском. Что-ж даром тратить деньги?

— Нельзя вмѣстѣ сходить, — сказал он шопотом, чтобы не слышал извозчик. — Значит, ужинаем вмѣстѣ, опять будем Гоголя читать.

— Ты придешь в восемь?

— Самое позднее, в четверть девятаго. Я еще зайду к Намѣстнику. Что-то он, наш Милорд, подѣлывает? Он у меня тоже в лавкѣ землю копал, — шопотом го-ворил Желябов. Намѣстником назывался народоволец Тригони, который теперь — по безпечности, под своим именем — поселился на Невском в меблированных но-мерах Миссюро. Прозвище ему дали потому, что имя-отчество у него было как у великаго князя Михаила Николаевича, занимавшаго должность кавказскаго на-мѣстника. Иначе Тригони еще назывался Милордом за барскій вид и барскія замашки.

— Только ради Бога, не опаздывай. Ты знаешь, что я волнуюсь: вдруг что-нибудь случилось?

Он засмѣялся. «Что-нибудь» означало висѣлицу.

— Ничего не может случиться, но я никогда и не опаздываю. В восемь буду дома. Ты, Сонечка, купи к чаю чего-нибудь этакого. Кутить нынче так кутить.

У Публичной Библіотеки он простился с ней и со-скочил. По молчаливо принятому у них обычаю, она через нѣсколько секунд оглянулась. Тарас часто забы-вал это сдѣлать, тогда она разстраивалась. На этот раз он не забыл и перебѣжав на противоположный тротуар, оглянулся с радостной улыбкой, помахал ей рукой. Через полминуты она опять оглянулась и ахнула: Желя-бов быстро скользнул в извѣстный им обоим проход-ной двор. Это, очевидно, означало, что он замѣтил за собой слѣжку. Больше она ничего не видѣла. Первая ея мысль была: побѣжать за ним. Но это было невозможно. «Он сто раз замѣчал за собой слѣжку и всегда уходил благополучно», — твердила себѣ Перовская.

В этот вечер не было важных дѣл. Она повидала людей, которых надо было повидать, и освободилась только около восьми часов. Но все равно до этого времени ничего узнать было нельзя. Как она ни торопи-лась, зашла в магазин, купила немного семги, купила полбутылки дешеваго вина. Затѣм наняла извозчика и доѣхала, вопреки правилам, почти до самаго дома. Еще издали Перовская с противоположнаго тротуара увидѣла, что окна их квартиры темны. У нея остановилось ды-ханье. «У Публички выслѣдили! Арестован! .. »

Ея предположеніе было вѣрно лишь отчасти: Же-лябов дѣйствительно замѣтил за собой слѣжку, но с обычным своим искусством от нея отдѣлался: пробѣ-жал через проходной двор, сдѣлал нѣсколько кругов и скрылся. — Через два часа послѣ этого его неожиданно схватили в меблированных комнатах Миссюро. По до-носу его близкаго сотрудника Окладскаго, за этими комнатами было установлено наблюденіе. Желябов по-пал в засаду.

Сомнѣваться можно было полчаса, можно было час. С каждой минутой надежда слабѣла. Из маленькой квартиры было слышно то, что происходило на лѣстни-цѣ. Люди поднимались к себѣ. Она знала его походку и все-же каждый раз замирала: может быть, он? Ей при-ходили в голову нелѣпыя предположенія: Тригони мог убѣдить его пойти в лавку на Малой Садовой, оказалась неотложная работа, дать ей знать было невозможно ...

Идти на поиски было некуда. В меблированныя ком-наты Миссюро? Но если его там арестовали, то в ком-натах, конечно, устроили засаду. Кромѣ того она не могла отлучиться: вдруг он все-таки вернется и, не най-дя ее, рѣшит, что ее арестовали? На столѣ была закус-ка. Мысль о том, что можно ѣсть, можно раз-дѣться и лечь в кровать, не приходила ей в голову. Она сидѣла на стулѣ и тряслась мелкой дрожью. В полночь

сомнѣваться больше не приходилось. Ея жизнь была кончена.

Желябова не могли не узнать: в полиціи, в прокуратурѣ были люди, знавшіе его по началу революціонной карьеры; его наружность было трудно забыть. Не могло быть никакой надежды на крѣпость, на каторжныя работы: власти знали, кто он такой и какое мѣсто занимает в «Народной Волѣ». — «Вѣрно, его пока повезли не в крѣпость, а в Дом предварительнаго заключенія... Освободить его? Оставить покушеніе на царя, бросить всѣ силы партіи на освобожденіе Тараса? На-пасть на карету, в которой его будут перевозить? Установить наблюденье за полицейскими каретами?» Желябова не могли казнить раньше, чѣм через мѣсяц, но планы его освобожденія были безсмысленны. Партія и не могла их принять, не могла отказаться от своей основной задачи. Перовская понимала, что, как его ни почитали, как им ни дорожили, для партіи он одно, а для нея другое. Кромѣ того, Желябов сам был бы возмущен, еслибы узнал, что для его спасенія было оставлено д ѣ л о. «Сейчас он думает обо мнѣ», — думала она, трясясь все сильнѣе. «Если он не убит ... У него был револьвер. Он мог оказать сопротивленіе» ... .

Она почувствовала прилив ненависти, такой ненависти, какой никогда еще не знала за всю жизнь, хоть умѣла ненавидѣть. «Нѣт, дѣло не может быть оставлено: е г о надо убить, убить возможно скорѣе, убить немедленно! Послѣзавтра он проѣдет из Зимняго двор-ца в Манеж, нельзя упустить этот случай».

Вѣроятно, главным ея побужденіем было все-таки желаніе умереть вмѣстѣ с Желябовым: это могло осуществиться лишь в том случаѣ, еслибы царь был убит в ближайшіе дни. Слабая миніатюрная женщина, больная, еле державшаяся на ногах, в ту ночь превратилась в механизм, имѣвшій назначеньем убійство Александра II.

На слѣдующій день, в субботу, она собрала Испол-

нительный Комитет. Пришло всего человѣк восемь. Тихомиров уѣхал — как раз перед рѣшающим днем. Не пришли Богданович и Якимова. Никто из собравшихся, от Вѣры Фигнер до Фроленко, не имѣл ни характера, ни авторитета Перовской. Всѣ испуганно смотрѣли на ея блѣдное измученное лицо с воспаленными глазами. Когда началось засѣданіе, она с очень спокойным видом, негромким, чуть прерывающимся голосом потребовала, чтобы дѣло было сдѣлано завтра, в воскресенье, 1 марта. Ей нерѣшительно возражали: мина на Малой Садовой еще не загнана в подкоп, метательные снаряды не изготовлены. — «Ночью загоним мину... Сейчас сядем изготовлять снаряды... Завтра, непремѣнно завтра... А я говорю, завтра», — твердила она, разрывая на клочки лежавшую перед ней бумажку. Исполнительный Комитет уступил ея напору, страшному заряду ея воли. К тому же всѣ были измучены, всѣ находили, что надо кончать: «Больше нѣт сил... Один конец»... Члены Комитета понимали, что такое означал арест Желябова. Один Суханов, морской офицер, голосовал против предложенія Перовской. Как военный человѣк, он находил, что такія дѣла нельзя дѣлать в лихорадкѣ. — Он думал, что такія дѣла можно дѣлать в нормальном душевном состояніи.

Ни при Александрѣ Михайловѣ, ни при Желябовѣ народовольцы не работали так, как в тот день и в ту ночь. Мина была заложена. Техники, просидѣв за столом пятнадцать часов подряд, рискуя из за спѣшки взорваться каждую минуту, к утру изготовили четыре метательных снаряда. Метальщики были созваны на конспиративную квартиру Геси Гельфман к десяти часам утра. В семь Перовская, не дождавшись конца работы, взяла два готовых снаряда и отвезла их к Гесѣ. По дорогѣ она обдумала диспозицію, роль каждаго, свою роль. «Это он одобрил бы... С этим он не согласился бы»... Она дѣйствовала 1 марта с такой энергіей, с таким са-

мообладаніем, каким мог бы позавидовать Желябов. Первое марта было прежде всего дѣлом Перовской.

III.

Александр II с обѣими своими семьями в субботу 28 февраля причащался в малой церкви Зимняго Двор-ца. Утром до того он зашел к княгинѣ, внимательно осмотрѣл ея платье и велѣл ей перемѣнить ленточку медальона.

— Черная нынче не годится, надѣнь бѣлую. И брил-ліанты всѣ сними. Видишь, и я без орденов, — сказал он и сообщил, что жена наслѣдника престола тоже бу-дет без драгоцѣнных камней и в простом бѣлом чепчи-кѣ. Княгиня теперь старалась быть не ниже и не хуже наслѣдницы. Он давно привык к спорам о том, кто вы-ше, кто ниже, и они его забавляли. В церковь царь по-шел с Маріей Федоровной и не потребовал, чтобы наслѣдник шел с его женой.

Первый чай Александр II пил у княгини. Няня маленьких Юрьевских, боготворившая его Вѣра Боровикова, поздравила его с причастіем. Он встал и поблагодарил ее. Как Людовик XIV, немного щеголял своей учтивостью с женщинами, хотя бы онѣ были няни или горничныя. Послѣ перваго чая полагался еще второй внизу, с лицами свиты. В самом началѣ второго чая ему доложили, что министр внутренних дѣл пріѣхал со сроч-ным докладом. Император озабоченно вышел в кабинет, ожидая непріятных новостей. Однако радостно-торжественный вид министра сразу его успокоил. Лорис-Меликов сообщил, что наканунѣ вечером полиціей, наконец, арестован государственный преступник Андрей Желябов, — тот самый. Революціи нанесен послѣдній удар.

Александр II был так обрадован, что попросил ми-нистра подождать его, поднялся по винтовой лѣстницѣ к женѣ и сообщил ей новость. Княгиня много слышав-

шая о Желябовѣ, тоже чрезвычайно обрадовалась. Наслѣдник престола еще находился в Зимнем дворцѣ. Царь велѣл сообщить ему извѣстіе и пригласил его в кабинет послушать доклад министра.

Лорис-Меликов разсказал подробности дѣла, искоса поглядывая на великаго князя: знал, что никак не поль-зуется его расположеніем. Услышав, что глава террори-стов арестован в меблированных номерах Миссюро, как раз напротив Аничкова дворца, великій князь пожал плечами.

— Что-ж, пріятный был сосѣд.

— Он там не жил, ваше высочество. Он зашел к своему сообщнику Тригони, по ихней кличкѣ Милорду.

— И кличка очень хорошая. Так зовут собаку батюшки.

— Это был самый опасный из преступников,—каш-ляя, сказал Лорис-Меликов. — Закоренѣлый злодѣй. Ро-дился волком — другим не бывать. Но не могу скрыть от вашего величества, что вид у преступника был и остался почти торжествующій. Он даже имѣл дерзость сказать: «Не слишком ли поздно вы меня арестовали?». Я вынужден поэтому почтительно просить ваше вели-чество не ѣздить завтра на развод в Михайловскій ма-неж.

— Вот тебѣ раз! Главный преступник арестован, значит, казалось бы, теперь опасность стала гораздо меньше. Ты видно хочешь, Михаил Таріелович, чтобы я навсегда стал затворником!

— Государь, я должен, я обязан просить об удовле-твореніи этой моей просьбы. Так точно, главный пре-ступник арестован, скоро послѣдуют новые аресты. Дай-те мнѣ еще недѣлю-другую. Вдруг перед арестом этот человѣк приготовил что-то еще? Я этого не думаю, однако осторожа лучше ворожи, государь.

Он еще долго говорил на тему об осторожности. Александр II слушал нетерпѣливо. Ему надоѣло сидѣть безвыѣздно во дворцѣ. Кромѣ того он, не любя войны,

любил военные парады. Пышная церемонія развода всегда очень ему удавалась. Но радость от извѣстія была так велика, что царь не хотѣл прямо отказывать Лорис-Меликову. Великій князь, не любившій пара-дов, присоединился к мнѣнію министра.

— И ты! .. Ну, да завтра увидим.

— Революціонное движеніе подавлено. Преступники потеряли послѣдніе остатки сочувствія в странѣ, ежели оно у кого к ним и было. Начинается новая, еще болѣе славная, эра вашего царствованія, — говорил Лорис-Меликов, осторожно пробуя почву у наслѣдника престола. Тяжелое лицо великаго князя, как почти всегда, не выражало ничего кромѣ скуки. Императоp взглянул на него с виноватым видом.

— Михаил Таріелович имѣет в виду свой проект. Ты знаешь, я окончательно рѣшился. Так будет легче и Россіи, и мнѣ, и тебѣ.

Лорис-Меликов заговорил о реформѣ самым мягким своим голосом. Он не надѣялся убѣдить Александра Александровича, но жалко было терять случай. Опять, с поговорками, в той с о л д а т с к о й манерѣ, в которой обычно говорил полуправду, он повторил свои мысли: его проект не имѣет ничего общего с конституціей, и привлеченіе выборных людей от благомыслящей части общества будет лишь способствовать охраненію самодержавія во всей его чистотѣ.

— А вот батюшка получил письмо от императора Вильгельма, — угрюмо перебил его великій князь. — Умоляет батюшку никакой конституціи Россіи не да-вать. А на что уж умный и опытный человѣк.

— Опытный-то он опытный, — сказал царь, тотчас, как всегда, раздражившійся от глухой оппозиціи на-слѣдника. — Но ему восемьдесят четыре года, он человѣк другой эпохи. И мнѣ его совѣты по м о и м дѣ-лам не нужны.

Великій князь замолчал. Лорис-Меликов погля-дывал на его вдавившуюся в кресло громадную, груз-

ную, точно каменную фигуру. Он догадывался, что наслѣдник престола не вѣрит ни одному его слову. «Да и, разумѣется, как ему вѣрить а р м я ш к ѣ ?.. Ох, трудно будет при нем, и с выборными людьми, и без вы-борных людей. Нѣт болѣе противоположных людей, чѣм отец и сын. И от этого вѣдь зависит все будущее Россіи. Другой человѣческій матеріал. А вся придворная челядь, конечно, в сто раз предпочитает сына отцу» ...

Он с обиженным видом повторил, что в его проектѣ нѣт ничего, ограничивающаго права самодержавнаго императора. Сам Лорис-Меликов не сомнѣвался, что послѣ его реформы общество начнет борьбу за новыя уступки и что оно при Александрѣ II постепенно добьется настоящей конституціи. «Что-ж, так во всем мірѣ. Если я ошибаюсь, то со всѣм міром», — в сотый раз сказал он себѣ.

— Значит, ты завтра представишь мнѣ проект правительственнаго сообщенія о реформѣ. О текстѣ поговори с Егором Абрамовичем, он знаток и мастер — приказал император.

Взгляд наслѣдника престола стал еще болѣе угрюмым. Великаго князя злило, что Россіей правит армянин и что пост государственнаго секретаря занимает Перец, — сын еврея-откупщика Абрама Израилевича Переца, вдобавок брат декабриста. «Таріеловичи, Абрамовичи, Израилевичи... Это несчастное пристрастіе батюшки к инородцам!»

— Ваше величество, еще раз прошу, умоляю вас завтра из дворца не выѣзжать! — сказал Лорис-Меликов и вдруг тяжело закашлялся. — Прошу извинить меня: я не очень здоров.

— Видишь, я крѣпче тебя, Михаил Таріелович, хоть и старше тебя годами. Сегодня два часа выстоял на ногах в церкви и даже не устал, — весело сказал царь. — Так вот что: ежели ты не так здоров, то завтра не являйся с докладом. Сообщеніе, правда, дѣло важное, его

откладывать нельзя. Но я пріѣду к тебѣ, и мы все про-смотрим окончательно.

Великій князь от досады даже перевел на стѣну свои тяжелые глаза. Русскій царь поѣдет в гости к этому армянину!

— Что бы он ни говорил, это начало конституціи. Pas d'illusions à se faire là dessus, — сказал царь послѣ ухода Лорис-Меликова.

Вечером он, в гостиной Юрьевской, нечаянно задѣл рукой свою фотографическую карточку, стоявшую на столѣ у княгини. Карточка упала на ковер. Царь быстро нагнулся, поднял ее и опять уронил.

— Ça, c'est pas de chance! — сказал он весело: был в самом лучшем настроеніи духа. Но княгинѣ это небольшое происшествіе показалось непріятным. Она разсказывала о нем своему племяннику через сорок лѣт послѣ того.

— Ничего, ничего, стекло не разбилось.

Послѣ чая она вскользь спросила императора, собирается ли он завтра в манеж.

— Mais oui, pourquoi pas? — отвѣтил царь, тревожно-вопросительно на нее взглянув. Он обычно говорил с княгиней по французски, но часто переходил на русскій язык.

— Это неблагоразумно, Саша. Говорят о каком-то подкопѣ ... Я очень прошу тебя не ѣздить!

— Какое же теперь покушеніе, если их главарь схвачен. Брось ты об этом думать! А потом ты помнишь ея предсказанье? Если и будет завтра покушенье, то пока лишь седьмое, значит я спасусь, — так же весело сказал Александр II.

Вся Россія тогда говорила, что в Парижѣ, послѣ покушенія Березовскаго, царь побывал у знаменитой гадалки. Она предсказала ему, что он переживет семь покушеній. Знали о предсказаніи и народовольцы. Они нерѣдко об этом говорили, — одни шутливо, другіе не

без тревоги. До 1 марта на Александра II было шесть покушеній. Никто не думал, что на царя будет произведено д в а покушенія в один день.

— Je me sens si heureux que mon bonheur actuel m'effraye, — сказал он.

IV.

Впослѣдствіи были разговоры о необыкновенно яркой кометѣ, о двухвостой змѣѣ, будто бы появившейся в небѣ в ночь на 1-ое марта. Был и орел (или коршун), наканунѣ убившій голубя на окнѣ царскаго кабинета. Говорили также о страшном снѣ, снова снившемся тогда царю: этот сон с кровавым полумѣсяцем будто бы издавна тревожил Александра II, — русскій посол в Константинополѣ еще лѣт за пять до того запрашивал турецкаго волшебника Али-Эффенди; волшебник разъяснил, что между Россіей и Турціей вспыхнет война, а в кару за нее Аллах пошлет царю убійц из его же народа.

Гадалки, кометы, орлы, вѣщіе сны всегда в воображеніи людей сопровождают событія, подобныя дѣлу 1 марта. Однако мистическая мудрость и вправду могла бы по своему использовать это дѣло. Существует в разных варіантах восточная легенда о Садовникѣ и Смерти. Смерть предупредила багдадскаго садовника, что явится за ним в такой-то день, в такой-то час. Друзья посовѣтовали перепуганному садовнику убѣжать куда-нибудь подальше, хоть в Дамаск. В назначенное время Смерть его встрѣтила в концѣ дороги, у Дамасских ворот: — «Здѣсь-то я тебя и ждала!»

Все, что 1 марта и в предшествовавшіе дни дѣлали Александр II и оберегавшіе его люди, прямо толкало его к гибели. Ей способствовал даже арест Желябова, так обрадовавшій царя и Лорис-Меликова. Еслибы не этот арест, покушеніе навѣрное было бы отложено на недѣлю или на двѣ. А послѣ правительственнаго сообщенія о выборных людях, которое царь подписал за два

часа до своей смерти, террористы, вѣроятно, отказались бы на время от покушеній.

Утром в свой послѣдній день царь встал в девятом часу. Он долго гулял с Юрьевскими по безконечным залам Зимняго дворца. В одной из зал были для дѣтей устроены горки. Царь катался со своим любимцем Гого, необычайно на него похожим. Послѣ обѣдни он завтракал со свитой и всѣх удивил на рѣдкость радостным на-строеньем духа. До завтрака Александр II послал скоро-хода справиться о здоровьи Лорис-Меликова. Велѣно было повторить, что, если граф нездоров, то государь император пріѣдет к нему. Через четверть часа министр явился в Зимній дворец.

Александр II прочел, одобрил и подписал документ, оповѣщавшій о государственной реформѣ. Из этого позднѣе дѣлали вывод, будто он предчувствовал свою смерть и, зная взгляды наслѣдника престола, торопился с указом. Царь дѣйствительно торопился: велѣл послать за Валуевым и непремѣнно хотѣл кончить дѣло к средѣ. Но едва ли у него были мрачныя предчувствія. Во вся-ком случаѣ он с ни с кѣм ими не дѣлился. Напротив, он становился все веселѣе. Лорис-Меликов, кашляя, со-общил, что на Малой Садовой осмотрѣна одна подо-зрительная лавка и в ней ничего не найдено.

— Была ложная тревога, ваше величество, слух о каком-то подкопѣ. Никакого подкопа не обнаружено. Тѣм не менѣе я все о своем, государь: лошадка упряма, везет прямо, — сказал министр, бывшій в восторгѣ от того, что бумага с подписью была, наконец, им получе-на. — Пріемлю смѣлость снова просить ваше величество нынче не ѣздить на развод. Ибо ...

— Ладно, ладно, должно быть, не поѣду, — сказал царь с легким раздраженіем: он торопился к княгинѣ, и ему надоѣл этот больной кашлявшій старик. — По-ѣзжай домой, Михаил Таріелович, и ложись в постель. Ты совсѣм нездоров.

Как только министр внутренних дѣл удалился, доло-

жили о пріѣздѣ великой княгини Александры Іосифовны. Царь, хоть и с досадой, согласился ее принять. Он был в холодных отношеніях со своим братом Константином и потому всегда старался быть особенно любезным с его женой.

Узнав, что государь не ѣдет на развод, великая княгиня вздохнула. В этот день в парадѣ в первый раз принимал участіе ея юный сын Дмитрій.

— Pauvre Mitia sera désolé...

Император тотчас оживился. Ему очень хотѣлось поѣхать на развод, и он был рад новому обстоятельству.

— Если так, то я поѣду, — сказал он. — Я слова не давал и не хочу огорчать твоего мальчика. Мнѣ и само-му еще совсѣм недавно было двадцать лѣт.

Великая княгиня так его благодарила, что уже было бы и невозможно взять назад обѣщаніе. Нѣмецкій ак-цент невѣстки забавлял царя. Отдѣлавшись от нея, он почти взбѣжал к женѣ по винтовой лѣстницѣ, которая иногда его утомляла; теперь не утомила нисколько.

Княгиня Юрьевская, не бывшая утром у обѣдни, сидѣла перед трюмо, повязанная оренбургским платком.

— Je viens de signer le papier en question! — радостно сказал он. Юрьевская перекрестилась.

— Ну, слава Богу!

— Ce document fera une bonne impression. Il sera pour la Russie une nouvelle preuve que je lui accorde tout ce qui est possible.

Княгиня очень смутно знала, что такое конституція, и ей не пришло бы и в голову читать длинный скучный проект министра внутренних дѣл. Но Лорис-Меликов говорил с ней гораздо откровеннѣе, чѣм с царем, так как ея гнѣва не опасался. Ей он без намеков объяснил, что, в случаѣ принятія проекта, ея коронація станет вполнѣ возможной. Впрочем, это соображеніе не было у княгини Юрьевской главным. Она страстно любила царя, знала, как его волнует вопрос о выборных людях, и больше всего хотѣла, чтобы он успокоился.

— Слава Богу, Саша! Я так рада! Увидишь, теперь все будет отлично!.. Ты уже сказал Мари?

— Тебѣ все говорю первой.

Она наканунѣ ѣздила к Лорис-Меликову и совѣщалась с ним о мѣрах охраны императора. Ей теперь было страшно, когда он покидал дворец.

— Ну хорошо, обѣщал ей, так поѣзжай. Но об од-ном тебя прошу. Ты знаешь, как я всегда волнуюсь ... Скажи совершенно точно, когда ты вернешься, и не опаздывай.

Он, смѣясь, сдѣлал разсчет.

— Развод кончится в три четверти второго. Оттуда я должен заѣхать к Катѣ: она обидѣлась бы, еслиб я не пріѣхал. Считай полчаса у нея. Из Михайловскаго дворца прямо пріѣду домой. Буду, значит, в два тридцать. Зато послѣ этого весь день проведем вдвоем, до обѣда у Владиміра.

— И еще одно. Умоляю тебя, Саша, не ѣзди по Невскому и по Малой Садовой! Слава Богу, что насчет лавки была ерунда, но я боюсь ... Вели Фролу ѣхать по Екатерининскому каналу. Это тихая улица, там людей очень мало, там ничего быть не может.

— Значит, оба конца по Екатерининскому каналу? — спросил он и обѣщал исполнить ея просьбу. Поцѣло- вал ее еще раз, прошел к дѣтям, повторил Гого свое обѣщаніе подарить ему медальон и весело простился с семьей.

Внизу караул, в отвѣт на его привѣтствіе, ди-ко прокричал: «Здравія желаем, ваше император-ское величество» ... Полицеймейстер Дворжицкій, разговаривавшій об анархистах с министром двора, вытянул-ся до предѣлов возможнаго.

— Здравствуй, Дворжицкій, как живешь? Ѣдем, погода прекрасная! Солнце и холод, люблю, — сказал царь. Он без улыбки кивнул головой графу Адлербергу: министр двора был у него в нѣкоторой немилости с той поры, как, послѣ долгих колебаній, явился свидѣтелем

на его свадьбу с Юрьевской во фракѣ: этикет не пре дусматривал тайных браков царей.

Для большей безопасности у царскаго подъѣзда была пристроена длинная закрытая галлерея, в которой ждали экипаж и конвой. Таким образом злоумышлен-ники не могли точно предугадать момент выѣзда царя. Лейб-кучер Фрол Сергѣев умѣл с мѣста переводить ло-шадей на рысь. Карета быстро выѣхала из галлереи. Ее окружали казаки Терскаго полка.

— В Михайловскій манеж, по Екатерининскому ка-налу, — приказал царь.

V.

На плитѣ стояла кастрюля со щами и жестянка с динамитом. Геся Гельфман, войдя в кухню, брезгливо переставила жестянку на окно. Динамит внушал ей не столько страх, сколько гадливость. Партійные техники, особенно Кибальчич, с восторгом говорили об изобрѣ-тенiи Альфреда Нобеля. — «Ах, чтоб он пропал, этот динамит!» — грустно думала она. Геся раз навсегда по-вѣрила в необходимость террора; но, как говорили ея товарищи, она, по своей мягкости, для террористиче-ских дѣйствій не была предназначена.

Квартира на Телѣжной улицѣ была недавно снята на имя коллежскаго регистратора Фесенко-Навроцкаго и его жены. Николай Саблин был коллежским регистра-тором, Геся Гельфман его женой. Она почти не выходила из дому преимущественно по конспиративным соображеніям: не походила на русскую чиновницу и бо-ялась вызвать подозрѣніе у дворников. Кромѣ того, она была беременна и совершенно измучена: отец ея ребен-ка, террорист Колодкевич, недавно был арестован. Она знала, что больше никогда его не увидит. Геся просила дать и ей какую-нибудь роль в покушеніи на царя, но Исполнительный Комитет, по разным причинам, ее от-

вел. Она и сама впрочем понимала, что для этого не годится.

Ей было мучительно жаль ребенка; о нем не могла думать без слез. Самые нелѣпые вопросы приходили ей в голову: больно ли не родившемуся ребенку, когда вѣшают его мать? Желябов ласково утѣшал ее: «Что ты, Гесинька, тебя не повѣсят», — говорил он (с нѣко-тораго времени старшіе народовольцы в большинствѣ перешли на ты), — «Лорис большой жулик, но он рабо-тает под Европу» ... Она и сама понимала, что ея бере-менность дает ей нѣкоторый шанс спастись от висѣли-цы. Как ни мало Геся дорожила жизнью, это было все-таки утѣшительно; но ей было стыдно перед товарища-ми. В послѣдніе дни не сомнѣвалась, что почти всѣ участники покушенія будут казнены. Говорить об этом не полагалось. Желябов говорил только о своей казни и как бы шутливо; Геся не понимала, как тут можно шутить.

Его арест был для нея страшным ударом. Она пла-кала всю ночь, заснула только под утро, но встала все-же в семь часов. Почему-то Геся Гельфман не была чле-ном Исполнительнаго комитета (хоть в него входили люди, меньше сдѣлавшіе для революціи и не болѣе образованные, чѣм она). В засѣданіи 28 февраля она не участвовала, но ей и Саблину было объявлено, что сбор метальщиков назначен у них и что бомбы к ним принесут рано утром. Весь вечер, глотая слезы, она го-товила для метальщиков щи. Саблин, тоже не входив-шій в Исполнительный Комитет, пошел узнать новости. Ему не сидѣлось дома, на людях все-таки было легче. Когда он вернулся, Геся с ужасом разспрашивала го о Перовской.

— Говорят, Соня молодцом: и вида не показывает. А вѣдь она любила Тараса безумно.

Саблин еще спал, когда послышался условный звонок. Геся поспѣшно вытерла полотенцем руки и вышла

из кухни в переднюю. Она раскрыла рот. «Это они называют 'молодцом'»... Лицо Перовской было ужасно. Но говорила она в самом дѣлѣ совершенно спокойно, так, точно ничего рѣшительно не произошло.

— Вот возьми, Гесинька, положи это куда-нибудь, — сказала Перовская, войдя в кухню и, как конфеты, протянула ей два бѣлых свертка, аккуратно перевязанных сѣрой тесемочкой. Геся растерянно положила снаряды рядом с зажженной спиртовой лампой. — Нѣт, милая, не сюда, это мѣсто совсѣм не подходящее, мы их положим на окно. Твой коллежскій регистратор вѣрно еще дрыхнет?

«Только они это могут!» — не то с завистью, не то с сокрушеніем подумала Геся, разумѣя не-евреев. Сама она послѣ ареста Колоткевича цѣлую недѣлю плакала день и ночь, хотя Колоткевич, в отличіе от Желябова, имѣл шанс избѣжать казни.

— Соня... Он арестован...

— Тарас? Да, он арестован у Милорда. — отвѣтила Перовская так, как еслибы сообщала, что Желябов пошел в гости. — Я принесла только два снаряда. Другіе два еще не готовы, но к десяти клятвенно обѣщали принести. Время еще есть. Он выѣдет из дворца не раньше половины перваго.

Геся смотрѣла на нее выпученными глазами.

— Так как Тарас арестован, то распоряжаться на мѣстѣ буду я. Метальщики скоро придут. Отличные ребята, но уж очень молоды и не обстрѣляны. К сожалѣнію, я осталась без снаряда: мужчины покровительствуют мужчинам. Всегда нас, баб, затирают.

— Да... Да... — шопотом сказала Геся. — Соня, как же...

— Как же что? — переспросила Перовская. Вдруг в ея лицѣ что-то дрогнуло. — Я сейчас... Забыла платок в муфтѣ, я сейчас вернусь, — сказала она и поспѣшно вышла в переднюю.

Квартира была очень темная. В столовую солнце не проникало. Геся поставила на стол стаканы, тарелки с сахаром и хлѣбом. Она плохо соображала, что такое происходит. «Не может быть ... Как же это? .. Сегодня!».

Ровно в десять часов одновременно пришли металь-щики. Их было четверо: Гриневицкій, Рысаков, Емелья-нов, Тимофей Михайлов. Это были новые люди в партіи. Она не всѣх их знала. Их молодость поразила ее. Было так темно, что она зажгла лампу.

— Может быть, вы закусите щей? — нерѣшительно предложила Геся.

Гриневицкій вѣжливо поблагодарил и сказал, что ѣсть е щ е не хочет, — рано, — а чаю выпил бы с удовольствіем. Рысаков засмѣялся, — всѣ на него огля-нулись: в это утро не шутил даже Саблин, извѣстный своим веселым характером. Лицо у Рысакова было зеле-но-блѣдное.

Он в это утро встал в восьмом часу. Обычно его будила хозяйка, коллежская регистраторша Ермолина. По воскресеньям она вставала позднѣе. Рысаков проснулся

— и вспомнил. «Господи! .. » Взглянул на часы, — не поздно. Ему хотѣлось помолиться. Еще совсѣм недавно, в реальном училищѣ, он был религіозен и часто ходил в церковь. «Будь что будет!» — крестясь, сказал он себѣ и поспѣшно одѣлся.

— Как я нынче рано встал! Всегда бы мнѣ так вставать, — сказал он хозяйкѣ.

— Я вас бужу, да вы опять засыпаете. Вѣдь нынче воскресенье. Развѣ у вас и в воскресенье бывает работа? — спросила с зѣвком Ермолина. Рысаков жил у нея недавно, и она почти ничего о нем не знала.

— Да ... Нѣт, я так, — отвѣтил он, тоже тяжело зѣ-вая. «Что она скажет?» Мысль о том, как будет пора-жена хозяйка, узнав, что ея жилец убил царя, его заняла, но только на мгновенье. Он налил себѣ чаю.

— Завтра за бѣльем придут, — сказала Ермолина. — Отдадите?

— Да, да, как же, непремѣнно отдам. Я оставлю узелок. Хорошо, что вы напомнили! — почему-то с жаром сказал Рысаков, уходя к себѣ со стаканом. «Ка-жется, у меня лихорадка, незачѣм ей это говорить ... »

Чай был горячій, он налил в блюдечко и вспомнил дѣтскіе годы. Силы оставили его совершенно. Блюдечко затряслось у его губ, чай пролился. Он лег на неубран-ную кровать, накрылся одѣялом и долго лежал: нѣ-сколько раз приподнимался, смотрѣл на часы и снова опускал голову на подушку. «Еще есть время ... Сколько идти на Телѣжную? .. Там они все скажут... Еще часов пять проживу ... А может быть, не умру? Может быть, сдѣлают другіе? Тогда я могу совсѣм уйти: послѣ этого никто не посмѣет сказать, что я трус!».

С хозяйкой он простился так ласково, что она недоумѣвала: странный мальчик. Уходя, он на нее оглянул-ся, сказал опять о бѣльѣ и подумал, что она вѣрно бу-дет об этом разсказывать до конца своей жизни.

Холодная солнечная погода его подбодрила. Однако на улицѣ он нѣсколько раз останавливался и спрашивал себя, — неужели правда? «Неужто нынче я буду гдѣ-нибудь лежать на снѣгу, разорванный бомбой? Или сидѣть в тюрьмѣ, ожидая висѣлицы: тогда уже н ав ѣ р н о е... Да и теперь навѣрное! .. Но зачѣм я это сдѣлал? Кто меня заставлял? .. Бородач «кликнул клич», другіе согласились, и я не мог, не мог отказаться: сказали бы, что я трус! .. Да говорили бы что им угодно! Какое мнѣ дѣло? Не вернуться ли сейчас же домой? .. »

У Геси Гельфман ему сказали, что Бородач аресто-ван. В первую минуту это его поразило. Он было поду-мал, что теперь разстраивается все дѣло. Впрочем, вид других метальщиков еще подбодрил его. «На міру и смерть красна. За Россію погибнем», — сказал он себѣ как уже говорил себѣ много раз.

«Боже мой, такой еще мальчик» — думала, глядя на него, Геся. Она все сильнѣе чувствовала одно желанье, — чтобы все кончилось возможно скорѣе: цареубійством ли, ея ли смертью, революціей, или концом міра.

— Вот как? Бородач арестован? — спросил Рысаков, знавшій Желябова преимущественно под этой кличкой. Гриневицкій с сожалѣніем на него посмотрѣл, бро-сил быстрый взгляд на Перовскую и опустил глаза.

— Да, он арестован, — снова кратко отвѣтила Пе-ровская. Она не рѣшалась сказать себѣ, что этот юноша ненадежен: Рысаков был введен в партію Желябовым, который очень его хвалил. «Тимофей и Емельянов так себѣ. Один Котик хорош» ... Гриневицкій был в самом дѣлѣ совершенно спокоен, развѣ только чуть блѣднѣе обычнаго. — Это, конечно, огромная потеря для партіи. Но его дѣло будет сегодня доведено до конца. Александр II спастись не должен и не может. Исполни-тельный Комитет поручил мнѣ руководить нынче дѣ-лом.

Она взяла какой-то лежавшій на столѣ конверт и на оборотной сторонѣ набросала план части Петербурга.

— Вот Невскій, вот Малая Садовая, здѣсь Манеж. По всей вѣроятности, он проѣдет по Малой Садовой. Там его уже ждут, — сказала она. Всѣ насторожились. По лицу Гриневицкого пробѣжала тѣнь. — Но надо счи-таться с разными возможностями. Тот взрыв может и не удаться. Тогда дѣло будет за вами. Вы, Николай, стане-те на Невском ...

Она очень точно объяснила каждому метальщику, гдѣ он должен стоять, назвала его номер по порядку дѣйствія и поставила этот номер на соотвѣтственном мѣстѣ конверта. Первым должен был дѣйствовать Тимо-фей Михайлов. Он как-то крякнул, взмахнул рукой и сказал, что вот и отлично, очень рад, очень рад.

— Прошу каждаго повторить: свой номер и мѣсто.

Гриневицкій повторил правильно. Другіе ошибались, переспрашивали, говорили, что обмолвились. Ры-

саков как будто стал бодрѣе, узнав, что ему выпало дѣйствовать третьим, и лишь в том случаѣ, если на Малой Садовой дѣло не удастся. Всѣ четверо догадались, что дѣло идет о подкопѣ. Глухой слух о сырной лавкѣ давно шел среди рядовых народовольцев.

— Если же он поѣдет не по Малой Садовой, тогда план мѣняется, — просто и дѣловито говорила Перовская. — Назад он скорѣе всего поѣдет по Екатерининскому каналу, так как послѣ развода он обычно заѣзжает завтракать к своей кузинѣ в Михайловскій дворец, а оттуда пришлось бы дѣлать крюк. Его передвиженія изучены совершенно точно. Нѣкоторые из вас принимали участіе в наблюденіях. Я всѣ ваши наблюденія записывала и сама дѣлала свои. Вы знаете, он несется как бѣшенный. Но есть одно мѣсто, гдѣ его карета поневолѣ замедляет ход. Это при поворотѣ с Инженерной улицы на канал, у Михайловского театра. Там в этом случай и надо будет дѣйствовать.

— А как мы будем знать? — спросил Гриневицкій так же спокойно и дѣловито, как говорила она. — Ко-нечно, это все близко, и можно самому догадаться, но желательно было бы получить указаніе.

— Разумѣется, я вам сообщу. Я буду наблюдать за каретой. Если он не проѣдет по Малой Садовой, то вы всѣ выходите на Михайловскую. Я там дам знать платком, приложу его к носу. — Она вынула бѣлоснѣж-ный платочек и объяснила, какой знак подаст. — Это будет означать, что надо идти на Екатерининскій канал. Там вы стойте на разстояніи в тридцать шагов один от другого, в порядкѣ ваших номеров. Вы представляете себѣ тридцать шагов?

— О да, я представляю, — смѣясь, сказал Рысаков.

— Значит, все понятно? Больше ничего объяснять не надо.

Емельянов сказал, что живым им в руки не отдастся. На каналѣ есть прачешная-купальня, можно добѣжать туда, там забаррикадироваться и дорого продать свою

жизнь. Перовская ничего на это не отвѣтила. Гриневицкій слегка усмѣхнулся.

— Теперь еще вопрос. Если дѣло удастся тѣм, которые там его ждут, в этом случаѣ что надо дѣлать нам, метальщикам? — спросил он и против его воли в его голосѣ прозвучала обида. Перовская тотчас поняла причину.

Если вы услышите взрыв на Малой Садовой, всѣ бѣгите туда. Он может и уцѣлѣть, тогда вы снарядами, в том же порядкѣ очереди, докончите дѣло... Роль метальщиков, Котик, не менѣе трудна, опасна и отвѣтственна, чѣм роль тѣх, кто там его ждет. Элементарныя правила конспираціи требуют однако, чтобы каждый из нас знал только то, что ему надлежит знать.

Он с улыбкой сдѣлал жест, показывавшій, что никаких объясненій не нужно.

— Это, разумѣется, так ... Если же наша помощь не понадобится, тогда что?

— Тогда возвращайтесь домой и дѣлайте все что вам угодно. Или, еще лучше, приходите сюда. Конечно, каждый отдѣльно ... Геся накормит вас обѣдом. Правда, Гесинька? — спросила она. От неудавшейся улыбки ея лицо стало еще страшнѣе. Гриневицкій опять опустил глаза. «Бѣдная! Но какая замѣчательная женщина!» — подумал он. Никто ему не говорил об отношеніях Перовской и Желябова. Он сам о них догадался.

— А может быть, вы и сейчас хотите закусить? — спросила Геся, жалостно на них глядя. Она боялась, что разрыдается. Гриневицкій так же учтиво поблагодарил и повторил, что еще не голоден.

— Диспозиція Исполнительнаго Комитета совершенно ясна, — сказал он, — но если вы разрѣшите мнѣ высказать свое мнѣніе, в ней есть недостаток. Неудобно переходить с наших постов прямо на канал. Императоръ навѣрное останется в манежѣ около часа. Затѣм он будет у своей кузины, считайте, быть может, еще час.

Извольте видѣть, если четыре человѣка, всѣ со свертка-

ми, будут два часа на малом разстояніи один от другого стоять или ходить по набережной, гдѣ народа вообще бывает мало, то это обратит вниманіе полиціи или приватных сыщиков.

— Вы совершенно правы, Котик, — сказала, подумав, Перовская. — Сразу идти на Екатерининскій канал нельзя. Нельзя также нам соединяться, хотя ждать было бы легче. Впрочем, по два человѣка можно, это не вызовет подозрѣній. Гдѣ? Вы знаете кофейню Андреева на Невском против Гостинаго двора? Если хотите, вы, Котик, приходите с Михайловской туда, я буду ждать вас внизу. Другіе тоже зайдут в кофейню или в трактир по своему усмотрѣнію. Но ровно в три четверти второго, ни минутой позже, всѣ должны в порядкѣ очереди занять мѣста на набережной.

— Есть, — сказал Михайлов. — Так матросня говорит: есть.

— И вот что еще. Сейчас придет техник, он принесет еще два снаряда. Он вам уже объяснял устройство снарядов. Я только повторю главное: надо высоко поднять руки и с силой бросить снаряд вниз, по возможности о т в ѣ с н о, — сказала Перовская самым простым тоном. Геся подняла глаза к потолку. Бросить бомбу отвѣсно значило тут же убить и себя. Гриневицкій одобрительно кивнул головой.

— Вполнѣ отвѣсно едва ли удастся: карету со всѣх сторон окружают казаки. Но надо бросить снаряд не болѣе как с пяти шагов. Если можно, то и с еще болѣе близкаго разстоянія, у кого хватит нервов, — сказал он.

VI.

Вся эта часть Петербурга по красотѣ и строгости стиля имѣет мало равнаго в мірѣ. В началѣ девятнадцатаго вѣка мѣстность от Манежа до Екатерининскаго канала занимали сады Михайловскаго (позднѣе Инженернаго) замка, в котором был задушен Павел I. Впо-

слѣдствіи часть садов была выдѣлена его сыну Михаилу и для него был построен там Михайловскій дворец. В 1881 году во дворцѣ жила внучка Павла, великая кня-гиня Екатерина Михайловна. Царь обычно заѣзжал к ней завтракать на обратном пути из Манежа.

Малая Садовая, идущая к Манежу от Невскаго, сама по себѣ никаких особых удобств или преимуществ для покушенія не представляла. Царь так же часто проѣзжал по Невскому, по набережным, по Мойкѣ, по Мор-ской, по Милліонной. Однако с Малой Садовой у народовольцев и особенно у правительства было свя-зано что-то вродѣ навязчивой идеи. Еще в 1879 году, 2 декабря, одесскій генерал-губернатор Тотлебен теле-графировал шефу жандармов: «Получил свѣдѣнья, что у террористов уже созрѣл план подкопа на Малой Садо-вой и что они намѣрены воспользоваться частыми по-ѣздками государя императора в манеж Инженернаго Замка». — В декабрѣ 1879 года народовольцы никакого подкопа на Малой Садовой не устраивали и не могли устраивать: до 19 ноября силы их были заняты подго-товкой взрыва царскаго поѣзда, затѣм до фев аля они возлагали всѣ свои надежды на Халтуринскій взрыв в Зимнем Дворцѣ.

Но когда, послѣ неудачи обоих этих предпріятій, Исполнительный Комитет стал думать о подкопѣ в Пе-тербургѣ, то он остановился именно на Малой Садовой. Первая мысль о ней возникла не раньше, как через пол-года послѣ странной телеграммы Тотлебена, а к подзем-ной работѣ народовольцы приступили только в январѣ 1881 года. Они были увѣрены, что все хранят в величай-шей тайнѣ. Тѣм не менѣе по Петербургу в февралѣ пошла глухая молва, будто на Малой Садовой должно случиться что-то очень страшное.

Дом, принадлежавшій графу Менгдену, был постро-ен в половинѣ 18 вѣка для Алексѣя Разумовскаго. За полтораста лѣт своего существованія он неоднократно перестраивался и из особняка вельможи мало по малу

превратился в обыкновенный доходный дом. Лавка, снятая для Кобозевых, состояла из трех комнат. В первой комнатѣ шла торговля, из второй, жилой, велся подкоп. Работа была неизмѣримо легче, чѣм на московском подкопѣ: подземный ход был гораздо короче. Но она была и много противнѣе: для устройства галлереи пришлось прорѣзать водосточную трубу, вслѣдствіе чего в подкопѣ был ужасающій запах, доходившій до лавки и смѣшивавшійся там с запахом сыра.

Отсутствіе Александра Михайлова уже сказывалось на дисциплинѣ в партіи. Богданович и Якимова позволяли себѣ вольности, которых при Михайловѣ, вѣроятно, не было бы. Кромѣ того, как большинство народовольцев, они играли свои роли не слишком хорошо, — никто из них никогда актером не был. В первый же день, когда Богданович явился в управленіе участка за разрѣшеніем на открытіе торговли, он бойкостью своих отвѣтов вызвал нѣкоторое недоумѣніе у пристава 1-го участка Спасской части Теглева. Пристав велѣл негласно справиться о паспортах Кобозевых по мѣсту их выдачи. Ничего подозрительнаго не было обнаружено. Все же Теглев приказал околодочному Дмитріеву обратить вниманіе на лавку.

Околодочный, вѣроятно, ничего страннаго не нашел бы, еслибы у Кобозевых не было недоброжелателей в самом домѣ графа Менгдена. Рядом с их лавкой была молочная лавка Новикова. Ея хозяин, вначалѣ опасавшійся конкуррентов, зашел к ним, купил полкруга сыра и сразу замѣтил, что дѣло у Кобозевых ведется крайне безтолково.

— Ну, эти моей торговлѣ не повредят. Ни то ни се люди, — весело говорил он дворнику. — Платят тысячу двѣсти цѣлковых, а не наторгуют в год и на половину. Тоже называются купцы!

Дворник и сам замѣчал, что люди как будто и не лавочники. Он счел нужным доложить начальству. Дмитріеву опять велѣно было посматривать. Послѣ 1 марта

оффиціальное слѣдствіе изложило дѣло так: обстановка Кобозевых сразу «обратила на себя вниманіе многих свидѣтелей, как несоотвѣтствовавшая образу жизни и внѣшности обыкновенной торговли и обыкновенных торговцев. Торговля производилась неумѣло и как бы лишь для виду. Кобозев казался человѣком стоящим гораздо выше своего состоянія, жена его обнаруживала привычки, несвойственныя женѣ простого торговца; кромѣ того часто не ночевала дома». — Власти очевид-но и не понимали, что́ онѣ сами о себѣ сообщают.

В пятницу 27 февраля, в десятом часу вечера, двор-ник Самойлов доложил околодочному Дмитріеву, что в лавкѣ Кобозевых, несмотря на поздній час, сидит какой-то человѣк, на вид как будто не из простых, а барин. Дѣйствительно из лавки скоро вышел высокій господин в пальто. Он поднял воротник, направился к Невскому и, замѣтив слѣжку, прикрыл лицо платком, точно чихал. Затѣм быстро подозвал лихача и умчался. Дмитріев по-ѣхал за ним, но у Казанскаго собора потерял его слѣд. Впрочем, он справедливо разсудил, что извѣстный ему лихач Гордин скоро вернется к своей стоянкѣ и все о сѣдокѣ разскажет. Так оно и случилось.

— ... Рядился на Воскресенскій мост за цѣлковый, а там перемѣнил, — с недоумѣніем сообщил извозчик Дмитріеву. — «Поѣзжай», говорит, «в Измайловскій полк, я тебѣ три рубля дам»! Там, ваше благородіе, слѣз и заплатил три рубля, да еще двугривенный дал начай. А моей вины нѣт: кто нанимает, того и везем. Может, они и мазурики.

Повидимому, и околодочный Дмитріев, и пристав Теглев, которому околодочный доложил о происше-ствіи, очень гордились тѣм, что у них послѣ этого воз-никли нѣкоторыя подозрѣнія. На с л ѣ д у ю щ е е утро пристав поѣхал к градоначальнику, генералу Фе-дорову, доложил о лавкѣ Кобозевых и в предположительной формѣ спросил, не произвести ли обыск:

— Слышно, ваше превосходительство, что государь

император завтра изволит прослѣдовать в манеж по Малой Садовой.

Новыя идеи Лорис-Меликова совершенно сбили с толку и градоначальника, и всѣх руководителей столичной полиціи. В либеральных газетах восхвалялись англійскіе порядки и упоминалось о «хабеас корпус». Быть может, сам министр внутренних дѣл не очень хорошо знал, что это такое. Полицеймейстеров же и приставов эти ученыя слова приводили в панику. В участках околодочные и городовые по прежнему «набивали морды» простым людям, но высшая полиція больше не знала, что можно и чего по «хабеас корпус» нельзя. Генерал Федоров сухо отвѣтил приставу, что подозрѣнія могут быть неосновательны и что тогда владѣлец подаст жалобу министру или в суд.

— Я не желаю отвѣчать за превышеніе власти, — сказал он. Пристав тотчас испуганно признал свою ошибку и в еще болѣе предположительной формѣ замѣтил, что, пожалуй, вмѣсто обыска можно было бы произвести санитарный осмотр лавки: сосѣди и вправду жаловались на сырость, на дурной запах.

— Вот это прекрасно, — одобрил градоначальник. — Поѣзжайте к генералу Мровинскому, это его дѣло.

Санитарный осмотр не противорѣчил новым вѣяньям, а кромѣ того, генерал Мровинскій сам за себя отвѣчал.

Инженер-генерал, вѣдавшій санитарной частью столицы, как раз куда-то торопился. Ему очень не хотѣлось ѣхать в лавку. Он грустно спросил, нельзя ли отложить осмотр на один из слѣдующих дней. Пристав так же грустно отвѣтил, что собственно вполнѣ бы возможно, но слышно, будто государь император завтра изволить прослѣдовать в Михайловскій манеж по Малой Садовой.

«Вѣчно это дармоѣды придумывают всякій вздор! Только даром безпокоят занятых людей. Подкоп из какой-то сырной лавки! А если в самом дѣлѣ подкоп, то

при чем тут санитарная часть?» — сердито сказал себѣ Мровинскій, впрочем сам в первую минуту подумавшій о возможности подкопа: весь Петербург говорил о минах и о подземных ходах.

Развѣ только Александр Михайлов мог бы не растеряться от такого страшнаго, внезапнаго удара: в лавку вдруг вошел генерал в сопровожденіи пристава, помощника пристава, дворников. Богданович не имѣл стальных нервов Михайлова; он был измучен, как всѣ участники покушенія и, увидѣв полицію, замер: все кончено!

Мровинскій посмотрѣл на него насквозь пронизывающим взглядом, затѣм оглядѣлся в лавкѣ и с хитрым видом сказал, что пріѣхал произвести санитарный осмотр.

— Говорят, сырость у вас. Надо посмотрѣть: провѣрить, значит, санитарное состояніе, — с еще болѣе хитрым видом пояснил пристав. Богданович растерянно отвѣтил, что в лавкѣ сырости нѣт. Разумѣется, не могло быть никаких сомнѣній в настоящей цѣли осмотра. По позднѣйшему свидѣтельству самого Мровинскаго, лавочник был «безпокоен и встревожен». Однако это у генерала ни малѣйших подозрѣній не вызвало. Напротив, лавка произвела на него благопріятное впечатлѣніе. Перед иконой горѣла лампадка. Кинжалов и револьверов нигдѣ не было.

Не зная, что собственно надо сдѣлать, Мровинскій постучал в стѣну. хотя это не согласовалось с только что данным объясненіем цѣли визита. Звук был обыкновенный: подкоп велся из второй комнаты, да и там стучать надо было бы гораздо ниже.

Во второй комнатѣ было темно: одно окно было завѣшено.

— Зажгите свѣчу, — сказал Мровинскій и, оглядѣвшись, велѣл отодвинуть какой-то сундук. За ним на стѣнѣ было сѣрое пятно. Генерал нагнулся, провел по пятну

рукой и поморщился: у него пальцы почернѣли от пыли.

— В той комнатѣ тоже пятно на полу. Это откуда?

На масляной сметану пролили, — отвѣтил, еле справляясь с дыханьем, Богданович. «Что дѣлать? Сейчас конец! .. Что дѣлать ?» — с отчаяньем спрашивал он себя. Но генерал кивнул головой, вполнѣ удовлетворен-ный отвѣтом: дѣйствительно недавно была масляная. Он подошел к окну, — у Богдановича сердце перестало биться. Здѣсь генерал, для разнообразія слѣдственных пріемов, не стал стучать в стѣну, а вдруг сильно дернул к себѣ подоконник. Вѣроятно, он дѣятельность заговор-щиков представлял себѣ по романам госпожи Радклифф: стоит в подземельѣ замка в надлежащем мѣстѣ что-либо дернуть, гдѣ-либо нажать кнопку — и стѣна на шарнирах раздвинется или уйдет в землю. Подокон-ник никуда не поддался, стѣна с мѣста не сдвинулась. Это совершенно успокоило Мровинскаго. На разстояніи аршина от подоконника было отверстіе подкопа, зама-скированное наклеенными на доски обоями.

«Разумѣется, вздор! Что-то им приснилось!» подумал генерал и посмотрѣл на часы. «Уже опоздал» ... Он все-же заглянул в третью комнату. Она была зава-лена чѣм-то очень грязным, противно было заходить. Мровинскій вернулся в первую комнату лавки.

— А здѣсь у вас что? — спросил генерал, показы-вая на покрытую соломой кадку.

— Сыры, — еле выговорил Богданович. Еслиб ге-нерал приподнял горсть соломы, это означало бы смерть: в кадкѣ, как и в сундукѣ, находилась вырытая террористами из подкопа земля.

Пристав Теглев, не желая отставать от генерала в усердіи, обратил его вниманіе на то, что часть стѣны обшита досками. Мровинскій тотчас сдѣлал лавочнику внушеніе.

— Так не годится. Кусочки сыра попадают в щели, гніют. То-то у вас такой воздух. Вы это передѣлайте.

— Так точно, ваше превосходительство. Слушаю-с, ваше превосходительство, — сказал Богданович. Его почтительность понравилась генералу.

— Ваша фамилія Кобозев? Я еще другого торговца Кобозева знаю. Он вам не родственник?

— Никак нѣт, ваше превосходительство.

— Ну, что-ж, кажется, все в порядкѣ, — сказал генерал. Пристав почтительно наклонил голову. Мровинскій благосклонно кивнул головой лавочнику, еще раз велѣл ему убрать доски и вышел в сопровожденіи сви-ты. Всѣ они были вполнѣ удовлетворены осмотром. Пристав же был особенно рад своей выдумкѣ: так он хитро, в полном согласіи с «хабеас корпус», принял мѣры для охраны его величества.

Когда они вышли, Богданович, еле дыша, добрался до второй комнаты и повалился на покрытый рогожей жесткій диван. Он даже не мог радоваться. «Только бы скорѣе! Все равно как, лишь бы скорѣе! ... » — думал он, обливаясь потом.

VII.

Полицеймейстер, полковник Адріан Дворжицкій, состоял при особѣ царя. С апрѣля 1879 года, со времени покушенія Соловьева, Александр II больше не выѣзжал из дворца без казачьяго конвоя; за казаками всегда слѣдовал Дворжицкій, а за ним жандармскій капитан Кох. Полицеймейстер был человѣк старой школы и горячій поклонник генерала Трепова. Замѣчая на улицѣ, на пути государя какого-нибудь студента с пледом, бѣдно одѣтаго человѣка в очках или с палкой в рукѣ, он на ходу выскакивал из экипажа и собственноручно хватал его. «Подозрительная фигура, ваше императорское величество. Нельзя было не задержать», — объяснял он царю. Вначалѣ Александр II соглашался: «Да, кажется, у него была скверная рожа, я тоже замѣтил». Потом пріемы Дворжицкаго императору, повидимому,

надоѣли. Ни один народоволец таким способом задержан не был. Людей, которых арестовывал полицеймейстер, по выясненіи их личности приходилось освобождать.

Лорис-Меликов, став министром внутренних дѣл, строго запретил Дворжицкому хватать без причины прохожих. Полицеймейстер был очень этим недоволен. Он притом давно думал, что все в мірѣ идет к чорту со дня отставки генерала Трепова.

Царь недолюбливал бывшаго градоначальника и смутно подозрѣвал, что Трепов в свое время доносил императрицѣ об его свиданьях с княжной Долгорукой. Дворжицкій был Треповским ставленником, тѣм не менѣе к нему Александр II относился благосклонно. Полицеймейстер веселил его своей живописностью. Но граф Лорис-Меликов достаточно насмотрѣлся с т а р ы х с л у ж а к в арміи, в администраціи, при дворѣ, и старался понемногу от них отдѣлываться: по его мнѣнію, всѣ они компрометировали правительство, — как его безнадежно скомпрометировал на весь мір Трепов Боголюбовским дѣлом. Поэтому когда снова освободилась должность петербургскаго градоначальника, она Дворжицкому не досталась. Полицеймейстер был чрезвычайно обижен: назначенный на эту должность генерал Федоров был моложе его службой и производством. Лорис-Меликов, не любившій ссориться с людьми, предложил полицеймейстеру генеральскій чин и должность в провинціи. Дворжицкій от этого отказался: нуждаясь в средствах, попросил пожаловать ему аренду, с оставленіем в чинѣ полковника и в должности полицеймейстера при особѣ государя. Аренду он получил, но недоброжелательство к новому градоначальнику у него осталось. Они во всем расходились: в полиціи, как в литературѣ или в музыкѣ, были разныя направленія, разные стили, разныя школы.

Теперь Федоров был начальством. Дворжицкому бывало всегда непріятно получать от него приказанія.

Раздражился он и вечером 28 февраля, получив у себя на Офицерской приказаніе явиться на слѣдующее утро, в 9 часов, в градоначальство; вызывались всѣ полицей-мейстеры и пристава столицы.

В тревожном ожиданіи генерала Федорова, чины полиціи, не знавшіе причины вызова, вполголоса обмѣнивались сообщеніями о происшествіях в городѣ. Услы-шав о санитарном осмотрѣ в лавкѣ на Малой Садовой, Дворжицкій развел руками.

— Уж если у лавочника нельзя сдѣлать обыск! Эх, Федор Федорыч обошелся бы без санитаріи!

Общая тревога не оправдалась. Градоначальник вы-шел с сіяющим видом и в краткой, торжественно произнесенной рѣчи сообщил, что арестован главарь анар-хистов, Андрей Желябов. Слухи о том, будто крамольники готовят подкоп на Малой Садовой, оказались ложными: все незамѣтнѣйшим образом провѣрено и оказалось совершенным вздором.

— Еще осталось схватить двух-трех злодѣев, и с крамолой будет навсегда покончено! — с силой сказал гра-доначальник. — Господин министр внутренних дѣл, его сіятельство граф Лорис-Меликов весьма доволен и обѣщал доложить о нас его императорскому величеству. Я и пригласил вас сюда, господа, чтобы объявить вам свою душевную благодарность. Всѣ, каждый на своем посту, ревностно исполняют свой трудный долг! Считаю пріятным долгом особенно отмѣтить усердіе, рвеніе, энергію пристава перваго участка Спасской части Теглева. Всѣм русское спасибо, господа!

Затѣм генерал Федоров объявил, что в виду полнаго успокоенія, вызваннаго энергичными дѣйствіями сто-личной полиціи, государь император соизволит нынче в первом часу выѣхать в Михайловскій манеж на развод.

— Вас, Адріан Иванович, я попрошу съѣздить отсюда к манежу и разставить там наряды полиціи и конных жандармов. В подробности не вхожу, зная ваш опыт и тонкое знаніе дѣла, — сказал градоначальник,

обращаясь к Дворжицкому особенно учтиво и даже с нѣсколько виноватым видом.

Чины полиціи разошлись очень довольные и похвалой, и тѣм, что пришел конец анархистам, которые отравляли им жизнь. Недоволен был один Дворжицкій, — впрочем больше потому, что Федоров так сіял. Новое направленіе в полиціи пока получило утвержденіе только от министра. Полицеймейстер отправился к своему знакомому, графу Перовскому. Этот камергер находился в добрых отношеніях с великим князем Владиміром Александровичем.

— ...Я одно скажу, граф: плохо охраняется государь император. Там всѣ эти новшества, я о них не говорю, — взволнованно объяснял он. — Не мое дѣло судить, кто у нас нынче на мѣстѣ и справедливы ли были нѣкоторыя назначенія... Бог все видит!.. Но Христом Богом умоляю вас, граф, доложите великому князю!.. Хоть я государя императора вижу постоянно, а сам его величеству сказать не смѣю и не могу. Ябедничеством никогда не занимался!

Граф Перовскій обѣщал поговорить с великим княземъ сегодня же.

От Перовскаго Дворжицкій отправился в манеж. Проѣзжая по Малой Садовой, он догадался, что санитарный осмотр был произведен в сырной лавкѣ полуподвальнаго этажа, в домѣ на углу Невскаго. Полицеймейстер крѣпко выругался.

Разставив гдѣ полагалось конную и пѣшую полицію, он в три четверти двѣнадцатаго поѣхал на своей сѣрой парѣ в Зимній дворец ждать выѣзда государя.

VIII.

Огромное зданіе манежа было совершенно переполнено. Как в оперѣ перед увертюрой, музыканты настраивали инструменты, слышались команды отдѣльных частей, и стоявшій гул время от времени покрывал знаме-

нитый на всю военную Россію бас манежнаго глашатая, сообщавшаго о пріѣздѣ высших должностных лиц. Раз-вод 1 марта был от лейб-гвардіи Сапернаго батальона. Саперы выстроились по лѣвую сторону манежа. Проти-воположная сторона была занята офицерами всѣх дру-гих полков гвардіи. Когда-то при Павлѣ, развод в высо-чайшем присутствіи происходил каждый день. При Александрѣ II он обычно устраивался раз в недѣлю. Иностранцы считали его самым красивым зрѣлищем при русском дворѣ и очень дорожили приглашеньем в ма-неж. По общему правилу из дипломатов всегда пригла-шались военные. Французскій посол Шанзи и германскій фон-Швейниц оба были генералами, и на разводах удобно было слѣдить за тѣм, кому из них государь ока-зывает больше вниманія. Из этого дѣлались важные политическіе выводы.

Почему-то — без понятной причины, — настроеніе в Манежѣ, как, быть может, во всем Петербургѣ, было в тот день нѣсколько тревожное. В группѣ людей, сто-явших позади германскаго посольства, русскій офицер, татарин по происхожденію, разсказывал о снѣ царя. Нѣмцы слушали с любопытством.

— Кровавый мѣсяц? — спросил граф фон-Пфейль. — Это очень странно. Но почему кровавый мѣсяц озна-чает заговор?

— Я тоже слышал об этом снѣ. Кажется, двѣ луны, и одна кровавая ... Конечно, вздор! — сказал кто-то дру-гой. — Вѣрно, этот знаменитый Али-эффенди просто проходимец.

—Да и сны вообще никогда ничего не означают. У меня, напримѣр, сны всегда совершенно безсмыс-ленны. Настолько безсмысленны, что никакой толкова-тель ничего не мог бы сочинить.

— А что же казалось безсмысленнѣе коров фара-она? По моему . .. —сказал нѣмецкій офицер и схватился за уши. «Его высокопревосходительство, генерал-адъ-ютант Гурко изволит ѣха-а-ать!» —прокричал по бли-

зости от них глашатай, почему-то растягивавшій по-слѣднее слово и доводившій на нем звук до чудовищной силы. — Это просто чорт знает что такое!

Разговор о снѣ не возобновился. От Али-эффенди перешли к турецкому послу, тоже генералу.

— Этот самый Шакир-паша в пору войны здорово нас потрепал, и как раз саперов.

— Замѣтит ли государь Скал она? Он был изранен на смерть, очень долго лежал и нынче в первый раз на парадѣ.

— Великій князь Дмитрій в первый раз ординарец и страшно волнуется.

— Вы говорите, саперы. Любопытно, что эта часть играет нѣкоторую роль в жизни государя императора. Когда он родился, караул был от саперов. В день декабрьскаго возстанія, они ...

Глашатай прокричал о пріѣздѣ государя как-то по иному и совершенно нечеловѣческим голосом. По-слышалась команда: «Смирно!» Люди окаменѣли. Мгновенно настала тишина. Ворота распахнулись настежь, и Александр II в мундирѣ сапернаго батальона въѣхал верхом в манеж, в сопровожденіи свиты. Он доѣхал до средины манежа, повернул лошадь к батальону и махнул рукой. Оркестр заиграл гимн. Затѣм минуты двѣ дли-лось «ура!»

Люди, бывшіе на разводѣ, впослѣдствіи говорили, что никогда Александр II не был так весел и так красив, как в этот день. «Noch immer eine der schönsten und erhabensten Herrschergestalten, die man sich denken konnte», — записал о нем нѣмецкій офицер. Саперный батальон два раза прошел перед царем. Он замѣтил Скалона и потом участливо разспрашивал его о здо-ровьи. Со своим двадцатилѣтним племянником был чрезвычайно ласков и хвалил его ѣзду. Всѣ обратили вниманіе на то, что государь послѣ парада долго разго-варивал с генералом Шанзи.

В небольшой группѣ иностранцев, каждый день и каждую ночь пивших вмѣстѣ шампанское, обмѣнива-лись впечатлѣньями:

— Необыкновенно красиво! Это изумительное разнообразіе мундиров! Сегодня бѣлые, черные, цвѣтные султаны издали казались лѣсом.

— С лѣсом ни малѣйшаго сходства, но дѣйстви-тельно такого блеска нѣт нигдѣ в мірѣ.

— Главное, сам он на рѣдкость картинный человѣк. Его стиль: сочетаніе Людовика XIV с Гарун-аль-Рашидом.

— Обратите вниманіе: это афоризм!

— Стиль стилем, но в девятнадцатом вѣкѣ незачѣм дѣлать из человѣка божество.

— Сегодня он был великолѣпен. А иногда на него тяжело смотрѣть. Я в январѣ видѣл его у великаго князя Владиміра. Он кашлял не переставая, его измучила астма.

— Божество больное астмой.

— У Владиміра сегодня обѣдает La Grande Mademoiselle. — Так в этом кружкѣ называли Юрьевскую. — Забавно, что хозяин должен будет пить за ея здоровье!

— O, that deceit should dwell in such a gorgeous palace!..» Это не я говорю! Это сказал Шекспир.

— Он читал Шекспира!

— Если, конечно, он не врет.

— Вчера наслѣдник отказался вести ее в церковь. Она шла с великой княгиней Марьей Павловной.

— Нѣт, он не отказался: не посмѣл бы отказаться. Это вышло как то само собой.

—Само собой ничего не выходит. Даже рево-люція.

— Кажется, погода портится, — сказал старый чело-вѣк в моноклѣ, недовольный послѣдним замѣчаніем. — Утро было прекрасное: солнце и мороз.

— Мороз остался, но солнце исчезло. А все-таки

меня напрасно так пугали петербургским климатом, в нем ничего страшнаго нѣт. И эти русскія печи настолько лучше наших каминов.

— В домах у них тепло, но в театрах иногда очень холодно. Даже в Китайском и в Эрмитажѣ.

— Я был на том спектаклѣ, на котором одна симпатичная старушка, — я никого не называю, моя discrétion общеизвѣстна — выдвинула конкуррентку à la Grande Mademoiselle. Конкуррентка сидѣла в ложѣ старушки как раз против царя. Он тогда еще бывал в театрах.

— Я ее знаю. Очень опасная конкуррентка: писаная красавица.

— И что же?

— Он смотрѣл, кажется, с большим интересом. Тѣм не менѣе замысел симпатичной старушки не удался. Французы изумлялись: это уже Людовик XV.

— Сфинкс сегодня сіял. — Прозвище Сфинкса было дано молчаливому французскому послу. — Император был с ним очень любезен, он пошлет об этом семьдесят шифрованных телеграмм в Париж. Вы знаете на первом разводѣ послѣ отказа Франціи в выдачѣ того проходимца Гартмана, Александр II не протянул Сфинксу руки.

— Он сказал: «J'ai été très affecté, Monsieur l'Ambassadeur, de la décision de votre gouvernement au sujet de ce misérable. C'est tout ce que j'ai à vous dire». И прошел дальше.

— Кто это Гартман?.. Ах, да, я забыл.

— Он забыл. Он не помнит, как зовут англійскую королеву. Он вчера выпил три бутылки.

— По поводу англійской королевы, знаете ли вы, как лорд Дюфферин опредѣляет революцію: «Революція это когда внизу убійцы, а наверху самоубійцы».

IX.

Со своего наблюдательнаго пункта Перовская увидѣла, что окруженная казаками карета пронеслась по Инженерной. За стеклами мелькнула откинувшаяся на спинку сидѣнья фигура в Николаевской шинели. «Проѣхал по набережной!.. » Шансы уменьшались вдвое.

Она не чувствовала ни волненія, ни страха. Всѣ ея чувства достигли такого напряженія, что безслѣдно проходили через душу, — как безболѣзненно проходит через тѣло ток в сто тысяч вольт. Она почти ни о чем, кромѣ диспозиціи, не думала. Развалившійся в каретѣ человѣк, по волѣ котораго должен был на висѣлицѣ умереть Тарас, был величайшим злодѣем, и его слѣдовало убить без малѣйшаго колебанія. Не заслуживал ничего, кромѣ ненависти, и весь их мір дворцов, мундиров, угнетателей.

Еслибы ея нечеловѣческое напряженіе прошло, она, вѣроятно, могла бы сказать все это связно. Она могла бы сказать, что по рожденію принадлежала к их міру, что ушла из него добровольно, — от ея воли зависѣло в нем остаться. Перовская ушла из этого міра в ранней юности и теперь знала в нем немногих; при очень рѣд-ких случайных встрѣчах они в ней не вызывали даже презрѣнія. Молодой краснорѣчивый прокурор Мура-вьев, мѣсяцем позже добившійся для нея смертной каз-ни, был товарищем ея дѣтства, — такія «шутки судьбы» случались только в старой Россіи. Должно быть, на про-цессѣ он боялся, что она об этом скажет: для него тут не было бы ничего страшнаго, — но н е п р і я т н о е наверное было бы: по залѣ суда, конечно, пробѣжал бы изумленный гул и об этом долго — по разному — гово-рили бы в его обществѣ, в министерствѣ, при дворѣ. Перовская не сказала ни слова: в отличіе от Желябова и от многих других революціонеров, она не любила и не понимала эффектов; если что было ей совершенно чуждо, то именно тщеславіе и поза. Этот прокурор,

изображавшій Тараса злодѣем, вообще не был для нея человѣком.

Однако теперь вся цѣпь чувств и разсужденій, которая привела к 1-ому марта, была гдѣ-то позади, на са-мом днѣ ея сознанія. Теперь она думала лишь о том, как помѣшать спастись развалившемуся в каретѣ чело-вѣку в Николаевской шинели, — но об этом думала с необыкновенной ясностью. Перовская в этот день не допустила ни единой оплошности, не сдѣлала ни единой ошибки. Только изрѣдка вздрагивала, думая о Тарасѣ. В Домѣ предварительнаго заключенія он должен был услышать взрыв. Желябов не мог з н а т ь, что покушеніе на царя произойдет сегодня, но он, конечно, мог на это надѣяться, — навѣрное разсчитывал н а н е е. Она представила себѣ, как он прислушивается в своей камерѣ, и ускорила шаги.

По Михайловской на нѣкотором разстояніи один от другого шли Рысаков и Емельянов, оба с бѣлыми свертками. Ей показалось, что они, особенно Рысаков, еле держатся на ногах. Сдѣлав им знак платком, она прошла до конца улицы. Тимофея Михайлова не было. «Неужто сбѣжал? Нѣт, конечно, увидѣл, что карета про-ѣхала по набережной. Но все равно, он должен был быть здѣсь!» Ее привели в бѣшенство эти ненадежные товарищи, на которых не подѣйствовала гибель Тараса.

Стиснув зубы, Перовская вернулась на Малую Садовую и медленно прошла мимо лавки. Ей захотѣлось туда зайти, в п о с л ѣ д н і й раз взглянуть на подкоп, гдѣ Тарас провел много ночей. Но она чувствовала, что мо-жет лишиться чувств от запаха, навсегда связавшагося с лавкой у всѣх участников подкопа.

В Петербургѣ того времени даже неопытный чело-вѣк мог на улицѣ легко замѣтить, что ожидается проѣзд царя. Напряженіе росло с каждой минутой. Каме-нѣли лица вытягивавшихся городовых, каменѣли фи-гуры конных жандармов, каменѣли даже их лошади. По улицѣ разсыпались сыщики. Теперь на Малой Садо-

вой напряженіе уже исчезло. Перовской стало ясно, что царь и на обратном пути по этой улицѣ не проѣдет. «Тогда, А н т о н и н а вѣрно уже ушла? .. » Она теперь называла Якимову так, как ее никто больше, кромѣ Тараса, не звал. По своему опыту на Московской желѣзной дорогѣ Перовская помнила, что́ такое ждать взрыва. Но для нея теперь существовали только чувства одного человѣка на свѣтѣ. «Вся надежда на метальщиков! .. Ах, зачѣм, зачѣм я не взяла снаряда себѣ! .. »

Гриневицкій сидѣл в нижнем полутемном помѣще-ніи кофейни Андреева. Здѣсь публики не было: люди завтракали наверху. Котик что-то ѣл. Перед ним, между графином и хлѣбом, лежал бѣлый сверток, перевязан-ный сѣрой тесемочкой. Увидѣв Перовскую Гриневиц-кій издали ласково помахал ей рукой, встал и пододви-нул ей стул.

— На Малой Садовой не вышло, — садясь, сказала она вполголоса, хотя никто не мог их слышать.

— Я знаю. Он проѣхал по набережной канала и очевидно по набережной вернется. Вы говорите о подкопѣ? Что-ж, теперь скрывать от меня безполезно, я для того и позволяю себѣ спрашивать: теперь я только могу «унести тайну в могилу». Кажется, так говорят: «унести тайну в могилу»? .. Вы что будете ѣсть? Зразы очень хороши.

— Что? .. Нѣт, я не буду ѣсть! .. Впрочем, я отлично понимаю и даже вам завидую, но я ѣсть не могу.

— Отчего же не ѣсть? Можно ослабѣть. Хотите, я закажу вам чернаго кофе с коньяком. Я перед зразами выпил и рюмку водки.

— Для бодрости?

— Отчасти и для бодрости. Но главным образом для того, что я люблю и водку, и зразы, и кофе. Вѣдь это мой п о с л ѣ д н і й завтрак.

— Почему вы так думаете? Так нельзя думать, когда идешь на дѣло, — сказала она. Как ни трудно ей

было теперь входить в мысли и чувства других людей, она сдѣлала над собой усиліе: это было частью диспозиціи. — У вас номер 2. Но если и выйдет вам бросить снаряд, вы можете потом скрыться в суматохѣ.

Он засмѣялся.

— Бросить снаряд о т в ѣ с н о, а потом скрыться в суматохѣ?.. Думаю, что номер 1 не надежен. Я его издали видѣл.

— Я не могла его найти! Куда же он дѣлся?

Гриневицкій сдѣлал ей легкій знак глазами. В комнату спустился лакей.

— Дайте нам, пожалуйста, двѣ чашки кофе и двѣ рюмки коньяку.

— Одну рюмку. Я не хочу.

— Одну рюмку коньяку. И, пожалуйста, принесите счет, — сказал Гриневицкій. Лакей убрал тарелку с остатками жаркого и смел салфеткой крошки хлѣба со скатерти. Гриневицкій небрежно положил бѣлый сверток на стул.

— Времени еще много: мы можем оставаться здѣсь четверть часа.

— Почему вы думаете, что он не надежен?

— Это есть только мое впечатлѣніе. Он слишком волнуется.

— А вы?

— Я меньше, — без улыбки отвѣтил он. — А главное, волнуюсь ли я или нѣт, я в себѣ совершенно увѣ-рен. Вот как в вас ... Будьте спокойны, дни Александра II сочтены. Даже не дни... Ему осталось жить около часа. И мнѣ столько же. Всѣ мы, его убійцы, умрем вмѣ-стѣ с ним. Думаю, что удар выпало нанести мнѣ. Что-ж дѣлать? Без кровопролитія ничего в исторіи не дѣла-ется. Без крови мы свободы не завоюем. И мы завоюем ее не так скоро. Мнѣ не придется, конечно, участвовать в послѣдней борьбѣ за освобожденіе. Судьба обрекла меня на раннюю смерть. Я не увижу побѣды, я ни одного дня, ни одного часа в свободной Россіи жить не

буду ... Кстати, поляки считают меня отщепенцем... Кажется, есть такое слово: отщепенец? Поляки считают меня русским, а русскіе считают меня поляком. Я не знаю, кто прав: я просто человѣк. Думаю, что в буду-щем таких людей, как я, людей-просто, будет все боль-ше... Я люблю людей, люблю жизнь. Только деспотов не люблю. Всѣ их слуги будут с нынѣшняго дня нас оплевывать и смѣшивать с грязью. Но какія же низмен-ныя побужденія они могут у нас найти? Видит Бог, в котораго я так горячо вѣрил прежде, в котораго, быть может, вѣрю и сейчас ... Видит Бог, мы ничего для себя не желали, мы хотѣли и хотим только блага человѣче-ства. Чего я могу хотѣть для себя, если через час ника-кого Гриневицкаго не будет! .. Я люблю жизнь и не могу отдать ее с радостью. Видит Бог, отдаю ее потому, что этого требует долг. Я сегодня сдѣлаю все, что должен · был сдѣлать в жизни. Больше от меня никто не вправѣ ничего требовать. Горючій матеріал в Россіи накоплен столѣтьями... Да и во всем мірѣ. Наше дѣло бросить искру в порох.

— Не только в этом, — сказала она, смотря на него с удивленьем. «Как я раньше его не замѣчала? Он ни на кого не похож» ...

—Конечно, не только в этом, согласился он. Надо будет заботиться о том, чтобы возникшее дѣло кончилось побѣдой наших идей. Живые об этом дол-жны позаботиться. Но из нас кто же останется в живых? Конечно, не вы ... Простите меня, я не сказал бы этого другой женщинѣ, вы женщина необыкновенная ...

Лакей принес кофе, рюмку и счет. Гриневицкій расплатился и залпом выпил коньяк.

— Вы останетесь здѣсь? — спросил он, когда лакей опять ушел.

—Нѣт, я тоже пойду, но мы выйдем не вмѣстѣ ... Я только хочу сказать вам, Котик, что вы напрасно себя хороните. Первый бросит бомбу Михайлов, — сказала она, хоть ему по правилам не полагалось знать настоя-

щія имена других метальщиков. Он усмѣхнулся и наклонил голову, как бы показывая, что знал это имя.

— Может быть, может быть.

— Я пройду через Казанскій мост и буду за всѣм слѣдить с другой стороны Екатерининскаго канала. Значит, я вас еще у в и ж у. И во всяком случаѣ я не прощаюсь. Послѣ того, как все будет кончено, приходите опять на Телѣжную, — сказала она, вставая.

— Хорошо, хорошо. — Он допил кофе, тоже под-нялся и взял со стула бѣлый сверток, держа его за бан-тик. «Что если бантик развяжется?» — невольно поду-мала она. — Прощайте.

Точно на мгновенье ослабѣл проходившій через ея душу ток страшнаго напряженія.

— Прощайте, Котик! — прошептала она.

X.

Как Перовская и Гриневицкій, Тимофей Михайлов издали увидѣл пронесшуюся карету царя. Лишь только ему стало ясно, что на подкоп больше надежды нѣт, силы его оставили.

Михайлов был мужественный человѣк и это доказал своим поведеньем на судѣ и на эшафотѣ. Но теперь на улицѣ он почувствовал, что н е м о ж е т выполнить порученное ему дѣло. Ждать надо было бы еще часа два. Между тѣм он знал, что свалится без чувств гораз-до раньше: у него кружилась голова. С этим крѣпким огромным человѣком навѣрное никогда прежде ничего такого не случалось.

Пойти на Михайловскую к Перовской, сказать ей правду, было тоже невозможно. «Как я ей скажу! Ба-рышня, ростом вдвое меньше меня, и она может, а я не могу!.. Язык не повернется сказать!.. Соврать? Да что же я выдумаю? И никогда она не повѣрит, и не могу я ей врать. Если говорить, так правду: не могу, хотите казните, хотите милуйте... Дѣлайте со мной, братцы,

что хотите», — мысленно говорил он членам Исполни-тельнаго Комитета. Ему хотѣлось лечь, заснуть, забыть все. Теперь ему казалось, что он был счастлив прежде, когда жил впроголодь, получал на заводѣ гроши, тер-пѣл обиды и оскорбленія.

Было очень холодно, у него зябли руки и уши. Михайлов не надѣл рукавиц, а в правой рукѣ держал бѣ-лый сверток. Он приложил к уху лѣвую руку, затѣм попробовал ею отогрѣть другое ухо, и чуть было не уро-нил снаряда. Ахнув, спрятал снаряд за пазуху и тотчас его вынул, — подумал, что могут принять за вора. «Не могу! Бог видит, не могу! .. Потом придумаю, что ска-зать. Что хотите, то со мной дѣлайте, братцы! .. — Михайлов надвинул шапку на лоб и пошел домой, отчаянно размахивая рукой со снарядом. Он ругал себя са-мыми ужасными словами — и чувствовал невыразимое облегченіе.

Его уход спутал диспозицію. Ему полагалось стоять на набережной канала у поворота с Инженерной. Теперь это мѣсто, на котором царская карета по необхо-димости замедляла ход, оставалось незанятым.

Выйдя из кофейни Андреева, Перовская по Невскóму отправилась к каналу и перешла на другую его сторону. Метальщики уже должны были всѣ находиться на мѣстах. Она так же хорошо собой владѣла и теперь, но сердце у нея страшно билось. По диспозиціи ей полагалось находиться против перваго метальщика. «Гдѣ же они? .. Что же это? .. » — спрашивала она себя, вгля-дываясь в рѣдких людей, шедших по ту сторону канала. Прохожих было мало. Метальщикам уже давно надле-жало быть на мѣстах. Вдруг она увидѣла Рысакова. Он шел, пошатываясь, к повороту, — прошел дальше, не глядя по сторонам. Она хотѣла закричать: «Николай! Здѣсь! Остановитесь! Здѣсь! .. » Через минуту Рысаков остановился, повернул было назад и опять, шатаясь,

пошел в прежнем направленіи. «Что же это? Он не сдѣлает!.. Гдѣ же другіе?.. Бѣжали!..»

Только теперь она увидѣла, что довольно далеко впереди, плотно прислонившись к рѣшеткѣ, скрестив руки, стоит какой-то человѣк в пальто. «Котик!» — замирая, подумала Перовская. Это в самом дѣлѣ был Гриневицкій. Она не видѣла свертка, но догадалась, что он поддерживает и прикрывает снаряд скрещенными руками. «Неблагоразумно так стоять: сыщики замѣтят. Нѣт, сыщиков, кажется, нѣт»...

Набережная в самом дѣлѣ была пуста. Только с Инженерной свернул мальчик, катившій перед собой корзину на полозьях. Перовская обогнала Рысакова, поровнялась с Гриневицким и остановилась. Он оглянулся, увидѣл ее и слабо ей улыбнулся. Лицо его было совершенно спокойно. «Слава Богу!.. Вся надежда на Котика! Он не выдаст!..»

На набережную вдруг с Инженерной вышел небольшой отряд. Это был возвращавшійся с парада флотскій экипаж. «Что это? — все больше задыхаясь, спросила себя Перовская: еще не понимала, как может отразиться на дѣлѣ эта неожиданность. Карета царя теперь могла появиться каждую минуту. Мальчик, быстро скользя по засыпанной снѣгом набережной, приближался к Рысакову. Она успѣла подумать, что если карета появится сейчас, то вѣрно будет убит и мальчик. «Лишь бы еще двѣ-три минуты! Тогда он убѣжит далеко вперед» — подумала она, и опять оглянулась в сторону Гриневицкаго. Теперь он на нее не смотрѣл. Он смотрѣл вверх, медленно обводя взглядом небо. Перовская еще подумала о Тарасѣ — и замерла: на поворотѣ показалась окруженная казаками карета.

XI.

Лейб-кучер Фрол Сергѣев, знаток своего дѣла, знал, что на царя готовятся покушенія. Дворжицкій и Кох не

раз давали ему указанія и вразумительно объясняли, что и он будет убит, если злодѣй бросит бомбу. Это не-трудно было понять и без поясненій. Вызывала к себѣ лейб-кучера также княгиня Юрьевская, умолявшая его за всѣм слѣдить и не жалѣть рысаков, — самых лучших в Россіи. Фрол Сергѣев боялся только поворотов, но и на них задерживал лошадей лишь на полминуты. По на-бережной карета понеслась так, что скакавшіе вокруг нея казаки перешли на быстрый галоп.

Услышав позади себя топот, взводный флотскаго экипажа оглянулся, увидѣл карету царя и прокричал команду. Экипаж мгновенно выстроился у рѣшетки Ми-хайловскаго сада. Загремѣл барабан. Мальчик останови-вился и замер, восторженно глядя на мчавшихся лоша-дей. Карета пронеслась мимо флотскаго экипажа. «Ни-колай! Сейчас! Сію минуту!» — беззвучно закричала Пе-ровская. Рысаков все так же, не глядя по сторонам, шел, пошатываясь, по краю набережной. Казак чуть не наско-чил на него и, обернувшись, погрозил ему нагайкой. Рысаков, глядя вперед безсмысленным взглядом, отбро-сил от себя вдогонку каретѣ свой сверток, точно хотѣл от него освободиться. Раздался страшный удар. Все заволокло дымом.

Когда дым немного разсѣялся, Перовская с отча-яньем увидѣла, что царь выходит из осѣвшей на бок ка-реты. «Спасся! .. Тарас!» подумала она. На снѣгу ле-жали люди. Одна из казачьих лошадей без всадника бѣшено неслась вперед. Другія лошади взвились на дыбы. К каретѣ сзади подбѣгал выскочившій из своих саней полицеймейстер, — его искаженное лицо запечат-лѣлось у нея в памяти. Она не сразу увидѣла, что Рыса-ков, теперь шатаясь совсѣм как пьяный, бѣжит назад к Инженерной, что его нагоняют люди. «Тарас!» — поду-мала она, — «Тарас услышит взрыв, а потом узнает, что все пропало!» ... И в ту же секунду она вспомнила о Гриневицком. Он стоял все так же неподвижно, со скре-

щенными руками, прислонившись к рѣшеткѣ Екатерининскаго канала.

К мѣсту взрыва бѣжали солдаты, полицейскіе, еще какіе-то люди. Все смѣшалось. Перовская больше не видѣла ни Рысакова, ни царя. Она лишь вечером узнала то, что узнали всѣ в мірѣ. Много людей в этот день говорили, что «первые схватили злодѣя». Хвалились этим и жандармскій капитан Кох, и фельдшер Горохов, и городовой Несговоров, и мостовой сторож Назаров, и рядовой Евченко. Повидимому, в него сразу вцѣпилось нѣсколько человѣк. Царь, тоже пошатываясь, подошел к нему, смотрѣл на него с минуту и спросил:

Ты бросил бомбу?

Да, я.

Кто такой?

Мѣщанин Глазов, — сказал Рысаков, отчаянно на него глядя. Царь еще помолчал.

— Хорош! — сказал он наконец и отошел. Он был оглушен взрывом, и голова у него работала не ясно.

— Un joli Monsieur! — негромко сказал Александр II.

Дворжицкій задыхавшимся голосом спросил его:

— Ваше величество, вы не ранены?

Царь еще успѣл подумать, что надо за собой слѣдить, не сдѣлать и не сказать ничего лишняго. Помолчав нѣсколько секунд, царь медленно, с разстановкой, отвѣтил, показывая на корчившагося на снѣгу мальчика:

— Я нѣт... Слава Богу... Но вот...

Свидѣтели показывали, что Рысаков, услышав отвѣт царя, сказал: «Еще слава ли Богу?» Прокуратура ухватилась за эти слова. Сам он говорил, что не помнит, сказал ли их, и, конечно, говорил правду: в том состоя-ніи, в каком он находился, и не мог их помнить. В ѣ-р о я т н о, Рысаков это сказал, —как, вѣроятно, Же-лябов, человѣк неизмѣримо болѣе крѣпкій, в момент ареста иронически спросил полицейских: «Не слишком

ли поздно вы меня арестовали?» Такія замѣчанія вредили не только им (об этом они, особенно Желябов, не думали), но и их дѣлу: полиція очень насторожилась послѣ слов Желябова, а услышав «еще слава ли Богу?», царь, по требованьям здраваго смысла, должен был бы тотчас уѣхать. Однако Рысаков в ту минуту был близок к умопомѣшательству. Потребность в ы з о в а могла оказаться сильнѣе всѣх других чувств. Он безсозна-тельно у т ѣ ш а л себя этими словами. Едва ли он и желал успѣха слѣдующему метальщику: теперь ему было все равно.

Не он один потерял голову на набережной. Импера-тор навѣрное спасся бы, если бы он или люди, вѣдавшіе его охраной, сохранили самообладаніе. Совершенно пра-вильно замѣтил в своих воспоминаніях Тихомиров, вер-нувшійся в Петербург как раз 1 марта и в тот же вечер слышавшій разсказ Перовской о дѣлѣ: Александр II сам пошел навстрѣчу смерти. Он не должен был и прибли-жаться к террористу. Скорѣе всего царь подошел к нему из любопытства. Могли быть и соображенія престижа: надо было показать быстро собиравшейся толпѣ, что он не испугался, что он сохранил полное спокойствіе. Од-нако у людей, вѣдавших его охраной, таких соображе-ній быть не могло. По самому характеру своей службы. они должны были наперед сто раз представлять себѣ картину покушенія на царя и обдумывать, что тогда надо будет сдѣлать. В дѣйствительности все, что они дѣ-лали 1 марта на набережной Екатерининскаго канала, было совершенно безсмысленно.

По правилам царскаго конвоя, казакам полагалось тотчас сходить с коней, когда император выходил из кареты. Лошади взвились на дыбы, казаки с них соско-чили и вцѣпились в поводья, так как отпустить взбѣ-сившихся лошадей было невозможно. Таким образом царь остался без охраны. Лишь казак, сидѣвшій на коз-лах рядом с кучером, не потерял головы и, ахая как всѣ,

сказал полицеймейстеру, что надо поскорѣе увезти его величество в санях.

— Что там в санях!.. В каретѣ увезу!.. Довезу, ничего! — говорил оглушенный кучер, тоже соскочившій с козел. Полицеймейстер дико взглянул на кучера, схватился за голову и побѣжал нагонять царя. Все же он успѣл на бѣгу сообразить, что совѣт казака правилен.

— Ваше величество... Соблаговолите сѣсть в мои сани... Осчастливите... Во дворец... Видит Бог... Мало ли что может... — задыхаясь, говорил он.

— Покажи мнѣ сначала... все, — сказал царь. Он и сам не знал, что хочет видѣть. — Покажи мѣсто взрыва.

Он остановился над умиравшим мальчиком, над трупом убитаго наповал казака. Окружавшіе его теперь люди, полицеймейстер, солдаты, сбѣгавшіеся случайные прохожіе, всѣ одновременно говорили, не слушая друг друга. Царь не любил толпы, даже придворной, но в такой толпѣ отроду не был. Он медленно пошел дальше, не зная, куда и зачѣм идет. Теперь карета, мѣсто взрыва, сани, мальчик, толпа были позади его. — Впереди был только Гриневицкій.

Полицеймейстер, шедшій рядом с императором с п р а в а, тѣм же отчаянным голосом говорил что-то невразумительное. Здравый смысл предписывал пойти назад, тотчас сѣсть в сани и вернуться в Михайловскій дворец по дорогѣ, на которой метальщиков не оказалось. Можно было также послать вперед полицію, казаков, флотскій экипаж для того, чтобы они расчистили дорогу к Зимнему дворцу.

Перовская увидѣла, что царь в сопровожденіи полицеймейстера идет вперед, к Г р и н е в и ц к о м у. Он шел неровно, зигзагами, то приближаясь к рѣшеткѣ канала, то удаляясь от нея, — не совсѣм твердо держался на ногах. И так же неровно, тоже пошатываясь, безсознательно повторяя его движенія, пошла вперед она по своей сторонѣ канала. Впереди слѣва, опершись на рѣшетку, стоял человѣк со скрещенными руками.

Люди в нормальном состояніи никак не могли бы не обратить вниманія на эту странную фигуру. Только тер-рорист — или развѣ умалишенный — мог в эту минуту стоять неподвижно вдали от всѣх. И царь, и полицей-мейстер в и д ѣ л и Гриневицкаго: его нельзя было не видѣть. «Что же это? .. Отчего не бросается навстрѣчу? .. Чего ждет? .. Его схватят!» — все больше задыхаясь, ду-мала Перовская. Разстояніе между царем и Гриневицким уменьшалось, но Гриневицкій точно прирос к землѣ и к рѣшеткѣ. На послѣднем своем зигзагѣ, царь почти с ним поровнялся. Лишь теперь он замѣтил этого не снявшаго шапки человѣка, он встрѣтился с ним взглядом — и вдруг п о н я л. Гриневицкій высоко поднял обѣ руки и почти отвѣсно изо всей силы бросил свой бѣлый сверток между царем и собой.

Второй взрыв почему-то оказался гораздо болѣе сильным, чѣм первый. Перовская закричала диким голосом, закрыла лицо руками и побѣжала назад. На правой сторонѣ канала повалилось в снѣг множество людей. Слышались отчаянные крики. Дым не расходился мину-ты двѣ.

Александр II и его убійца, оба смертельно раненые, сидѣли почти рядом на снѣгу, опираясь руками о зем-лю, спиной о рѣшетку канала. Рядом с ними упал на четвереньки полицеймейстер. Лошади пронеслись мимо них, волоча подбитую карету. За обезумѣвшими ло-шадьми гнались обезумѣвшіе люди. Всѣ орали, хватались за голову, бѣжали кто вперед, кто назад. По при-казу обезумѣвшаго взводнаго обезумѣвшіе солдаты за-чѣм-то ломали рѣшетку сада. Подбѣжавшій в послѣд-нюю минуту третій метальщик Емельянов спрятал за па-зуху снаряд — и бросился п о м о г а т ь ц а р ю.

XII.

На мѣстѣ никакой помощи императору оказано не было. Примчавшійся из Михайловскаго дворца великій

князь Михаил, ротмистр Колюбакин, метальщик Емельянов и другіе люди подняли умиравшаго царя и перенесли его в сани. «В первый дом внести!.. Не доѣдет!.. Развѣ так можно?.. Вот сюда внесем», — задыхаясь, сказал кто-то. Александр II услышал это и прошептал (быть может, подумал о княгинѣ):

— Во дворец... Там умереть...*).

Одежда его была сожжена или сорвана взрывом, царь был наполовину гол. Ноги его были совершенно раздроблены и почти отдѣлились от туловища. Ротмистр Колюбакин поддерживал царя в крошечных тряских санях. По дорогѣ Александр II открыл глаза и будто бы спросил: «Ты ранен, Колюбакин?»

В том же состояніи паники, внесли его из саней во дворец, не на носилках, даже не на креслѣ, а на руках. Люди засучили рукава, с них кровь струилась как с мясников. В дверь дворца втиснуться толпѣ было трудно. Дверь выломали, все так же держа на руках полуголаго, обожженнаго, умирающаго человѣка.

Дежурный дворцовый доктор Маркус и дежурный фельдшер Коган как раз садились пить чай в одной из отдаленных комнат дворца. Истопник прибѣжал с криком: «Скорѣе! Идите!.. Государю ноги оторвали!» Они, сломя голову, побѣжали за истопником.

---

*) Впослѣдствіи адвокат Кедрин, со слов Дворжицкаго, пустил слух, будто царь был убит наповал, — умер тут же на набережной. Как ни странно, эта версія дѣла 1 марта нашла довѣріе у серьезных историков. В дѣйствительности, десятки показаній, в том числѣ безхитростныя воспоминанія няни Боровиковой, не оставляют ни малѣйших сомнѣній в том, что царь прожил еще часа полтора послѣ взрыва. Вдобавок, сказанное в оффиціальном отчетѣ было никак не в интересах властей: все в нем свидѣтельствовало об их растерянности и безтолковости. Авторам отчета было бы гораздо выгоднѣе сказать, что царь был убит наповал. И менѣе всего могут имѣть значеніе слова Дворжицкаго — если они и были им сказаны: полицеймейстеру в этот день бомба Гриневицкаго нанесла 57 ран, и он едва ли может считаться достовѣрным очевидцем того, что было послѣ взрыва.

В длинной темной узкой залѣ перед царским кабинетом, по окровавленным коврам, бѣгали окровавленные лакеи с засученными рукавами. Императоръ лежалъ в ка-бинетѣ на диванѣ, передвинутом от стѣны к письменному столу. У изголовья неподвижно стояла с застывшим лицом княгиня Юрьевская, а на колѣнях перед диваном великій князь Александр Александрович. Уже бы-ло послано за членами царской семьи, за лейб-медиками, за духовником, за главными сановниками. Нѣкоторые из них входили в кабинет, ахали и останавлива-лись, глядя на диван. Кто-то заплакал. За ним заплакали другіе. Вошел англійскій посол, тоже замер на поро-гѣ, затѣм приложил платок к глазам.

Растерянный фельдшер Коган прижал артерію на лѣвом бедрѣ царя. Доктор Маркус заглянул в медленно раскрывшійся окровавленный лѣвый глаз умиравшаго и упал на стул. лишившись чувств. Кто-то лил воду на лоб Александра II.

В кабинетѣ появился граф Лорис-Меликов. Он впился глазами в лежавшую на диванѣ окровавленную груду мяса и костей, пошатнулся, сдѣлал нѣсколько не-вѣрных шагов на цыпочках. Безкровное лицо его выражало безпредѣльное отчаянье. Лорис-Меликов тяжело закашлялся, приложил ко рту платок и поспѣшно отошел в дальній угол комнаты. Там, не сводя расширенных глаз с дивана, стояли два мальчика в матросских курточках: великій князь Николай Александрович и принц Петр Ольденбургскій. За дверью послышались быстрые тяжелые шаги. В комнату вбѣжал лейб-медик, знаменитый врач Боткин. Всѣ перед ним разступились. Настала полная тишина, продолжавшаяся минуты три.

— Есть ли надежда?

Боткин отрицательно покачал головой в отвѣт на вопрос наслѣдника.

— Никакой, ваше высочество, — негромко сказал он, подумав, что уже слѣдовало бы сказать «ваше ве-личество».

К вечеру на Дворцовой площади был весь Петер-бург. Штандарт был спущен в 3 часа 35 минут. Зимній дворец был оцѣплен войсками. Подходили все новыя части. Для безпрерывно подъѣзжавших карет был устроен узкій проѣзд в цѣпи.

Профессор Муравьев находился на площади уже больше получаса. Он чувствовал себя очень плохо, ра-стерянно смотрѣл на сосѣдей, растерянно их слушал. В толпѣ не было замѣтно ни горя, ни радости: было непонятное ему оживленіе. Многіе совершенно не стѣсня-лись в выраженьях, хоть вездѣ могли находиться сыщики.

— Вот когда спохватились, фараоны. Раньше смот-рѣли бы, дурачье этакое! — мрачно сказал простолюдин, показывая на полицейских, которые внимательно всматривались в лица проѣзжавших сквозь цѣпь во дворец. Павел Васильевич разстегнул шубу, втянул мороз-ный воздух и стал медленно пробираться к Милліонной. До него все доносились обрывки разговоров: — «Чита-ли оффиціальное сообщеніе: «Воля Всевышняго совер-шилась!» Это значит была воля Всевышняго, чтобы уби-ли государя! Господи, какіе идіоты!» — «Уже велѣно взять его у газетчиков. У меня полиція чуть не вырвала из рук». « ... Иду я по Невскому, смотрю: летит карета, окруженная сотней казаков, а у них пики наперевѣс. Что такое, думаю: взбѣсились они, что ли? Это был наслѣдник! .. » — «Не наслѣдник, а государь импера-тор! .. — « .. .При мнѣ избили студента и стриженую». — «Так им, извергам и надо!» — «За что же бить ни в чем неповинных людей? Вот так у нас всегда! С этим-то по-койный государь и боролся» ...

«Не знаю, боролся ли он с этим, но студентов и стриженых тоже убивали: вѣшали и разстрѣливали.

Чѣм то было лучше?» — устало спросил себя Муравьев. «Мои дѣвочки б ы л и не изверги! .. » — « ... Что-то завтра будет дѣлаться на биржах? Ох, полетит наш го-лубчик-рубль в Парижѣ и Лондонѣ». — «Не полетит ваш голубчик: вѣрно, Государственному банку уже приказано поддержать». — «А чѣм он поддержит? Золота у нас мало». — «Ничего, на нас с вами хватило бы». — « ... А в клубѣ рѣшительно ничего! Я зашел в Сельскохозяйственный, уж очень тоскливо было на душѣ. И представьте, рѣжутся как ни в чем не бывало, я сам с горя подсѣл. — «Быть не может! Неужто клубы не за-крыты?» — «Вѣрно, некому было распорядиться. Теперь есть и болѣе важныя дѣла». — « ... Армяшка потерял го-лову. Сколько раз я говорил, что он доведет Россію до»... «Послушайте, вы бы потише»... « ... Завтра, быть может, сожгут университет!» — «А я думаю, что теперь у нас все будет по новому». — «По новому-то по новому, да по какому?» — «Мнѣ из достовѣрнаго источника извѣстно, что наслѣдник держится самых передовых взглядов». — «Не наслѣдник, а государь император». — « ... Говорят, будет взорван Невскій проспект и еще двѣ улицы». — «Не знаете ли, какія? Я живу на Надеждинской». — «Я теперь как буду проходить мимо какого-нибудь министерства, так сейчас-же на другую сторону». — «Ну, вы извѣстный пессимист и паникер» ... — « ... А все-таки прав был Тютчев: «умом Россію не понять — Аршином общим не измѣрить» ...

«Будь они прокляты, эти глупые самодовольные стихи!» — вдруг со злобой подумал профессор Муравьев. Он был потрясен. Павел Васильевич не мог охватить смысла совершившагося событія. «Послѣдствія для всего міра могут быть неисчислимыя! .. Опыт превращенія Россіи в Англію не удался ... Не первый опыт, но послѣдній» ...

М. Алданов

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ *)

(Роман)

6. Полезная деятельность

Работа, которую временно выполнял Боб Кастэр, несмотря на свою простоту, — или именно благодаря этому обстоятельству, — изнуряла его. Надлежало, по спискам, укладывать в пакеты книги, заказанные оптовиками, — связать, наклеить готовый ярлык (не напу-тав) и подать к лифту. Боб служил в Экспедиции боль-шого издательства. Где-то, в кабинетах и будуарах, уче-ные, дельцы или дамы, ощутившие в себе творческий порыв, отщелкивали на машинках свои произведения, расчитанные на 14-тилетних, седеющих, подростков ... В другом заведении книги печатались, в третьем, — их перелистывали скучающие или жаждущие откровения покупатели. Все это не касалось Боба Кастэра. 8 часов в день, он, вместе с другими озабоченными неудачника-ми метался по нудным подвалам, освещенным резкими прожекторами, и выбрасывал наверх тяжелые снаряды, — в большинстве случаев, взрыва не дававшие.

Боб Кастэр родился в Америке. 7-ми лет, — после смерти матери, — отец его увез во Францию: назад Боб вернулся уже после Пэрл Харбор. 30 лет он жил в Европе, слонялся по страшным и неповторимым городам. В Берлине встречался с подростками Рэма, в Париже с художниками и поэтами традиции Аполлинэра. Войну против немцев Боб начал еще в Испании, где его легко ранило в ногу.

Америки он не помнил. Отец, указывая в сторону

*) См. 12-ую книгу «Нового Журнала».

садящегося солнца, иногда говорил ребенку: — Там Америка ...

Багряные поля над зеленым океаном... Это была Америка его детства. Сердце сжималось от сладкой тоски, тянулось в таинственную даль, клянясь когда ни-будь доплыть, вернуться, — домой. Другой Америки он не знал. По дороге, на Бермудских островах, куда их пароход нечаянно завернул, англичане задержали Боба, заподозрив его в шпионаже: не то приняли его за кого то другого, не то прошлое Боба показалось им слишком красочным. С помощью консула, Роберта Кастэра скоро освободили, но работа на заводах обороны отныне была для него, — как неблагонадежного, — совершенно исключена. В армию Боба также не приняли: на меди-цинском осмотре, болтая с дураком психиатром, он в шутку заявил, что спал однажды с мальчиком. Этого было достаточно: очутился за бортом, — а войну эту он ждал и считал справедливой. Из Мичигана, где проживала дальняя родня матери, ему слали теплые, вежливые письма. Боб съездил к ним и нашел людей, —такого примитивного, детского склада, что ему стало невмоготу. Кроме того, они решили его женить. Он выкупался в Lake Michigan: поплыл далеко, чем вызвал небывалое оживление на берегу, — оттуда кричали, свистели, улюлюкали. От дикого шума ему захотелось зарыться головой в воду, уйти навсегда от берегов. Когда Боб выбился из сил, он по обыкновению лег на спину. Но волна в озере была непривычная: резкая, стесненная. То мелкие, мягкие валы, то огромные, злове-щие, холодные, поднимающиеся откуда то из таинст-венных глубин. Боба перевернуло, залило. Захлебнув-шись, ослепленный, он едва не утонул. На следующий вечер уехал в Нью Йорк.

Для многих война была началом новой жизни, рас-цветом в делах, — приключения, чины и высокое жалование. Не для Боба Кастэра. Он исколесил Европу вдоль и поперек, — некоторые страны на велосипеде, —

изъяснялся на десятке главнейших языков, знал окраины и пригороды большинства столиц, всюду имел знакомых и верных друзей. Всего этого недостаточно. Он побывал в десятке учреждений, писал прошения, заполнял анкеты с вопросами вроде: имели ли вы nervous break down, потребляете ли спиртные напитки (всегда, часто, никогда, — надо было подчеркнуть ответ), какой ваш излюбленный hobby. УНРА, ИМКА, Office of War Information, география, филология... Повсюду Боб натыкался на известный ему, ненавистный, тип среднеевропейских люмпен-пролетариев, остервенело защищавших свои шкуры, свои бифштексы, свои ложные представления. Немногие американцы, попадавшиеся ему, смахивали на тяжелых, хорошо воспитанных, детей, — в европейских делах они не разбирались и главная их забота была: сохранить статус кво, шаблонное течение бумаг и не попадаться в просак!

К этому времени, друг Кастэра, швейцарец, затеял художественное издательство и Боб, нуждаясь в деньгах, на заказ состряпал книгу об испанском Ренэссансе. Аванс ему выплатили, но труд так и не вышел в свет. «Ты не понимаешь Америку,—объяснил ему швейцарец. — Американцы любят ... Американцы не любят» ... Всякий раз когда Боб что то замышлял сделать, —от души! —он непременно натыкался на австрийца, ир-ландца, поляка или мексиканца, которые вопили: вы не знаете Америку!.. и тут же пускались в пространные описания характера аборигенов, словно речь шла о та-инственном, полоумном, карликовом племени в недрах тропиков, богатых резиной или золотом. А самих аме-риканцев Боб почти не видал. Куда бы его ни заносило

— Чикаго, Детройт, Бостон, Сан-Франциско, —ему говорили: «Разве это Америка» ... Он ехал дальше, но и Америка отступала, проваливалась, —невозможно ее открыть! Американцы, которых Боб встречал без посредников, были загадочно просты и несколько пресны, однообразны. Совсем не глупы, но вне круга интересов

волновавших Кастэра. Те же, редкие, что рассуждали и жили в понятных категориях, — были не у дел: нищие, без влияния, без работы, без корней.

Вернувшись из своего неудачного путешествия по Калифорнии, Боб нанялся упаковщиком в издательство своего друга: 20 долларов в неделю. Но вскоре они поссорились на почве фрейдизма: Боб считал современную практику психоанализа — жульничеством. Швейцарец, убежденный поклонник Фрейда и Юнга, прогнал его за ереси. Но там Боб научился коммерческому обращению с книгами, узнал необходимые адреса и термины: пере-шел в другую, крупную фирму, уже за 28 долларов в неделю (платный, недельный отпуск в конце года). Ему открылся новый литературный опыт — рабочего. В си-лу этого опыта, «Война и Мир» — зло, ибо тяжело ворочать пакет с 50-тью экземплярами. А Вики Баум всех полов и национальностей — добро (ибо мало весит, не-смотря на свою пухлость). Тогда он познакомился с Сабиной и жизнь его неожиданно обрела новую цен-ность и полноту.

7. Понедельник

Незаметно Боб Кастэр проскользнул в чулан, где рабочие переодевались. Ничего приятного этот день не сулил ему. Он несколько запоздал: в комнате ни души, — только настежь растворенные шкафы с темными пальто и пиджаками. Надев халат, поспешно шмыгнул в свой угол. Против ожидания, никто не обращал внимания на Боба Кастэра. Со времени войны персонал этого консервативного заведения постоянно менялся, приходилось нанимать любой сброд, — ежедневно пополняя тающие кадры (в мирные годы, хозяин, добрый католик, считал предосудительным заставлять инако-верую-щих работать по праздникам, а праздновать святых всех исповеданий он не мог).

Только старый Альфред, принимавший пакеты с тачки на лифт, удивился: «Еще один черномазый чорт»!

Трудились, разумеется с прохладцей. Уборная яв-лялась чем то в роде клуба, где собирались подростки, — они преобладали: — курили, вспоминали приключения последнего week-end'a. Из страха перед взыскующим начальством, производившим ревизии и в уборной, все усаживались на табуреты: дверей у кабинок не было, вероятно из соображений нравственности. Они курили, болтали, делясь наблюдениями и опытом. Опыт был обнаженный, нищий: скелет без мяса, кожи и красок.

В эту субботу, Фред с братом, и еще трое, поехали в Харлем за женщиной. Они подрядили одну черную, за три доллара с носа, — уплатили вперед. Но самый младший, Том, не смог, — как ни старался. Тогда честная негритянка вернула ему три доллара. Почему то заговорили о кастрации. И Аксель рассказал как на Среднем Западе охолащивают быков. Получалось довольно страшно. Аксель, огромный, узкогрудый, жую-щий, мрачный детина (200 фунтов весу):

— Они там без ножа, — объяснял он: — Хватают и дергают вот так ... — и все продолжал наседать и поворачивать руку: неизвестно было когда он остановится. А голос: тихий, безразличный, честно-скучный.

В полдень Боб съел сосиску и по обыкновению пробрался в пустующую контору, — к телефону. Этот аппарат был одним из вернейших свидетелей их романа: проводник счастья и бед, радости и скрежета зубовного (если сообщить людям, что тебе нечего есть, — не оплачена квартира, болят зубы, — любой слушатель отнесется серьезно, окажет внимание, выразит сочувствие. Но попробуй сказать: я влюблен и в отчаяньи ... добиться желанного невозможно ... тупое неведение заливает душу... Всякий снисходительно улыбнется, — детская дурь, — пожмет плечами, расскажет анекдот из своей практики). В городе, где-то на высоте 50-той улицы, Боб Кастэр однажды видел подбитую Летающую

Крепость: ее привезли из Европы и выставили, — для успешной продажи war bonds. Почерневшая от огня, пробуравленная осколками, с отрезанным крылом, кривая, жалкая и величественная в своей агонии, все еще верная памяти покинувшего ее экипажа. Вот об этой Летающей Крепости думал Боб всякий раз, подходя к телефону: кроткий свидетель их страшной любовной борьбы.

Он дал сигнал: прозвонил разок и разъединил,—давая время Сабине привести себя в порядок. Иногда (в удачные дни), она его тут же опережала: не успевал Боб снова начать маневр, как раздавался телефонный звонок конторы, — внезапный и трепещущий (Сабина приходила к нему на службу, разглядывала этот аппа-рат; как то, они позвонили, вместе, к ней на квартиру, долго прислушиваясь, — невольно содрогаясь, — к знакомому, пустому, жестокому звуку: радуясь что удалось обмануть рок, — они тут и не нуждаются в ответе). Порой линия была занята; часто оба проделывали, — навстречу, — ту же манипуляцию и, по черствой, эдисо-новой логике, вызовы не совпадали.

Боб снова позвонил, и вот из трубки, — близко, — она: энергичный, добрый, детский, женский, насмешливый голос.

— Тебе плохо, бобрик? — спросил он с нежностью.

— Знаешь, прибирая, я нашла неоконченное, неотосланное письмо к тебе. Стало так грустно...

— Прочти пожалуйста.

После паузы: «Дорогой мой, единственный! Очень хочется писать тебе, а не о чем писать. Ведь все ясно. Писать о кинематографе, о платье, о друзьях, — все на одну тему получается. Важная тема, хорошая тема, новая тема и глупая. Вот еще одна ночь и мы встретимся. А где? Сиротки мы, пойдем в парк, где крысы (крыса имеет семью, — твои слова). Как хорошо лежать вдвоем под теплым одеялом, а снаружи, — дождь. Но это уже для гурманов. Целую тебя Бобик, вот закрой

глаза и по всей белой странице, вот тааак, целую тебя».

Крепясь сказал: —Видишь, ты была влюблена, а мы не верили.

— Как на работе, неприятности?

— Нет, здесь никто никого не замечает. Что там, к чорту, — отмахнулся он: — Бобрик, нужный, ласковый, с хвостиком.

Она засопела носом, сморкаясь и всхлипывая:

— Что мне делать? Ты теперь такой славный, лучше чем раньше. Я хочу тебя любить и не могу. Нет праздника. Помоги нам. Ты все знаешь. Я хочу любить. Преж-де я сопротивлялась, не верила и любила. Теперь я го-това и чувствую: остатки любви уходят, нет праздника, сияния больше нет! Я страшусь скуки и старой своей жизни без сияния. Я так была счастлива: даже страда-ниями и ссорами. Не желаю терять это, — и снова она сопела тепло в трубку. — Пойми, я не в силах тебя лю-бить как хочется. Теперь не время об этом говорить, но я не должна тебя жалеть: тогда конец. Ты должен найти что нибудь. Ты умный, посоветуй. Болезнь эпи-зод, но ты изменился и давно уже! Помоги ... — умо-ляюще повторяла Сабина.

— Хорошо, подумаем, будет сделано, — с фальши-вой готовностью приговаривал Боб Кастэр: взять бы немедленно за горло осязаемого, конкретного врага! Так бывало, после предательского, грубого удара в спи-ну, он вставал и слепо бросался навстречу, уверенный: его могут убить, но не одолеть. — Это надо обсудить и мы все устроим, — нелепо обещал он.

Сабина все понимала, но ничего не могла выдавить из себя... Только:

— Какие у тебя планы на сегодня? Ночуешь у меня?

— Нет. Слишком много хлопот. Поищу комнату.

— Тебе виднее. Доктор согласен тебя принять толь-ко в среду.

— Я решил итти к другому врачу, — сочинил Боб,

не желая пользоваться ее услугами: — Уже нашел специалиста.

О, как она его знала. Ребенка и мудреца. Самоотверженного в крупном и смешного тирана в мелочах. В сущности, Сабине это нравилось: он часто ее раздражал, злил, даже возмущал, но стоило ему уступить, — превращаясь в кроткого, ручного волка, — как она пугалась, сразу теряла интерес. Будто, главная ее цель заключалась в том, чтобы отдаться ему, быть съеденной на манер барашка, а потом, изнутри, подточить, переродить, переварить его, волка.

— Надо кончать, идут люди, — сказал Боб. — Во всяком случае, знай: я восстановлю свой первоначальный облик!

— Ах, я устала, я ужасно устала.

— До свидания.

Боб Кастэр сердито щелкнул рычагом. Подождал еще мгновение, на всякий случай: вдруг, она, — ответной волной, — сразу позвонит, как бывало. Вышел. Хочется, хочется жить, но как... Он видит солнце и не видит. Обращаются к нему и не к нему. Он — он, и не совсем — он. «Конечно Сабина права, я вообще изменился, сдал, разжирел, отрыжка и этот комок в горле и другие девочки, часто, часто, — соблазнительны».

До начала работы оставалось еще немного времени, при желании Боб мог успеть обзавестись комнатой, не рискуя слишком опоздать. Добравшись автобусом к Lexington Avenue, он зашел в первый попавшийся дом с вывеской: Single, Rooms. Там ему сказали: — все занято ... То же самое в следующем доме и в третьем. Боб Кастэр ходил бы еще так долго, — сжав зубы и кулаки, — если-б один хамоватый и доброжелательный Superintendent, неопределенной национальности, не сжалился над ним:

— Поднимитесь выше, к 110-ой улице. Там сдают неграм. Здесь вы не найдете.

«Гады, гады, — с отвращением, точно вступив в не-

чистоты, шептал Боб. И неожиданно: — Схожу к адвокату. Уже, без промедления».

Во время первого периода своей американской жизни, еще пытаясь зачислиться на государственную службу, Боб как то обратил внимание на объявление в газете одной конторы по юридическим делам: оно было составлено так, что напоминало рекламы врачей, исцеляющих по переписке, таинственными средствами, от стыдных болезней. Кастэр тогда записал этот адрес, но у ходатая не удосужился побывать. Повинуясь внезапному чувству, он тут же кликнул такси и помчался на West 42-ую улицу.

8. «Лиф, Либ и Лид».

Лифтом, одним рывком, его подбросило до 32-го этажа; затем пошли угрюмые, частые остановки: озабоченные люди наседали, толкались, выскакивали; от их мокрых пальто валил пар; раздавался заунывный возглас: «Watch your step... going up»... Лифт-бой, седой, бритый джентельмэн, видимо только что научился маневрировать рычагом. Боб делал бы это гораздо ловче. Визитная карточка: Роберт Кастэр, работник вертикального транспорта.

На 44-м этаже, в узенькой клетушке, его принял добрый, лысый и жуликоватый господин. Выслушав первые, отрывистые фразы Боба, он восторженно всплеснул руками; порывшись в металлической пепель-нице, выбрал огрызок сигары побольше и, закурив, сказал, взвешивая каждое слово:

— Жалоба мне кажется такого характера что, стоит внимания и остальных компаньонов! — он нырнул в низенькую, фанерную дверь; через мгновение вернулся и пригласил Боба пройти в следующую комнату.

Они очутились в поместительном, вполне приличном кабинете, обставленном дорогой и удобной мебелью. Мистер Лиф, высокий, благообразный патриарх,

встал и ласково, ободряюще похлопал Боба по плечу (как знаменитый хирург, — когда другие уже отказались оперировать).

— Расскажите подробно в чем претензия, — попросил он.

И Боб Кастэр снова начал ... Он сам удивлялся, как мало, в сущности, мог сообщить: в пяти фразах исчерпывалось все. Несколько раз подчеркнул, что имеет свидетелей, кроме того, сослался на сокровенное место, оставшееся белым. Адвокаты пожелали лично убедить-ся: склонив благоухающие лысины, внимательно его освидетельствовали, — патриарх даже потрогал пальцем:

— Позови-ка ... — он назвал несколько имен.

Молодой выбежал и через минуту кабинет наполнился народом: собралось человек пять или шесть, доб-рожелательных, мудрых, жуликоватых (все с любопытством принялись изучать светлый пятачек на теле Боба).

— Вам повезло, вы нашли подходящих людей, — задумчиво начал патриарх, старательно вгоняя папиросу в мундштук: — Мы займемся вашим казусом. Ясно, вы теперь в ложном положении. Доктора докторами, но в первую очередь вам нужен нотариальный акт, под-тверждающий ваше происхождение. На основании это-го акта можно будет ходатайствовать о формальном удостоверении — что вы белый несмотря на видимость! Дело вероятно покатится в Верховный Суд. Такого свидетельства мы скоро не добьемся, но зато и черным, юридически, вас нельзя будет считать.

Они достали из большого шкапа несколько книг разных форматов: там были тома in folio, заполненные, казалось, от руки, таинственными каракулями. Заглядывая через плечо, перебивая друг друга и споря, они занялись чтением текстов, — на многих языках.

— What's the matter? — возвысил голос опять старик: — В чем дело, не было прецедентов? Но только осел

может предположить, что все прецеденты известны нам. Что случилось с нашим клиентом? У него потемнели не волосы, а кожа. Боже мой, велика важность: банальный жизненный процесс в нем действовал скорее и с большей силою. Вот и все. С вами, Роберт Кастэр, произошел известный анекдот: вы потеряли свой первозданный образ. Значит ли это что надо примириться? Во имя Бога. Обязанность каждаго человека на этой земле: быть самим собою. Тогда не будет людей — скотов, людей — гадов, людей — мертвецов. Задача цивилизованного общества помогать личности быть тем, чем она есть в действительности. Ученый должен быть ученым, купец по призванию — купцом, а белый — белым, не смотря на козни сатаны! Большинство страданий от того, что люди не стоят на своих местах. Пустите кенгуру на лучшее пастбище, но если это не ее корм, она околеет. Посадите грешника в рай и его разорвет на части: ему легче в аду. Мистер Кастэр страдает и мы должны ему помочь!

Так говорил патриарх, прерываемый ожесточенными возгласами своих коллег. Осилив их в споре, старик расчувствовался и, достав из ящика стола истрепанную книженку, умиленно улыбаясь, протянул ее Бобу. Оказалось, что это военный паспорт его отца, Наума Лифа, бывшего солдата русского царя Николая I и выслужившего пенсию в размере 3 рублей в год.

— Да, — недоумевающе повертел Боб документ, не совсем понимая к чему это, не в силах проникнуться в настоящую минуту интересом к чужой жизни.

— Вы чудесный парень, — похвалил его патриарх и торопливо зашептал: — Будем действовать осторожно и без излишнего шума, по всем известным причинам. Спокойно, спокойно: я пятьдесят лет жду вас. Все будет сделано. Только вы должны вести себя с мудрой осторожностью. Главное, тщательно относитесь к тому, извините меня, месту, которое по сей день сохранило девственную окраску! Я заметил, что вы не обрезаны.

Теперь в Америке всех обрезают. При этом климате вы рискуете загрязнить, получить инфекцию, воспаление, тогда пропадет последний след. Доктор Бомэ, голубчик, сейчас произведет над вами нужную операцию, сущий пустяк. Вы ничего не почувствуете. Перевязка на три дня и — забыто.

Не успел Боб хорошенько сообразить, о чем речь, как двое господ его схватили и бесцеремонно, но умело начали разоблачать, а один джентельмэн, в очках и с южно-американскими усиками, уже надел белоснежный халат, позвякивая блестящими щипцами.

— Что такое! — догадался наконец Кастэр: — Ре-шительно отказываюсь! — опять эта его ненавистная фраза: через всю жизнь она торчит занозой, рождаемая дурной отвагой и злой честностью. — Не вижу надобности! — оттолкнув наседавших дельцов, Боб возмущенно встал. — Мне противно спорить. Я всегда мечтал попасть в такое место, где без лицемерия и слабости можно сказать окружению: да! Но очевидно время еще не наступило.

— Это conditio sine qua non! — заорал патриарх и лицо его стало желтым и злым. — Желай после этого добра людям!

— И вы полагали, что я так легко уступлю: соблазнюсь первым обещанием успеха! — Боб рассмеялся.

— Пусть этот интриган уйдет, — крикнул старик. —Это опасный субъект. Проклятие Сынов Гигиены на его голову. Чума чтобы выела не только его шкуру, но и середку! — заслонив глаза ладонями, он горестно раскачиваясь стонал: — Ох-ох-ох, куда мы идем, ох-ох-ох!

—Видите, вы огорчили патрона, —угрожающе заметил Бомэ, размахивая щипцами.

—Если-б вы только догадывались, каких патронов я уже огорчал, —весело откликнулся Кастэр.

—Безумец, вы только о себе думаете, —убеждал молодой, с неизменной полусигарой во рту. —Победа без компромисса ...

Бесполезно, удалить его, — прервал старик.

Несколько человек дружно навалилось на Боба: подняли, поволокли к дверям.

Лифт сбросил его, помятого, на 42-ую улицу. Оживление, вызванное борьбой, вскоре улетучилось. Темнело. Зимние сумерки. Синие кровоподтеки: туман и стужа. Ветер: морской, — со всех, четырех, сторон. На службу опоздал. Толпы людей валили из контор: жадно набрасывались на витрины больших магазинов, на афиши театров, — стремясь урвать лишний кусок у жизни.

У Rockefeller Plaza толпились зеваки: по какому то поводу подняли флаги союзных наций. Играл оркестр и отряд моряков картинно застыл, салютуя. Боб застрял: дальше итти нельзя было. Спереди его стояла женщина в мехах и перьях. По старой привычке, Боб обратился к ней с игривой шуткой. Дама, улыбаясь, оглянулась и вдруг испуганно отпрянула. Кое кто, рядом, удивленно зароптал. «Я негр. Мне нелья быть обезьяной», — догадался он. Кровь горячо и возмущенно шарахнулась. Опасливо выбрался назад, пересек улицу не озираясь. «Комнату, искать комнату, — вспомнил: без сил, без воли. — Если-б ты меня не оставила! — к Сабине: — Бог бы меня тоже не бросил. Каким я был хорошим в нашей любви. Помнишь... Острая боль. Праздник горя. Я готов к нему. Но как жить в этом: я совсем не приспособлен. Любовь моя, я все таки попробую еще держаться».

Сумерки. Стужа. Чернокожий, спотыкаясь, бредет по Манхэттену, что-то бормочет себе под нос.

9. Темный спутник

Боб Кастэр медленно брел вверх по Lexington Ave-nue. Сзади, совсем близко, за ним следовал прилично одетый негр с праздничной сединой в висках. Боба всегда раздражали эти случайные спутники, от которых трудно отделаться (особенно ночью, когда шаги

слышны издалека). Он зашагал быстрее. Но тот не отставал: через минуту очутился почти рядом. Боб свирепо оскалил зубы, а негр вежливо приподняв шляпу, сказал:

— Меня зовут Артур Фрезер, — и кивнул головой в подтверждение своих слов.

Бывало, в Европе, Боб так любил эти уличные, случайные знакомства: никогда нельзя с уверенностью решить, отставной ли это министр, сын президента, второй Пикассо, Артур Рэмбо или сутенер, убийца. Однажды, ночью, в Париже, молодой неудачник, раненный ножем в живот, по дороге в госпиталь Тенон, заявил Бобу: «Мы с тобой еще встретимся в будущей жизни».

— Отстаньте от меня, — брезгливо отозвался Кастэр.

— Я хотел с вами поговорить об одном деле, — кротко объяснил Артур Фрезер.

— Я не думаю чтобы у нас были общие дела. К тому же, я спешу.

Но тот не смущаясь продолжал:

— Вы Роберт Кастэр! — голос у негра был жидкий, старческий и он откашлялся, точно сам чувствуя ничтожность издаваемых звуков.

— Что вам угодно! — вскричал Боб, останавливаясь и удивленно разглядывая надоедливого собеседника: — Я хочу быть один, слышите!

— Я вам помогу, — прошептал негр и вдруг подмигнул.

— Я вас не понимаю, милостивый государь, — растерянно пролепетал Боб. — Говорите скорее: вы денег просите? — он снова устремился вперед, кутаясь в пальто: не хватало пуговицы.

— Четыре года тому назад, — рассказывал Артур Фрезер, семеня, то справа, то слева от убегающего Кастэра... — Я был белым, как все белые. Вы читали в романах, что седеют за одну ночь? Вот так я почернел! Впрочем, вы это знаете не хуже меня, к сожалению,

сэр... Я, можно сказать, был в отчаяньи, помышлял о самоубийстве, пьянствовал, посещал психиатров. Но судьба сжалилась надо мною: ко мне пристал, таким же назойливым образом Джэк Ауэр. Нам сюда, — заметил Фрезер и взяв Боба за локоть решительно повернул в сторону 3-го Авеню. — Есть союзы слепых или глухонемых, безногих, старых дев, страдающих от грудной жабы, ревматиков: совместно приятнее бороться за лучшие условия, искать утешения, наконец осмысливать горе. Ибо наша болезнь нуждается в интерпретации. Боб Кастэр, — торжественно заявил черный собеседник: — Вам надлежит стать членом «Союза родившихся белыми». Это пока еще полулегальная организация, благодаря печальному ряду тонких обстоятельств. Но ведь все Юнионы по началу вызывали недоверие, только постепенно завоевывая признание. Наша слабость в крайней малочисленности. До сих пор удалось зарегистрировать 7 случаев подобных вашему и моему. Причем один из них: негр, обернувшийся белым... что, в общем, требует отдельной секции. Семь. Это все. Немыслимо рассчитывать пока на сочувствие широких масс. Даже подлинные негры и те нам враждебны. Но в единении сила.

Боб Кастэр так был потрясен первыми же словами Фрезера, что уже не слушал дальнейших его разглагольствований.

— Я не один. Я не первый, — повторял он, раньше про себя, потом вслух, и лицо его расплывалось в глупую, блаженную маску. Седой негр смотрел на него, печально улыбался и сочувственно кивал головою. Затем, достав большой, цветной платок, усердно, с облегчением, высморкался.

10. Катакомбы

Они остановились на углу одной из параллельных улиц, у маленькой цирюльни с вращающимся полосатым столбиком. Через освещенное окно виднелось уз-

кое, длинное помещение, вероятно переделанное из коридора: хозяин или подмастерье дремал в кресле, укрывшись салфеткой.

— Сюда, — сказал Фрезер и отворил низенькую, давно некрашенную, входную дверь.

Тотчас же, будто его дернуло электрическим током, мастер в кителе прянул с кресла и ласково улыбаясь поспешил навстречу посетителям.

— Не беспокойтесь, Сам, — со скромным достоинством произнес Фрезер. — Мы тихие друзья, — и, подталкивая, провел Боба к дверям в другом конце мастерской.

Они попали в темную переднюю, спустились по каменной и неровной лестнице; потом пересекли открытый квадратный дворик (здесь Боб Кастэр заметил: уже вечер); прошли цепь подвальных комнат с цементным полом, где висели котлы, шеренги электрических счетчиков и другие аппараты. Плутая по темному извилистому корридору, они вдруг очутились в большой, двуярусной, резко освещенной зале. Ряды деревянных скамеек окружали, — в центре, — монументальный, покрытый темным сукном, стол. Человек пять или шесть терялись в этом огромном амфитеатре. Лица у них были темные, сонные, движения и голоса тихие (только у одного, вместо лица, мерцала болезненно бледная маска, обрамленная курчавыми, пепельными завитушками). На краешке стола, маленькая женщина, с пышной гладкой косой, и гигант, атлетических форм (как потом выяснилось, — председатель, Джэк Ауэр), играли в шашки.

Неясный гул одобрения встретил вновь пришедших; тени зашевелились, приподнялись, пересели ближе к столу. Атлетического сложения, бритый, морщинистый, Ауэр встал и звякнул колокольчиком:

— Друзья и сотрудники, — начал он. — Рекомендую общему вниманию новую жертву социально-космических конфликтов: Роберта Кастэра. Анекдот с ним приключился в ночь на это воскресенье. А сегодня ува-

жаемый джентльмэн уже здесь: судите о качестве работы нашей администрации. Должен воздать крайнее секретарю Карлу В. Мостицкому, к сожалению отсутствующему, а также похвалить проницательность, такт и сноровку Артура Фрезера. Предлагаю произвести сбор в пользу потерпевшего, — с этими словами он взял чью-то помятую шляпу, швырнул в нее банкнот и передал соседу по кругу.

Присутствующие, поочередно, совали туда разной ценности ассигнации, — пока шляпа не попала в руки Боба.

— Это для вас, — пояснил председатель и заставил Кастэра пересчитать содержимое. — 25 долларов! Друзья, представьте себе, нас не семь, а сто или тысяча. Понятно? Фред Нельсон, пожалуйста по уставу! — Джэк Ауэр снова звякнул колокольчиком.

Нельсон оказался толстым, тучным астматиком. Он встал, гулко ударил себя по груди и в тон звуку, тяжело, заговорил:

— Сообщу по порядку. Я белый. Родился даже блондином. Я был счастлив. Работал на конфектной фабрике; женившись на дочке хозяина, стал его компаньоном, а после смерти тестя — единственным владельцем предприятия! Наши сласти пользовались заслуженной репутацией в итальянском квартале. Раз, вечером, очень усталый, я вышел от крупного клиента, где то на Ист-Сайд. Место было глухое, моросил дождь, такси не попадалось и я порядочно вымок. Несколько автобусов промчалось вверх и вниз по Авеню; я не знал эту линию, но решил сесть в любую машину: проехать несколько кварталов, до первого собвея. Я так и поступил и, бросив монету, занял свободное место. Автобус, — коричневого цвета, — был плохо освещен, немногочисленные пассажиры угрюмо молчали, а лицо шоффера мне показалось знакомым.

«Куда идет этот автобус»? — спросил я. Но шоффер не услышал или не пожелал ответить. Только бли-

жайшие спутники удивленно оглянулись. Вскоре я позвонил, считая более разумным слезть. Но машина все мчалась, шлепая шинами по грязной мостовой: за окном осенняя ночь, ливень и совершенно незнакомые улицы. Вдруг мы въехали на какой-то покатый, железный мост, существование которого я не подозревал в этой части города. «Я хочу сойти», — сказал я, как можно спокойнее: «Я уже приехал».

«Господин сел в автобус не зная его курса», — произнес кто-то сзади меня: я не понял, с упреком или в оправдание.

«Затормозите немедленно», — крикнул я, подбегая к шоферу. А тот, словно глухой, немой (мелькнуло: не спятил ли съума), продолжал бешенно гнать свое чудовище в темноту... Тогда, за спиной, из дальнего края, раздался голос человека, которого я не мог разглядеть: «Спустите этого суслика»... и мотор, сразу замедлив, стал. Не зевая, я выпрыгнул и побежал прочь. Оказалось: совсем близко, за углом, станция подземки. Минут через 40 я очутился уже дома. К жене наведались знакомые, мы играли в gin rummy и я собрал 18 долларов. Лег спать в очень хорошем настроении. А на утро проснулся — негром. Сначала было ужасно. Все пошло прахом, семья расстроилась, дело забрали. Но теперь мне легче. Я привык и обрел друзей...

Фред Нельсон почтительно поклонился и хотел сесть.

— Предъявите отличительный знак, — строго напомнил председатель.

Толстяк покорно растегнул рубашку и обнажил правое плечо: там выделялось пятно, — величиной с апельсин, — белого, нежного цвета, окруженное жаркой, звериной чернотой.

— Герард Ферри, — возгласил председатель Ауэр.

— Я негр, родом из Иллиноис, — сообщил, осклабясь, болезненно бледный, курчавый господин: — По образованию я юрист. Защищал бедных и угнетенных,

писал в наших газетах и был кажется счастлив. В связи с одной интересной тяжбой мне пришлось смотаться в Нью Йорк; предполагал управиться в несколько часов, но пришлось застрять на week end В субботу вечером, помню, летом 1940 г., я гулял по центру города, любуясь его достопримечательностями. Незаметно добрался до Madison Square. Толпы любопытных стекались со всех сторон к этому безобразному зданию. На стенах висели бесчисленные афиши: но по ним трудно было догадаться о программе вечера... Они рекламировали многие труппы и разные выступления на месяц вперед. К тому же я слегка близорук и очков не ношу. У открытых касс вытянулись длинные хвосты: рвали из рук билеты на все эти представления. Медленно я пробирался дальше и дальше, словно зачарованный. Пришел к месту где дежурили контролеры. Я ждал: сейчас меня окликнут... тогда я спрошу, что именно дают сегодня и где можно приобрести билет. Но меня не остановили. Незаметно для себя я очутился внутри многоярусного бесконечного амфитеатра, заполненного нарядной публикой: неловко и боязно. Распорядители с желтыми повязками метались меж скамьями, рассаживая, густо заполняющую все проходы, толпу. Боязно: кто нибудь спросит, а я не сумею толком объяснить как сюда попал. То, что для белого простая оплошность, для негра уже преступление. В глубине, на площадке, был выставлен полный набор инструментов большого оркестра; группы подростков, очевидно хор, выстраивались у возвышения. Горели огни, отовсюду свисали флаги, на транспарантах чернели замысловатые надписи, выведенные старинной готикой. А понять в чем суть нельзя. Осторожно, никого не толкая, я шел вперед, повернул раза два, поднялся куда-то по лестнице, там нашел ряд пустующих стульев и уселся. Мне было приятно, удобно и все таки боязно: негр-интеллигент обязан проявлять сугубую бдительность. Места вокруг быстро заполнялись. Публика валила и валила, ища свободного кресла.

И вдруг я поднялся, стремительно побежал назад: через минуту достиг уже рубежа, где стоял контроль, благополучно его миновал. «Вероятно это какое то скучное, религиозное собрание», — успокоил я себя. В театре Capitol давали фильм на военную тему, кроме того, модный тенор пел, три девицы бегали на руках, двое белых отбивали ногами трещотку так, что любой негр бы позавидовал. Я поужинал в Sea Food, выпил пива и улегся в своем номере один. А под утро проснулся вот таким, светлым. Сперва даже обрадовался: ведь жизнь негра не сладкая. Но скоро обнаружилось: я потерял все... Место, семью, цель, путь. Даже мироощущение изменилось: я потерял себя. Слишком поздно начать все сызнова... Только раз в неделю, здесь, мне удается еще быть самим собою.

Нагнувшись, Герард Ферри снял свой башмак и носок: нога его оказалась черной, с типичным, фиолетовым переливом у ногтей, — хорошая, мускулистая нога негра.

11. Собрание продолжается

Магда Мэй! — объявил председатель.

Поднялась худенькая, темная, миловидная женщина с толстыми, синеватыми, круто стянутыми косами. Неуверенно озираясь, она произнесла шопотом:

— Я не помню обстоятельств вызвавших мое преображение.

— Магда Мэй, — строго окликнул ее Джэк Ауэр: — Безобразие. Уже во второй раз вы срываете нормальное течение протокола.

— Но г-н председатель, — она выразительно прижала руки к груди. — Это не капризы, я стараюсь вспомнить и не могу.

Председатель что-то пробормотал. Негр, превратившийся в белого, кубарем выкатился из залы. Наступила минута напряженного молчания. Даже Боб Кастэр не

мог отделаться от какого то досадного чувства. Желая это скрыть, он игриво улыбнулся хрупкой женщине. Но вот послышались шаги и в комнату вошли двое: Герард Фэрри и парикмахер в белом кителе.

— Мистер Вайс, — сказал председатель заискивающе улыбаясь. — Соблаговолите напомнить этой даме некоторые известные вам факты.

— В последнюю субботу ноября 1943 года, — отвернувшись, неохотно, начал мастер, — ко мне в заведение пришла дама с двухлетним мальчиком: первая стрижка. Я предпочитаю любую работу этой возне с маленькими грызунами. У дамы были удивительно пышные, красивые косы. Вот почему я вообще обратил на нее внимание. По субботам у меня работают подмастерья, клиентов много. Кому шампунь, кому электрический массаж или ультра фиолетовую лампу: шипение, пар, щелкание ножниц. Я люблю субботу г-н председатель.

— К делу, — отмахнулся Джэк Ауэр.

— Извините, — спохватился цирюльник. — Хотя заметьте себе: я не обязан принимать участие в ваших собраниях. Итак я занялся маленьким клиентом. Если вам кажется, что ребенка легко стричь, то вы глубоко ошибаетесь... Ребенка очень трудно добросовестно постричь: он не сидит спокойно. А первая стрижка это в некотором роде посвящение, конфирмация, надо сработать честно! Как я и ожидал, сопляк сразу начал вертеться и пищать. Лампы, моторы, бритвы, ножницы над самых ухом, напугали его. Должен засвидетельствовать, страх его объял воистину необычайный: он захлебнулся от крика, распух и посинел. Я взглянул на эту лэди, ибо это она привела тогда своего сына... Она застыла, стиснув зубы, страдая, готовая заплакать, борясь с желанием: схватить мальчика, освободить из моих тисков и унести... но почему то не решаясь это сделать. Люди думают: пустяки, обыкновенная стрижка. Нет, не бывает обыкновенных стрижек: особенно первая! Через не-

сколько минут все было кончено. Мальчик ушел: худенький, грустный, словно вырос на десять лет. А потом я ее встретил уже здесь, внизу.

— Отлично, вы свободны. Магда Мэй, — сказал председатель: — Вы припоминаете только что приведенный эпизод?

— Да, — ответила та беспомощно: — Только я не постигаю: какая связь.

— Это случилось в ту субботу?

— Кажется.

— Что вы испытывали когда стояли в парикмахерской?

— Он вопил, словно его режут, ведут на заклание, предают... и вдруг посмотрел на меня. Обыкновенно его глаза полны надежды, веры, покоя: он знает, я всесильна и люблю его. А тут он наконец понял: я не могу или не хочу спасти его... и примирился. Земная, смертная, покорная тень легла на его лицо. Я почему то подумала: «Если есть Бог, Он должен его сейчас слышать». Потом мы ушли и он относился ко мне по новому: критически и как то покровительственно.

— Советую больше не забывать этого происшествия, — строго попросил Ауэр. — И в ту же ночь вы переменили цвет?

— Да.

— Покажите отличительный знак.

— Но г-н председатель...

— Вам известен устав?

Не возражая больше, она медленно растегнула кофту, еще что-то, и взорам собравшихся предстала ослепительной белизны грудь с длинным, розоватым, нежным соском.

— Жорж Одойл, — возвестил председатель.

Одойл оказался чахлым существом, невзрачной наружности и неопределенного возраста: между 38 и 50 годами.

— Я возвращался домой собвеем: 7-ое Авеню. Вы

знаете эти часы после работы: поезда набиты до отказа, не шевельнуться, не передохнуть. На Times Square, вместе с табуном серых мужчин и несколько более нарядных женщин, в вагон протиснулась девушка: то самое, о чем я мечтал всю жизнь. Темная, со светлыми глазами, сочетающая в своем лице, в полнокровных губах, свежесть, целомудрие и полуосознанную жажду чувственного рая. Мы оба держались за поручни, что в центре: моя рука возле ее, обтянутой в тесную, белую перчатку. Мне чудилось: слышу треск электрических искр, выделяемых нашей кожей, насыщенной до отказа энергией с разными знаками. Сердце стучало упоенно: «Она, не она, она, не она»!.. Украдкой ею любовался. Она не смотрела мне в глаза, только иногда поводила головою, будто гладила взглядом мой лоб и волосы. «Она, моя судьба, — решал я: — Держись, не упусти счастье»... А поезд уносило из под ног, лампы мигали; напряженные, сдавленные, мы летели под землю, в ночь, в небытие. На 96 улице мне следовало пересесть на Bronx, но я остался. Между тем, кругом, толпа начала редеть, опростались места. Она устроилась в одном углу, я в другом, насупротив. Пробовал на нее глядеть. Вначале близость наша, эфирная, все еще продолжалась, но постепенно дурман улетучивался, падал, словно уровень воды, когда образуется течь. Мне даже померещилось: она ерзает, отстраняется от моего назойливого взгляда. На 168 улице девушка вышла: мы поднялись наверх в том же лифте. Она бойко застучала каблучками в сторону Medical Centre. Я не отставал. «Сейчас или никогда, никогда или сейчас», — шептал я, страшась ее подчеркнутого неприступного вида. Нагнал: удивленно, высокомерно приподняла бровь. Я струсил и пропустил удобное мгновение. «В конце концов не свет клином сошелся, — по обыкновению успокаивал себя. — Завтра могу встретить даже получше. Кстати, я не брит и денег мало, последние числа месяца»... А сердце бешенно стучало. Замедлил шаги: вот она, род-

ная, за плечом... Но тут она гневно рванулась ко мне, хотела что-то сказать, но передумала и торопливо перебежала на противоположный тротуар. Я сдался, отдуваясь, как человек который чудом спасся от смертельной опасности, повернул назад к собвею. А на утро проснулся черным.

— Отличительный знак?

Жорж Одойл неловко засучил одну штанину и показал присутствующим свое колено: там зиял белый, ровный, ослепительный кружок, величиной с персик.

— Садитесь, — ласково сказал Джэк Ауэр. — Теперь мой черед! — и перегнувшись через стол к Бобу Кастэру неожиданно быстро и страстно заговорил, не обращая внимания на остальных членов Союза:

— Мне было 26 лет. Я кончил Princeton и имел возможность попасть в фирму «Братья Лурье». Но душа не лежала к страховым полисам. Я отдался любимому занятию: измышлял положение, в котором желал бы или мог бы очутиться... а затем, логически развивая события во времени, следил куда это заводит моего воображаемого героя. Иначе выражаясь, я занялся литературой. Я писал с большим напряжением и очень мало. А то, что удавалось закончить, не находило сбыта на рынке. Но несколько близких мне по духу друзей ценили мой труд и находили его осмысленным. Впрочем, раза два, в шутку, я словчился сфабриковать по рассказику, «как все»: с девушкой и сексуальной слезой, в бесцельных диалогах... «Да, — сказала она и повела плечами. — Нет, — ответил он, закуривая трубку»... То что наши редакторы называют human: почти на пороге птичьего двора. Эти рассказы охотно купил модный журнал с большим тиражем: за трехдневную работу мне предложили куш, равный 6-ти месячному окладу опытного грузчика или честной машинистки. Четвертый год уже я писал большую вещь, не то роман, не то поэма: там скрещивались все известные мне противоречия нашей цивилизации и указывались возможные пути их

примирения. Я отнес эту почти завершенную книгу знакомому издателю. Отдав должное моим талантам (во множественном числе), он затем откровенно сознался, что не одобряет моего замысла: вряд ли я найду охотника на такой товар. И во всяком случае, успеха произведение иметь не будет. По его мнению, книгу следует разбить на два отдельных романа: немного укоротить, кое что добавить и главное ввести обыкновенную любовную интригу. Возмущенный я отказался. Приближалось Рождество. Европа безумствовала. А Нью Йорк готовился с честью встретить этот полухристианский праздник. Благодаря войне у всех появились лишние деньги. В магазинах нельзя было протолкаться. Рвали из рук все, что можно зажать в пальцах, ощупать, взвесить, укусить, поднять, унести. Даже на духовные ценности поднялся спрос: очереди выстраивались у кинематографов и церквей... «Песня Бернадетты» Верфеля бойко продавалась. У меня не было денег. Чудом я уплатил за квартиру, но телефон, газ, электричество... Я боялся отдать белье в стирку: прачешная у самого моего дома, когда прохожу мимо, старая еврейка высовывается в окно, орет — «Мистер, готово»... Я уже 6 недель не стригся: да, да, 70 центов. Голодать в точном смысле не случалось: в Манхэттэне кажется не голодают. Но ежедневно две пачки папирос... это не по карману. Вы знаете что такое праздник для тех, кто не может принять в нем участие... Они чувствуют себя всеми покинутыми, преданными, проклятыми. Обросший, грязный, без подарка, вы не можете поехать к друзьям, даже если они искренне приглашают вас. Я слонялся по городу без цели, на разные лады перебирая все то же: надоело, возмутительно, я имею такое же право, как и остальные, или даже большее. Одеться, есть индюшку с каштанами, пить вино, обнять девушку. И тогда я соблазнился: в тоталитарных государствах казнят, в свободных подкупают... Стоит вырвать с мясом 3-ью и 5-ую части, отрезать вот эти и те главы, кое что добавить,

ввести невоздержанную бабенку, и у меня будет социальное положение, имя, средства, женщина. «Они толкают меня, пусть»... Я позвонил издателю, мы встретились и я тут же получил аванс. В праздник по Бродвею еще один джентельмэн в чистой рубашке и темном костюме, напомаженный, вел под руку хохочущую, милую барышню. А на утро я проснулся черным: будто вся кровь моя перегорела, а тело обуглилось. Потом я встретил Фрезера и мы вместе заложили основание этого союза. А вот мой отличительный знак...

Председатель поднял прядь длинных волос и обнажил свое ухо: оно было перламутрового, болезненно белого цвета. Звякнув колокольчиком, Джэк Ауэр продолжал уже другим, официальным тоном:

— По нашему закону, Артур Фрезер, с которым вы пришли сюда, не должен выступать сегодня. Что же касается Генерального Секретаря Мостицкого, то семейная драма помешала ему принять участие. Посему, — любезно осклабясь в сторону Боба: — Дорогой друг, хотите присоединиться к нам? Присягнуть уставу? Иметь те же преимущества и нести те же обязанности?

12. За и против

— Это замечательно, — начал Боб Кастэр в свою очередь вставая: — Господа, должен сознаться, это превосходит все мои мечты. Ну конечно, мы будем вместе бороться. Друзья, из ваших свидетельств явствует одно... Как только мы изменяли собственной сущности: своему заданию на этой земле, что ли... так сразу сгорали, теряли облик, цвет. Господа, мы наказаны потому, что не послушались внутреннего голоса, когда Дух говорил и толкал нас на дело, ради которого быть может родились.

— Если вы такой умный, — раздраженно прервал Джэк Ауэр — потрудитесь объяснить, отчего избрали нас семерых? Неужели только мы переступили этот закон?

— Почему? — откликнулся Боб Кастэр и запнулся. — Почему? Да конечно не оттого, что мы хуже других. Следует предположить, что мы избранные. Бог поражал проказой не всех отщепенцев. «Почему только нас, а не остальных провинившихся»... это, извините, глупый вопрос, обывательский. Во всяком случае, теперь положение меняется: следует найти причину «их» благополучия, несмотря на ежеминутное отступничество. Здесь, вероятно, ключ: они ежесекундно отрекались от своей основной темы, а мы до поры до времени держались! Ясно, мы обязаны сражаться за скорейшее, полное возвращение к первоначальному облику. Тут скрещиваются интересы целого общества. Наш опыт, наш недуг должен быть учтен другими: они хотя и не почернели, но внутренне, бессомненно, проделали тот же путь.

— Видите ли, — сказал председатель, мы готовы бороться за духовное очищение. Но следует быть рассудительными и примириться с некоторыми внешними фактами: посколько мы черные, мы негры.

— Никогда! — вскричал Боб. — Ошибка. Я не темный. Может быть, именно отказываясь признавать очевидное, я выполняю священный долг и тем самым удостоюсь награды. Я требую принадлежащее мне место в мире во всей широте и полноте. Залезать в подвал, в монастырь, в катакомбы... это не моя тема. Да будет вам известно: крота сотворили зрячим. Он жил вместе с другими грызунами. Но вечные распри с хищниками устрашили его, он решил зарыться в землю. «Какая разница, — думал он, — я буду лежать в дыре и чувствовать себя ближе к Творцу, солнцу и вселенной, чем те, на поверхности, в своей лютой вражде и междоусобице». Вы знаете что произошло: он ослеп. Такое может приключиться и с нами: приобщась к аттрибутам негритянского быта, мы незаметно превратимся в черных. Послушайте, кто родился с парой глаз, даже если их ему выколят, должен сохранить повадки зрячего. И самое главное: я влюблен.

Очень важно. Я проплыл тысячи миль по пути совершенной любви. Я надеялся вылепить то, что на этой земле может быть еще никому не удавалось: счастливую, ничем не разбавленную, завершенную любовь. И на последнем круге, почти у самой цели: бац, катастрофа. Вот я лежу на подобие нового Иова и почесываюсь черепками, а мое богатство превращено в пепел. Ее зовут Сабина, и я расчитываю, что на этой земле она еще обнимет меня, подлинного, кого избрала. Я буду неистовствовать: доктора, адвокаты, знахари, ведьмы, алхимики и жулики. Я собираюсь продолжать жить в привычной обстановке: дом, квартал, знакомые, работа, наконец плата за труд... Внешние условия не менее важны чем оболочка, покровы: они так же уводят к самому центру человека. Я добьюсь официального признания: соответствующие инстанции выдадут мне диплом. И вот я думаю: в этом направлении удобнее хлопотать сообща! От имени целой группы: взбудоражить прессу, мобилизовать общественное мнение.

— Наш устав запрещает всякие юридические домогательства, — заметил председатель.

— Но почему? — изумился Боб. — Это предательство.

— Мы христиане и ценим порядок, культуру, — объяснил Джэк Ауэр. — Смекните, в какое время мы живем. Цивилизация крошится, тает, корабль погружается в воду и валы сумрака захлестывают последние маяки. Где устои? Религия? Бог? Мораль, верность, брак? Все пошатнулось. Нынче легко менять убеждения, веру, жену, профессию! Убийство — безусловный подвиг, а честность диктуется бессердечием. За что ухватиться, где компас? Только одна точка, финальный ориентир: раса. И вы стремитесь капнуть яд сомнения, разложить незыблемый атом: черный превратился в белого, белый в черного. Ничего постоянного больше нет: конец, точка. А между тем народы воюют: решается

судьба ближайших столетий. Но что вам до того: вы заняты проблемой спасения собственной личности.

— Аргумент лицемеров или тупиц, — отмахнулся Боб Кастэр. — Старая песенка. Римские патриции хватали за полу апостола Павла и шептали ему приблизительно то же. Англичане говорили это всем колониальным народам, добивавшимся освобождения.

— Кроме того, — устало заметил Ауэр, — мы многое уже пробовали. Обращались к докторам, они беспомощны...

— Вы шли к дерматологам, а надо специалиста по железкам внутренней секреции...

— Пробовали и Вашингтон, — продолжал председатель: — Нам ясно дали понять, что это не кстати. Решительно намекнули: «негласно, полуофициально, мы готовы смотреть на ваше уродство сквозь пальцы, не станем преследовать и даже постараемся в порядке частной инициативы помочь, но если вы только начнете шуметь, поставите вопрос принципиально или, не дай Бог, завопите о попранных своих правах, то мы, к сожалению, будем вынуждены без промедления стереть вас с лица земли. Не забывайте: идет эпическая борьба с фашистским гадом и требуется согласие всех сил нации. А среди этих сил имеются и явно враждебные вам»...

— Вздор, — не выдержал Боб. — Фашизм? Чтобы тягаться с гадом, не обязательно летать над Берлином и Токио. Мы не имеем возможности реализовать себя. Нас заставляют отречься от самой сущности, превращая в шутов верхом на саксофоне.

— Ребенок, — сказал председатель. — Учтите соотношение сил. Поверьте моему такту и опыту.

— Я верю только личному опыту.

— Но они убьют нас: подколят из за угла и вся тема исчерпана. Образуется сплошной фронт: от масонов до Ку-Клукс-Клана!

— Человека трудно убить, он бессмертен.

Поднялся ропот... Безответственный максимализм.

Все испробовано. Кроме того, опасно рисковать пусть малым, что с трудом удалось уже отвоевать, во имя такой цели как возвращение к далекому, угасающему прошлому. Они устали и больны.

— Ну тогда, извините, гусь свинье не товарищ, — даже повеселев сказал Боб Кастэр. В эту минуту ему верилось: о, еще далеко не все потеряно. «Сабина, Сабина, ты меня любишь, ибо воистину меня стоит любить»... — Клянусь, братья, — продолжал он с настоящим подъемом: — Я не сдамся. Я белый и влюблен. Это дело моей жизни. Живой или мертвый я верну потерянное. Даже если предстоит носом продырявить стенку, будь она из кремня или картона, все равно! — он вдруг рассмеялся: — Как вы полагаете, джентельмены, мертвые мы посветлеем или сохраним этот грим? Вы об этом подумали? — Он встал и покровительственно похлопал Джэка Ауэра по животу: — Вы кажется разжирели на председательских хлебах. Господа, я исчезаю. Когда добьюсь существенных результатов, дам знать. Не требую благодарности, — и, развязно помахав рукою, направился к дверям.

Сумасшедший!

Фантазер.

Вы погибнете, — кричали ему в догонку.

Смиритесь и возвращайтесь назад.

Отмахиваясь от докучливых, мнимо дружелюбных советов и предупреждений, — голоса доносились нечетко, повторенные эхом, подобные рыку плененных зверей или стонам осужденных грешников, — Боб, осторожно, в потемках, пересекал каменистый дворик. В голове шумело, плечи брезгливо сутулились: наступала пора скуки, безразличия, упадка сил. Сейчас он выйдет на улицу, зимний вечер, простудный холод, слякоть, один и, все таки, что ни болтай, — черный. Сколько раз уже приходилось барахтаться в этой мрази тоски, «пустого», лишнего времени, когда надо подождать: жизнь начнется только завтра или через месяц, — с телеграм-

мой, телефонным звонком или встречей! Он тогда был здоров, теперь прибавилось другое. Но разница не так уже велика. «Болит ли один зуб или два, ощущение почти то же», — нашел Боб Кастер определение и улыбнулся: горько, самодовольно. «За взгляд Сабины... а затем раствориться в океане, плыть и захлебнуться. Стыдно, я мужчина, а не суслик», — свирепо стиснул он челюсти. Сзади вдруг послышались торопливые, мелкие шажки: Магда. Положив руку на его плечо, она горячо зашептала:

— Вот устав, прочтите на досуге. Раз в месяц, первое воскресение, мы собираемся и обязаны облобызать каждый каждого.

Боб ласково погладил ее по впалой щечке, небрежно пообещал:

— При случае я обязательно воспользуюсь любезным приглашением.

«Она готова влюбиться в меня. А может ее подослал председатель: Далила. Вернее и то, и второе, и третье, ибо всегда есть третье, ускользающее». С трудом нашел дверь в парикмахерскую. Цирюльник хлопотал над поздним клиентом. Бобу померещилось: они перемигнулись, насмешливо, неодобрительно. Так улыбался он сам на Монмартре, когда встречал педерастов, лесбианок или других несчастных, обиженных злыми стихиями. «Я где то видал этого субъекта», — вдруг подумал Боб, оглядываясь: громоздкая туша, салфетки, мыльная пена... лица не рассмотреть. Парикмахер угрожающе оскалился.

Снаружи было пронзительно мерзко: остров, зимой, среди океана. В руках Боб все еще держал страничку устава... При свете фонаря он бегло ознакомился с адресами членов союза. Судя по списку, все жили выше 110 улицы. Дождавшись порожнего такси, Боб Кастэр

помчался вверх по Lexington Avenue. На уровне 108-ой, вышел. И через пять минут, молодая, грудастая негритянка уже стелила ему чистое белье на широкую, низкую деревянную кровать. Украдкой знакомясь с новым жильцом, она осведомилась, — где чемоданы?..

— Их привезут, — пообещал Боб. — Какой однако шум, что здесь дансинг в доме?

— О, это мистер Болль, у него гости, — черная грузно захохотала: повидимому одно упоминание о Мистере Болле уже веселило ее.

В. С. Яновский

(Продолжение следует)

Считать толково километры,
По карте отмечая путь.
Учесть подъемы. Силу ветра.
Что посмотреть. Где отдохнуть.

Решить внимательно и строго,
Что можно брать с собой, что — нет.
Вязать пуловеры в дорогу
И чистить свой велосипед.

Мечтать о воздухе хрустальном,
О тишине лесов и рек,
О городке провинциальном,
Где будет ужин и ночлег.

И в настроении прекрасном
На карту заносить пути, —
Пока не станет слишком ясно,
Что больше некуда идти.

Париж
20-II-1937

Жизнь прошла, отошла, отшумела,
Все куда-то напрасно спеша.
Безнадежно измучено тело
И совсем поседела душа.

Больше нет ни желанья, ни силы,
Значит — кончено все. Ну, и что-ж?
А когда нибудь, мальчик мой милый,
Ты стихи мои все перечтешь.

Печатаемые стихотворения Ирины Кнорринг должны были войти в третий сборник ее стихов, которому покойная поэтесса предполагала дать название — «После всего». Ред.

После радости и катастрофы,
После гибели, после всего —
Весь мой опыт — в беспомощных строфах...
Я тебе завещаю его.

Париж
21-X-1940

Войной навек проведена черта,
Что было прежде — то не повторится.
Как изменились будничные лица.
И все — не то, и жизнь совсем не та.

Мы погрубели, позабыв о скуке,
Мы стали проще, как и все вокруг.
От холода распухнувшие руки
Нам ближе холеных, спокойных рук.

Мы стали тише, ничему не рады,
Нам так понятна и близка печаль
Тех, кто сменил веселые наряды
На траурную черную вуаль.

И нам понятна эта жизнь без грима
И бледность просветленного лица,
Когда впервые — так неотвратимо,
Так близко — ощущение конца.

12-I-1941

Просыпались глухими ночами
От далекого воя сирен.
Зябли плечи и зубы стучали.
Беспросветная тьма на дворе.

Одевались, спешили, балдели
И в безлюдье широких полей
Волочили из теплой постели
Перепуганных, сонных детей.

Поднимались тропинками в гору,
К башмакам налипала земля,
А навстречу — холодным простором —
Ледяные ночные поля.

В темноте, на дороге пустынной,
Зябко ежась, порой до утра,
Подставляя озябшую спину
Леденящим и острым ветрам...

А вдали еле видимый город
В непроглядную тьму погружен.
Только острые башни собора
Простирались в пустой небосклон.

Как живая мольба о покое,
О пощаде за чью-то вину.
И часы металлическим боем
Пробуравливали тишину.

Да петух неожиданно-звонко
Принимался кричать второпях.
А в руке ледяная ручонка
Выдавала усталость и страх...

Так — навеки: дорога пустая,
Чернота неоглядных полей,
Авионов пчелиная стая
И озябшие руки детей.

Шартр
23-I-1941

ИГОРЮ

«Двенадцать лет без перерыва.
«Двенадцать лет. Огромный срок».
А сердце бьется терпеливо,
Твердит заученный урок.

Двенадцать лет — без перемены
Толчками сердца — вновь и вновь —
Бежит в твоих упругих венах
Моя бунтующая кровь.

И в жизнь войдя большим и смелым
Сквозь боль, отчаянье и ложь,
Слова, что я сказать не смела,
Ты за меня произнесешь.

Париж
9-5-1941

Темнота. Не светят фонари.
Бьют часы железным боем где-то.
Час еще далекий до зари,
Самый страшный час — перед рассветом.

В этот час от боли и тоски
Так мучительно всегда не спится.
Час, когда покорно старики
Умирают в городской больнице.

Час, когда, устав от смутных дел,
Город спит, как зверь настороженный,
А в тюрьме выводят на расстрел
Самых лучших и непримиренных.

Париж
3-III-1942

Ирина Кнорринг

Б. Н. Беляеву

Близ St. Malo, спокойно-величавый,
Есть островок, пустынный и немой;
Там погребен поэт, венчанный славой,
Снедаемый гордыней и тоской.
Он не умел, живя, с толпою слиться
И мертвым лечь средь мертвых не желал, —
Певец природы захотел укрыться
Средь шумных волн и молчаливых скал.
Им презрено людское славословье:
Гранитная плита, гранитный крест, —
Ни надписи, ни имени... Безмолвье,
Вода, скала и небеса окрест...
Так высится, в предверьи океана,
Отвергнувши людей и их слова,
Сурово-гордый гроб Шатобриана,
Имевшего на гордость все права.

St. Malo
14-IX-39

Сергей Яблоновский

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Проснулся весенний день,
Корова мычит в хлеву,
Пред домом ручной олень
Лениво жует траву.

Сверкнул из-за темных гор
Восходящего солнца луч,
Слышнее стал чаек хор
С прибрежных скалистых круч.

Отлив обнажил стада
Шершавых седых камней.
Синеет вдали вода,
Чем дальше — она синей.

Далеко за той водой
Мерещится мне страна,
И кажется, в ней одной
Как юность цветет весна.

Елена Антонова

Я знаю — ветер постучался
В мое окно.
Ведь ты ушел и попрощался
Со мной давно,

Увидев все, что так знакомо,
В последний раз.
Меня никто не ждет у дома
В полночный час.

Я знаю: этот шорох странный
Не шум шагов;
Но в шопоте листвы — желанный,
Знакомый зов...

И пусть я правды не забуду
И все пойму,
Я долго всматриваться буду
В ночную тьму.

Кира Славина

РОМАНС

У нас, у старых
Любовь устала...
О ней в тоске
Нам не мечтать...

У нас, у старых,
Мечты не стало,
И грезы прячутся,
Как тать...

А за окошком
В кистях душистых
Поет, забыв
О ходе дней,

Все тот же крошка
Певец пушистый
Любви вещатель
Соловей...

Нью Иорк, 1946 г.

Татиана Тимашева

Я разучилась просто веселиться
И развлекаться мелочами дня...
Не тешат взора сумрачные лица
И солнца свет не радует меня.
Таинственной природы измененья
Средь шума городского далеки...
Не привлекает мирное теченье
Величественной, чуждой мне реки...
Огромная враждебная столица
В железных лапах стиснула меня...
Я разучилась просто веселиться
И развлекаться мелочами дня.

Зинаида Троцкая

ИЗ РАЙНЕРА МАРИЯ РИЛЬКЕ

НОЧЬЮ

Над Прагой сумрак тихий лег.
Раскрылась ночь, как сад огромный;
И солнце, — яркий мотылек —
В густой траве исчезло темной.

Высоко месяц, хитрый гном,
В гримасах корчится, лукавый,
И сыплет белым серебром
На волны строгие Молдавы.

Но вдруг, как ревностью объят,
Он в тучу прячет лик чеканный;
Пред ним соперник встал нежданный:
На башне — светлый циферблат.

Как книга, вечер предо мной
Лежит в пурпуровой обложке.
Я золотые снял застежки
Моей холодною рукой.
Мелькает первая страница...
Читаю с легкою тоской, —
Склоняюсь тише над второй,
А третья — третья мне уж снится.

Александр Биск

ИЗ БЯЛИКА

(На мотив пророка Амоса)

Беги пророк?
Не мне бежать — я не таков!
Я шагу тихому учился у волов,
И даже слов таких не знает мой язык.
Как молот тяжкий он дробить привык.
И если был вотще мой труд —
На ком вина? Я неповинен тут.
Мой молот наковальни не нашел
И топором попал я в сгнивший ствол.

Уйду туда, где тишина лесная,
Там с дикой буду говорить лозой.
А вы? вы — тлен, вы — пыль земная,
Вас буря унесет с собой!

Самуил Хаимсон

Когда улыбкой всколыхнете
Вы душу мне, и, беззаботен,
Я в идиллической глуши,
Как в юности, сознание теряю,
Каким цветком, благоухая
Для осчастливленной души,
Покажется мне жизнь земная
Под дудку пастуха из рая...

Но пенье журавлиной стаи
Звучит чем дальше, тем нежней, —
Мучительно напоминая
Придушенный оркестр страстей, —
Еще несдавшихся, еще живучих,
Безóбразных, ползучих...

Как солнце яростно струится в море хлеба!
Огонь и золото и кровь в нем разлиты.
Россия, ты ли здесь? Где ж серенькое небо?
Уныние и грусть куда ж девала ты?

Песчаный берег. Чахлый куст
Не красит, не живит природы.
Стальной простор суров и пуст.
Массивные седые воды
Безмолвный обрамляют вид.
И вечным холодом свободы
Обожжена, едва дыша,
Беззвучным голосом вопит
Испепеленная душа!

Нам чудится: ядро вселенной
Колеблется в своих основах,
А ваш мирок течет — по Гончарову
Историей обыкновенной.

Никакой самум не уничтожит
Тропочек, покрытых гравием,
И цветов на подоконнике,
За стеной не потревожит
Пения гнусавого
И пиликанья гармоники.

Г. Яковлев

ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДЕМОКРАТИЯ

1.

Есть много оснований полагать, что в обозримое время экономически передовые государства перейдут от свободного к организованному или плановому хозяйству. Прежде всего, что это значит? Свободное хозяйство — это такой общественный порядок, при котором хозяйственная функция общества, т. е. удовлетворение материальных потребностей человека, выполняется неопределенным числом независимых друг от друга и от государства хозяйственных деятелей. Промышленники, торговцы, земледельцы, рабочие, банковские и страховые деятели работают каждый за себя, руководствуясь собственным экономическим интересом, а в результате сложного сочетания этих сил оказывается выполненной одна из основных задач всякого общества.

В противоположность свободному хозяйству, плановое хозяйство предполагает организацию хозяйственных усилий. Общественные органы, не непременно государственные, определяют, кто и что должен сделать, чтобы была выполнена хозяйственная задача, а хозяйственные деятели, соответственно, прямо или косвенно вынуждаются эти задания выполнять. В виду сложности современного хозяйства, директивы не могут даваться от случая к случаю. Распорядителям приходится действовать на основании заранее выработанного плана, обеспечивающего целесообразность и согласованность усилий. Так как организация без плана работы бессмысленна, а план без организации неосуществим, система может быть с равным основанием названа плановым или организованным хозяйством.

В чистом виде, свободное и плановое хозяйства прямо противоположны. Но между ними стоят переходные формы, которые характеризуются частичной связанностью хозяйства. Связывается хозяйство или государством, или частными силами, или обоими вместе. Связывание государством выражается во вмешательстве политических сил в хозяйственную деятельность, в форме установления предельных цен, условий рабочего договора, контингентов на ввозные или вывозные товары, и т. п. Одной из характерных черт этой формы свя-

занности является его ударность или случайность: вмешательство обыкновенно лишено плана и проявляется в момент, когда возникают серьезные перебои в хозяйственной или сопредельных с нею сферах жизни, часто под давлением мощных хозяйственных групп, представляющих определенные интересы. Связывание частными силами зависит от предварительного сочетания разрозненных хозяйственных деятелей в мощные общественные единицы. Одним из фатальных «открытий» минувшего столетия было обнаружение факта, что зачастую предпринимателям выгодно создавать искусственный хозяйственный голод и продавать ограниченное количество товаров по высоким ценам. Это легко осуществить при добровольном отказе от свободной конкурренции и образовании, в недрах свободного общества, частных монополий. Несколько позже и рабочие союзы «открыли» возможность создавать искусственный спрос на труд, предписывая своим членам разного рода замедленную работу или заставляя предпринимателей набирать больше рабочих, чем нужно, по принципу «принудительного ассортимента».

Нет сомнений в том, что задолго до нынешней войны хозяйство передовых стран мира перестало быть свободным в точном смысле слова и стало частично связанным. Сначала на него наложили свои путы частные силы; а потом к ним присоединилось и государство. В результате, предсказание, сделанное в самом начале статьи, можно перефразировать так: вероятен переход хозяйства от типа частично связанного к типу планового хозяйства.

2.

Многие согласны с таким прогнозом, но для них он звучит зловеще: вместе со свободным хозяйством, думают они, канет в Лету и демократия, на место которой воцарится новое самодержавие — в коммунистическом, фашистском или еще неведомом облике.

Основателен ли однако, пессимистический прогноз в отношении к демократии? Иными словами, есть ли в самом принципе планового хозяйства нечто, органически несовместимое с демократией? Те, которые утверждают, что есть, обыкновенно подходят к вопросу с упрощенной точки зрения: они берут демократию в определенном облике, им хорошо знакомом или особенно любезном их сердцу, а плановое хозяйство — в некоем варианте, особенно отталкивающем,

например в той форме, в какой оно утвердилось в СССР. Сравнивая с в о ю демократию со с в о и м плановым хозяйством, они как будто убедительно доказывают их несовместимость. Ясно, что при такой постановке вопроса, вывод предрешен до приступа к рассуждению. Чтобы подлинно решить вопрос, нужно прежде всего установить оба понятия в рамках, достаточно широких и эластичных для того, чтобы покрыть все разнообразие соответствующих им явлений.

Понятие демократии предполагает сочетание трех принципов — свободы, равенства и народоправства. Каждый из них может принимать различные формы и быть осуществлен в разных степенях.

Свобода, по самому своему понятию, есть свобода от кого-то или от чего-то. По исторически сложившимся обстоятельствам, свобода понимается в первую очередь, как свобода от государственнного вмешательства. Исторически сложился и каталог «свобод», как то свобода совести, печати, собраний, союзов и наконец свобода (неприкосновенность) личности от произвольного ареста, пристрастного суда, бессудного наказания. К числу этих свобод может быть отнесена и свобода экономическая, т. е. свобода хозяйства от государственного вмешательства. Из практики тоталитарных государств стало очевидным, что следует настаивать и на свободе культурной, которая попирается не только цензурой (коей противополагается свобода печати), но и положительным вмешательством государства в культурный процесс, в порядке официальной пропаганды, казенного поощрения «желательных» направлений в искусстве и науке и жестких директив в сфере народного образования. А новейшие декларации вождей демократии обогатили каталог свобод понятиями свободы от страха и от нужды.

С другой стороны, очевидна приложимость к свободе количественного масштаба: от ограниченной свободы печати, которая существовала в России за краткий конституционный период ее истории, можно подыматься до полной свободы печати, характерной для англо-саксонских стран, и перевалить в сферу чрезмерности, какой было бы разрешение безнаказанно печатать пасквили, порнографию или призывы к насилию. Бывают разные степени и свободы экономической. Абсолютное невмешательство государства представляет скорее предельный, нежели реальный случай; такая экономическая свобода нигде и никогда не существовала. Между такой свободой и абсолютной несвободой хозяйства, есть целая гамма переходов, и разумным требованием наше-

го времени можно почитать отсутствие государственного вмешательства за пределами явной необходимости.

Наконец, в наше время можно, пожалуй, противополагать свободу не только государственному вмешательству, но и засилию капитала (как это делается в СССР), засилию частных монополий (как это делается в американском законе против трестов и в папских энцикликах) и засилию трудовых союзов, вернее, их вожаков.

Как и свобода, равенство многогранно. Есть равенство гражданское, или равенство перед законом, не знающим различия между знатными и незнатными, богатыми и бедными, белыми или черными. Есть равенство экономическое, выражающееся в приблизительном равенстве имуществ и доходов граждан; в вульгаризованной форме оно временами осуществлялось в СССР под названием «уравниловки». Есть равенство социальное, которое означает отсутствие барьеров между людьми в их общении; его критерием, с римских времен, считается фактическая возможность брака и участия в совместной трапезе. Есть, наконец, равенство политическое, направляющее мысль к народоправству, ибо оно означает равное участие в решении политических вопросов. Равенство, конечно допускает количественные вариации. Так напр., Джемс Брайс считал достаточным для демократии, чтобы три четверти взрослых мужчин допускалось к участию в выборах. Экономическое равенство никогда не бывает абсолютным и в лучшем случае проступает в отсутствии крайностей, т. е. бьющей в глаза роскоши и предельной нищеты. Отсутствие экономического и социального равенства обыкновенно не почитается препятствием к признанию общества демократическим, хотя сто лет тому назад Токвиль доказывал, что подлинная демократия возможна только на почве социального и экономического равенства.

Принцип народоправства означает такое построение государственного аппарата, при котором основные вопросы политики в конечном счете решаются общественным мнением, т. е. волею свободных и равных граждан. Технически задача допускает множество решений: всем известно разнообразие демократических конституций.

И тут есть количественные различия. Нередко некоторые вопросы (напр. военные и дипломатические) как бы резервируются в пользу власть имущих. По этому пути можно итти и дальше и объявлять «техническими» и потому свободными от общественного контроля и другие вопросы. С другой стороны опасенье самовластия высших государственных

органов приводит подчас к такому построению государственного аппарата, которое затрудняет принятие решений, кроме самоочевидных и бесспорных. Принцип сдержек и балансов, на котором покоится американская конституция, приближается к этому типу. Доведенный до крайности, принцип этот приводит к состоянию анархии. В качестве примера можно сослаться на «либерум вето», которое было известно польским и арагонским конституциям.

3.

Обратимся теперь к рассмотрению другой стороны вопроса и установим прежде всего, что плановое или организованное хозяйство допускает множество вариантов в зависимости от того, кому принадлежат планируемые предприятия, кем осуществляется планирование и как глубоко оно проникает. Рассмотрим по порядку каждое из намеченных измерений.

В то время, как свободное хозяйство, по самому своему заданию, предполагает наличность множества предприятий, принадлежащих, по крайней мере в своем большинстве, частным лицам (физическим или юридическим), плановое хозяйство по этому вопросу ничего не предрешает. Нет никаких препятствий к тому, чтобы положение, характерное для свободного хозяйства, сохранилось и в плановом хозяйстве, иными словами, чтобы план налагался на неопределенное множество преимущественно или даже исключительно частных предприятий. Таково, планирование, примененное в военное время в демократических государствах, но таковым в основе было и планирование в фашистской Италии и национал-социалистической Германии.

Но плановое хозяйство возможно и в других условиях. С одной стороны, возможно увеличение доли государства в предпринимательской собственности; тогда получается «государственный капитализм», признаки которого были сильны в дореволюционной России, где казенные железные дороги преобладали над частными, существовала казенная винная монополия и было немало казенных заводов. Еще дальше от исходной точки располагается строй, господствовавший в России при НЭП-е, когда частному сектору хозяйства противополагался коллективный. Этот последний строй ныне признан за промежуточный (не окончательный) идеал западноевропейского социализма, со времени принятия «плана тру-

да», выработанного бельгийским социалистом де-Маном. Он ныне осуществляется в Англии, Франции и Чехословакии.

С другой стороны, возможно уменьшение числа предприятий путем слияния их в гигантские группировки, принимающие характер частных монополий. Таков был путь развития хозяйства в странах, которые, в идее, остались верными принципу частного хозяйства.

Еще одно осложнение получается, если признать возможность существования третьей группы предприятий, промежуточной между частным и государственным секторами. Есть тенденция считать такой промежуточной группой кооперативные предприятия. Такой взгляд, как известно, проводится сталинской конституцией, но он силен и в скандинавских странах, где часто утверждают, что ими социальный вопрос разрешается на новом, третьем, среднем или кооперативном пути. Во Франции сильна мысль, некогда высказанная Дюги, а затем подхваченная социалистами, что многие хозяйственные функции должны осуществляться, отчасти уже осуществляются, самодовлеющими «учреждениями», имущество которых принадлежит им самим. В Англии эта мысль привела к организации так называемых «публичных корпораций», как-то: центральное электрическое учреждение, британская радио-корпорация и лондонское транспортное учреждение.

Все эти возможности возникают уже в рамках частично связанного хозяйства, но полное свое значение получают при переходе к системе планового хозяйства. Ясно, что при преобладании частных и кооперативных предприятий, планирование носит характер правового регулирования отношений между многочисленными субъектами права. Иное положение получается, если возникает государственная монополия хозяйства. Тогда отпадает противостояние двух субъектов права, распорядителя и исполнителя. Обе функции по необходимости выполняются государством, ибо нельзя себе представить, чтобы какой-либо вне-государственный орган распоряжался государственной монополией. Можно, конечно, поставить директоров отдельных предприятий в положение, напоминающее роль директоров частных предприятий; так было например в России в первые годы НЭП-а. Но опыт показывает, что эта система может правильно функционировать только, если удельный вес частного хозяйства остается значительным. Если оно сходит на-нет, поставленные в условия «коммерческого рассчета» директора казенных предприятий силою вещей перерождаются в бюрократов, и планирование

принимает форму административного инструктирования низших органов высшими. Не без основания учили советские юристы в начале тридцатых годов, что внутри планового хозяйства, в государственно-монопольном его варианте, нет юридических норм, а есть только технические правила.

Подобное же положение вещей должно получиться в предположительном случае всеобъемлющей частной монополии. Только на место административной инструкции становятся правила внутреннего распорядка, преподаваемые и изменяемые по воле монопольных хозяев «единого предприятия».

Обратимся теперь к рассмотрению второго измерения — вариаций в составе планирующих органов. Они получаются в зависимости от того, что эти органы можно составить, в разных комбинациях и пропорциях, из представителей политического руководства страны (т. е. членов правительства и законодательных учреждений); бюрократии, при том или общей, или специально плановой; заинтересованных хозяйственных сил — предпринимателей, земледельцев, рабочих, потребителей, — причем эти лица могут или избираться, или назначаться; и наконец независимых экспертов. Планирующие органы советской России составлены из представителей политического руководства и специальной плановой бюрократии. Советы итальянских корпораций состояли из представителей предпринимателей и рабочих, однако привлекавшихся по назначению; они разбавлялись представителями политического руководства и экспертами. Плановые органы национал-социалистической Германии составлялись из представителей политического руководства, бюрократии и предпринимателей. Плановые органы, намечающиеся социалистическими группами, обыкновенно включают политическое руководство (с подчеркиванием народного представительства) и представителей заинтересованных хозяйственных сил, однако подчас с исключением предпринимателей, несмотря на частичное сохранение частного хозяйства — особенно выделяется в этом отношении план Г. Гурвича, разработанный им применительно к Франции*).

Нет надобности доказывать, что в зависимости от этих различий в построении органов планирования существенно меняется и его характер. Одно положение создается, если в планировании господствует бюрократия, манера работы

*) George Gurvitch. La déclaration des droits sociaux. Editions de la maison française: New York, 1944.

которой так мало подходит к хозяйственной деятельности. Другое дело, если в планировании преобладает один из хозяйственных элементов, напр. предприниматели: тогда неустранима опасность обращения планирования на службу классовому интересу. И опять-таки иное дело, если планирование вверяется органам, сочетающим все хозяйственные интересы страны и стоящим под верховным контролем народного представительства.

Наконец, третьему измерению соответствует глубина планирования, которая допускает двоякого рода вариации. С одной стороны, можно планировать известные сферы хозяйственной деятельности и оставить свободными другие; такова мысль плана де-Мана, в октябре 1944 г. воспринятая ген. де-Голлем, который высказался за разделение французского хозяйства на три сектора — национализированный (государственный), управляемый (планируемый) и свободный. С другой стороны, можно в разной степени вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий. Вмешательство будет полным, если предприятиям указывают, где и сколько приобрести сырья и топлива, сколько и какой квалификации нанять рабочих, какие заводить технические процессы, что именно произвести, по какой цене и кому продать. Но вмешательство будет частичным, если оно выразится в назначении предприятиям контингентов продукции, определенных в родовых, а не видовых признаках, напр., в указании предприятиям, производящим одежду, количества тканей, которые они должны переработать.

4.

Мы рассмотрели разнообразие проявлений демократии и планового хозяйства не с точки зрения коллекционера, заинтересованного в классификации возможно большего числа вариантов, а с определенной целью — подготовить решение вопроса о совместимости планового хозяйства и демократии. Начнем с рассмотрения тех вариантов, которые особенно неблагоприятны для сочетания этих двух начал.

Сочетание, ясно, невозможно, если в понятие демократии включается абсолютная хозяйственная свобода. Тогда вопрос просто снимается с обсуждения. Но, как мы видели, к понятию демократии это не принадлежит, хотя и составляет основной постулат свободного хозяйства в его классическом построении.

Возможно ли однако технически отделить демократию

от хозяйственной свободы, в особенности от свободы соревнования? В нашумевшей книге Хайек, австриец родом, основавшийся в Великобритании, доказывает, что вступление на путь частичного планирования против соревнования неизбежно приводит к полному порабощению личности государством, так как по внутренней логике вещей частичное планирование непременно становится полным, а это приводит ко всемогуществу плановой бюрократии. Он однако допускает планирование в пользу соревнования, напр. принудительное расторжение предпринимательских соглашений, и несколько непоследовательно соглашается на такие меры, как социальное страхование*).

Внимательное чтение его книги приводит к выводу, что общее понятие планирования автор подменяет понятием бюрократического планирования. Как было выше показано, это только одна из возможностей. А при раскрытии этой подстановки понятий рушится все как будто внушительное построение Хайека: пусть даже бюрократическое планирование по необходимости разрушает демократию; из этого вытекает только, что надо искать выхода на других путях. С другой стороны, как показано Файнером в критическом разборе книги Хайека, для проведения свободного соревнования в нынешних условиях надо итти много дальше, нежели думает Хайек, в частности надо распустить рабочие союзы и политические партии, проповедующие планирование, и включить запрет планирования в американскую конституцию**). Пусть Файнер в своей несколько придирчивой книге преувеличивает; но нет сомнений в том, что в наши дни хозяйственная свобода в ее либеральном истолковании может быть осуществлена лишь в порядке государственного принуждения.

Но подчеркиваемое Хайеком препятствие к сочетанию планового хозяйства и демократии — только одно из многих. Препятствие возникает и в случае, если принцип народоправства получает выражение, приближающееся к анархии. Действительно, планирование означает не совет хозяйственным деятелям поступить так или иначе, а обращенный к ним твердый приказ, гарантированный всей мощью государственного аппарата; при приближении же к анархическому идеалу, принуждение бывает слабо и ненадежно, а при таких условиях

*) Friedrich A. Hayek. The Road to Serfdom. University of Chicago Press: Chicago, 1944.

**) Herman Finer. Road to Reaction. Little, Brown & Co: Boston, 1945.

мало шансов на осуществление плана. Но приближение к анархическому идеалу, как мы видели, отнюдь не принадлежит к понятию демократии. За минувшие десятилетия стало очевидным, что демократическая власть должна быть способна приказывать и вынуждать выполнение своих приказов. Сущность демократии — не в слабости власти, а в своеобразии ее истоков.

Взглянем теперь на вопрос со стороны планового хозяйства. С этой стороны препятствие возникает прежде всего при односубъектности хозяйства, т. е. при государственной или частной монополии. Монополия работодателя служит реальной основой всеобщего порабощения в советской России. Через то отпадает свобода во всех ее проявлениях, а вместе с нею и народоправство, т. е. два из трех основных постулатов демократии. Равенство (в нищете и бесправии) может и сохраниться, но этого недостаточно.

Препятствие создается и при чисто бюрократическом или бюрократически-предпринимательском руководстве плановым хозяйством, приводящем к новому феодализму. Тем самым устраняется равенство. Свобода и народоправство могут внешне процветать, но только в рамках нового привилегированного класса, что опять-таки недостаточно для осуществления демократии. В этих пределах прав Хайек.

За исключением перечисленных выше случаев, нет препятствий к сочетанию демократии и планового хозяйства. Наиболее благоприятный был бы следующий выбор из числа намеченных выше вариантов: 1) Хозяйство сохраняет многосубъектный характер; государственные предприятия не исключаются, но управление ими децентрализируется, как было в России в начале НЭП-а, и наряду с ними существуют многочисленные, хотя бы кооперативные предприятия, подлинно независимые и достаточно мощные. 2) Руководящие органы включают в свой состав представителей политических сил, хозяйственных сил и независимых экспертов. 3) Планирование ограничивается пределами действительной необходимости, как по типу предприятий, так и по степени вмешательства. Напр., оставляются вне плана мелкие предприятия, непосредственно обслуживающие потребителя, а предприятиям общественного значения преподаются общие директивы, касающиеся объема продукции. Особенно важно сохранение свободного рынка, колебания цен на котором должны служить проверкой правильности плановых заданий.

Самое планирование могло бы получить такую форму. Государство, в порядке законодательства, создает систему

юридических лиц публичного права, аналогичных местному самоуправлению, хотя бы нашим прежним земствам, но не территориальных, а функциональных, с возложением на них заведывания отдельными звеньями народного хозяйства. Над ними возвышается центральный плановый орган, из их представителей, подобно тому как губернское земское собрание избиралось уездными собраниями. Постановления этих единиц обязательны и подчинение им вынуждается силой государственного аппарата. Права и обязанности участников определяются законом и обеспечиваются возможностью обращения в судебные органы. Закон ставит этим органам, в качестве основной задачи, возможно полное развитие производительных сил и удовлетворение потребностей населения. Судам предоставляется право проверять, соответствуют ли действия новых учреждений этой цели.

Когда предлагаются идеи, подобные вышеизложенным, оне обыкновенно встречают следующее возражение: связывание некогда свободного хозяйства монополиями привело к замедлению роста хозяйства. Распространение картельной практики на все хозяйство должно поэтому привести всю систему к окончательному окостенению.

Возражение это, однако, неубедительно. Есть большая разница между частичным связыванием хозяйства государственными или частными силами и подлинным планированием. Сущность этой разницы была очень убедительно выяснена в Англии в половине тридцатых годов, когда вопрос подвергался там живому обсуждению.

Спрашивается: почему в условиях нынешнего хозяйства предприниматель боится расширить производство? По двум причинам. С одной стороны, расширяя свое производство, он создает дополнительную покупательную силу, но эта последняя распыляется по всему рынку: от увеличения производства автомобилей нельзя ожидать заметного повышения спроса на них, если предприниматели, работающие в других отраслях, не последуют примеру. С другой стороны, предприниматель опасается, как бы другие предприниматели, работающие в той же сфере, не приняли одновременно решение увеличить производство и тем безнадежно переполнили рынок.

Чтобы освободить предпринимателя от обоих опасений, и задумана описанная выше система. Предприниматель, получающий повышенную квоту, не боится ее выполнить, ибо знает, что одновременно (хотя и в других пропорциях) повышены квоты в других сферах производства, так что его повышенное предложение встретится на рынке с повышенной по-

купательной силой. С другой стороны, он знает, что никто из его конкуррентов не сможет завалить рынок безудержно увеличенным производством, ибо каждый из них ограничен квотой.

В сущности, рекомендуемая система сводится к закреплению в нормах публичного плава некоего идеального соглашения между хозяйственными силами, которое могло бы и помимо государства разрешить проблему плана. Представим себе, что ответственные и полномочные представители главных хозяйственных групп, в американских условиях — капитала, труда и сельских хозяев, — сошлись бы и сговорились бы на том, чтобы соединенными усилиями пустить хозяйственную машину полным ходом, на основании плана, разработанного внушающими им доверие экспертами. Такое соглашение сделало бы хозяйство плановым и организованным. К сожалению, рассчитывать на такое соглашение не приходится. Даже если бы большинство хозяйственных деятелей заявило готовность такое соглашение заключить, упорствующее меньшинство сделало бы их усилия тщетными. Вмешательство законодателя необходимо по той же причине, по какой оно было необходимо в сфере отношений между капиталом и трудом. Потому и нужна публично-правовая организация, намеченная выше.

В какой мере система умеренного планирования стеснит хозяйственную свободу граждан демократического государства? Этому вопросу посвящен вдумчивый труд г-жи Вуттон*), выводы которой таковы. Свобода потребления не будет ограничена в том смысле, что покупатель сможет, как и теперь, выбирать между разными товарами, имеющимися на рынке, но несколько уменьшится его способность нажимать на производителя, требуя производства определенных товаров; способность эта однако весьма ограничена и теперь. Право выбирать предприятия, для вложения в них сбережений, может сохраниться, но государство и иные публично-правовые организации должны будут выравнивать неравномерность потока вложений во времени, расширяя или суживая объем своих вложений. Соответствующее плану распределение вложений по разным отраслям хозяйства не потребует прямого принуждения; достаточным окажется метод косвенного воздействия, путем открытия широких перспектив сбыта в одних случаях и узких в других. В области труда придется

*) Barbara Wooton. Freedom under Planning. The University of North Carolina Press: Chapel Hill, 1945.

сделать одно существенное изменение: сравнительную расценку заработков в разных отраслях хозяйственной деятельности, придется устанавливать в порядке принудительного арбитража, подымая ее там, где приток сил недостаточен, и спуская ее в противном случае. Но индивидуальный выбор места работы может сохраниться в ныне принятой форме.

Нельзя отрицать, что система планового хозяйства допускает извращения, подобные встречающимся в свободном хозяйстве. Это последнее, в условиях частных монополий, отклонилось от своей основной задачи и стало служить распорядителям хозяйства, а не народу в целом. Краткий опыт планового хозяйства в России и Германии показал, что такие же извращения возможны и при плановом хозяйстве. Предотвратить их можно только в условиях правового строя и демократии. Отсюда вывод: для планового хозяйства сочетание с демократией не только возможно, но и выгодно, так как улучшаются шансы выполнения им своей функции.

Итак, есть надежда, что с хозяйственной функцией общества система планового хозяйства, разумно организованная, справится. Как же это отразится на демократическом строе общества?

В новой хозяйственной системе каждый участник хозяйства, хотя бы самый скромный, будет в какой-то мере принимать участие в управлении хозяйством, ибо в планирующие органы должны входить представители всех хозяйственных сил. Принцип народоправства таким образом распространится на хозяйственную систему в целом, хотя и не на отдельные предприятия, где он повидимому технически неприменим. Через то повысится интерес трудящихся к общественным делам, а это поведет ко внутреннему укреплению демократии. Конечно, последней гарантией правильного функционирования системы будет приятие ее обществом свободных и равных людей.

Применение наших общих положений к двум наиболее интересующим нас государствам дает такие выводы. Россия может демократизироваться, не отказываясь от планового хозяйства, а только перестраивая его. Соединенные Штаты могут принять принцип планового хозяйства, не отказываясь от демократии. На такой почве возможно внутреннее сближение между Россией и Соединенными Штатами, столь желанное для американцев русского происхождения.

Н. С. Тимашев

СОБЛАЗН ПАТРИОТИЗМА

«Да, в наш патриотизм входит общечеловеческое и не токмо входит, но занимает первое место».

Белинский, 1845 г.

«Истинный патриотизм желает, чтобы Россия была как можно лучше: фальшивый же национализм утверждает, что она и так всех лучше».

Вл. Соловьев, 1889 г.

«Останемся, во всяком случае, самими собою и к крику «да здравствует Россия» не забудем **всякий раз** прибавлять «свободная».

Милюков, 1904 г.

Всякая власть мнит себя — не может не мнить — патриотической, т. е. отвечающей нуждам и интересам страны, народа, государственности, как она, власть, эти интересы понимает. В этом условном смысле даже о Петре III или Ленине можно сказать, что они были своеобразными патриотами. Подчиняя интересы русской государственности нуждам Пруссии и величию Фридриха, Петр III, как и Ленин, который считал патриотизм реакционной выдумкой «попов и буржуев» и жаждал мировой революции, делали это и в интересах России, всячески отсталой и, потому, нуждавшейся в выучке и водительстве передовых стран.

Что с уверенностью власти в собственной патриотичности далеко не всегда совпадает действительность, не приходится пространно доказывать. Достаточно ссылки на факт повсеместного и постоянного существования оппозиции к власти, — оппозиции лояльной и нелояльной, явной и крытой, которая во имя как раз патриотизма и стремится к смене власти или низвержению возглавляемого ею порядка.

Все великие революции: английская, американская, французская и русская возникли как революции национальные и прошли в большей или меньшей мере под знаком пат-

риотизма. Едва ли не единственным исключением здесь явился Октябрь 17-го года, если его считать самостоятельной фазой русской революции, а не вырождением или развитием — это зависит от оценки — Февраля. Хлеб, мир, земля, воля и свобода служили лозунгами и других революций. Один лишь русский Октябрь возник и протекал под знаком подчеркнутого анти-патриотизма. Непосредственные интересы России, русского народа и даже его пролетариата подчинялись откровенно в большевистской пропаганде и дипломатии интересам и нуждам всемирной социальной революции, которую легче всего было и вызвать, и «углубить» как раз в отсталой России, своим взрывом способной вызвать революционный взрыв и в других, более развитых странах. Этот взгляд находил себе поддержку и в примитивных представлениях раннего марксизма, заверявшего, что у пролетариев будто бы нет отечества; что терять им кроме цепей нечего, что государство вообще подлежит отмиранию, а не эволюции; и т. д.

Поскольку Ленин, как идеолог, дополнил и развил Маркса, — одним из элементов «ленинизма» стало утверждение, что российская государственность, даже после низвержения самодержавного строя и возглавления ее коммунистами, не представляет для пролетариата самостоятельной ценности и значения. Даже став советской, Россия не переставала быть долгое время средством, плацдармом и трамплином, — чтобы не сказать «удобрением», — для мировой революции, и будущее России определялось исходом социальных битв на других, исторически более решающих участках фронта, на Западе.

Лишь в процессе затянувшихся и неоправдавшихся ожиданий и укрепления советской власти пришло признание самостоятельного значения за советской государственностью и за Россией, сначала как за «отечеством всех трудящихся» и «родиной победившего социализма», а во время войны — и как спасительницы российских народов и всего мира от «фашистских варваров». В ленинские времена председатель Коминтерна мог публично провозгласить «Лучше бедная, нищая Россия, да наша, чем возродившаяся богатая, — без нас», — на манер Константина Леонтьева, заявлявшего: «На что нам Россия, если она не самодержавная и не православная?», или Аракчеева, восклицавшего: «Что мне отечество! Скажите, не в опасности ли государь?..» Сейчас Россия советская, единственно данная реально, обрела самоценность и стала самоцелью.

Патриотизм в советской России начал реабилитироваться

с кануна войны. Во время же войны он был канонизирован, — советский его придаток временно предан был забвению. Противники диктатуры подлежали отныне поруганию, как враги русского народа и фашисты-предатели, уже не за то, что они отстаивали национальные интересы России, а за то, что не понимали, в чем эти интересы состоят, или отстаивали эти интересы не так, как представлялось должным власти. Сейчас советская власть взяла патент на русский патриотизм и всех несогласных с ней и ее пониманием польз и нужд России она изобличает как анти-патриотов и врагов России.

Большевики давно оценили значение мифов — в Сорелевском смысле. Когда они пробивались к власти и за первую половину своего властвования, они использовали «миф» о мировой революции и осуществлении социализма в России. Этот миф сослужил двойную службу: он был одним из орудий внутреннего управления и он увеличивал престиж Советов во вне. Теперь советская власть взяла себе на службу другой миф — о патриотизме. Он стал символом веры не только многих большевиков, но и многих зарубежных антибольшевиков. Миф этот несет и дипломатическую службу — служит как бы подтверждением усердно распространяемой сэром Бернардом Персом и другими версии будто большевизм новейшей формации, эпохи «великого Сталина», не имеет ничего общего с дурным большевизмом Ленина, Троцкого и былого Сталина.

***

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения — и потому не все люди имеют его». Этим словам Карамзина — из пережившей его «О любви к отечеству и народной гордости» — без малого полтораста лет. Можно спорить с тем, что лишенные любви ко благу и славе отечества лишены ее потому, что неспособны рассуждать о ней: любовь не связана с дискурсивной способностью человека. Это не значит, однако, что эмоции не нуждаются в оправдании или что любовь ко благу и славе отечества не подлежит анализу и объяснению. Наоборот, как всякое глубинное и «стихийное» чувствование, патриотизм подлежит обоснованию и на протяжении веков не переставал подвергаться обсуждению в свете новых достижений разума и истории.

Патриотизм служил движущей силой личных и исторических событий задолго до того, как его стали рационально

осознавать, определять и проповедовать. Укорененный в природе человека, в его инстинктах и импульсах, перешедших в привычку; закрепленный в нравах, которые были возведены в систему принципов и утверждены в качестве определенной — религиозной, военной, цивической — добродетели и веры, — патриотизм сначала не выходил за пределы семьи, рода, племени, расширившись позднее, в античной Греции, до границ города-государства. Грек, а потом и римлянин, находили в отечестве свое благо, свою безопасность, свое право, веру в бога, — пишет Фюстель де Куланж в своем классическом труде. «Любовь к отечеству это piété древних». Теряя отечество, они теряли все. Почти невозможно, чтобы частный интерес разошелся с публичным. Если нападают на отечество, нападают на религию. И сражаясь, они в буквальном смысле сражаются за свои очаги, pro aris et focis. Высшее наказание — изгнание из отечества. Исключенный из культа отечества, оказывался лишенным всего, он должен был погасить свой очаг. Он не имел больше права владеть собственностью. Его имущество и землю конфисковывали в пользу богов или государства. Он не имел больше семьи: переставал быть супругом и отцом. Мертвый, он не мог быть погребен ни на родной земле, ни в гробнице предков*). В позднем Риме, как и в эпоху Карла Великого, патриотизм становится уже имперским; в позднем средневековьи — церковным, а с Возрождения — народным.

Как всякий природный инстинкт или идеологическая вера, патриотизм может быть различным по содержанию и внутренней ценности. Он может быть направлен на добро, на зло и быть морально-политически безразличным, нейтральным. Он может быть оборонительным, как у Мицкевича, и агрессивным, как в «Deutschland, Deutschland über alles»; может питаться прошлым — могилами предков и их культом (японский шинтоизм) и будущим — исторической «миссией», подлежащей осуществлению; может выражаться в привязанности к родному пейзажу — к «березкам», «церковке» — и в преданности определенной группе или пространству: к «землякам», городу, штату, народности, государству, нации.

Нет, поэтому, одного, самоочевидного или общепризнанного понимания патриотизма. Он может принимать различные формы и обличья, и его могут понимать по разному. Когда Шарля Морраса, идеолога французского национализма, су-

*) Fustel de Coulanges: Cité Antique, pp. 232-236.

дили за измену Франции, его защита покоилась на обвинении своих обвинителей в измене отечеству и отсутствии действенного патриотизма. На тот же патриотизм ссылаются в оправдание своих злодеяний Геринг и Рибентроп на Нюренбергском процессе. «Где оно, это отечество?» — спрашивал в свое время разогорченный политикой родной Женевы Жан-Жак Руссо. «Не стены и не люди образуют отечество; это законы, нравы, обычаи, правительство, конституция, способ бытия, которые вытекают изо всего этого. Отечество — в отношениях государства к своим сочленам: когда эти отношения меняются или уничтожаются, отечество исчезает» (1.III.1764).

И положительно расценивающие патриотизм противополагают тому, что они считают истинным патриотизмом, — «неразумный», «пустой», «прямо лживый», «бессмысленный» или говорят о «национальном самообожании» и «идолопоклонстве», о «свирепом шабаше разъяренного патриотизма», о «патриотической оргии» или даже «патриотической проказе», о «неврастениках патриотизма», — мы не исчерпали всех квалификаций Владимира Соловьева, Герцена и других.

Что́ есть патриотизм или что превращает положительную ценность патриотизма, его правду, в величину отрицательную, в ложь? Ответить на это так же трудно, как и на вопрос, что есть истина. Патриотизм, как и истина, оспорим, в частности потому, что он подвижен во времени и изменчив. Как нет на веки установленной научной истины, так не существует и односложной «вечной» формулы патриотизма.

Ценность его в том, что, будучи разновидностью «социальной любви», патриотизм выходит за пределы узко-личного и индивидуального и направлен на более широкую среду — сверх-личную и сверх-родовую. Поскольку государственное состояние стало естественным и привычным для человека, «свое» государство становится, как правило, объектом любви, перерождаясь часто, как всякая любовь, в слепую нерассуждающую страсть. Здесь источник эмоционального смешения: анти-патриотическим действиям придается видимость патриотизма, а патриотические выдаются за измену отечеству. Такому смешению способствует и теоретическое недоразумение. Недоразумение гнездится в представлении о государстве.

Школьное определение включает три одинаково необходимых для существования государства элемента — территорию, народ и власть. Достаточно одному элементу вступить в противоречие или конфликт с другими, и все «триединство» рушится. Достаточно, чтобы отпала «любовь» к одному из трех элементов, чтобы взята была под сомнение любовь к

целому. Взаимные обвинения в отсутствии патриотизма или анти-патриотизме питаются обыкновенно тем, что для одних главенствующим в государстве является народ или страна, а для других — власть или власть и страна: страна ведь «вечна», тогда как власть меняется, как меняется и физический состав населения. «Человечество состоит больше из умерших, нежели из живущих», — говорил Огюст Конт.

Не будем останавливаться на том, какое воззрение правильнее теоретически, жизненнее исторически, приемлемее морально-политически. Подчеркнем лишь еще раз, что именно отсюда, из различной оценки элементов государства, проистекают, на наш взгляд, многие разногласия о том, что соответствует и не соответствует подлинному патриотизму. Так бывало и в далеком прошлом. Сократ предпочел смерть бегству из темницы потому, что, по утверждению Платона и Ксенофонта, считал нужным подчинить свои личные взгляды и самое жизнь велениям афинских законов и приговору, даже несправедливому, судебной власти. Тяжба между положительным законодательством или формальным правом и тем, что люди признают правом справедливым или каким они хотят сделать положительное право, — длится на протяжении всей мировой истории. Эта тяжба — идейная и политическая — между официальной властью и подвластными, или между казенной идеологией и независимым общественным мнением, противополагающим интересы страны и народа интересам власти, обостряется, как известно, в так называемые, критические эпохи.

Идеологически этот конфликт углубился со времен Гегеля, который, на место обожествленного в древнем Риме императора, поставил новейшее государство, как священное или полу-священное учреждение, воплощающее абсолютный разум мировой истории. Гегелевская «Философия истории» видела в государстве «реализованную в действительности моральную жизнь», «божественную идею на земле», «идею духа в его внешнем обнаружении человеческой воли и свободы», и проходила мимо происхождения государства и его назначения «для» народа. Гегель определил государство как самоцель, или «цель в себе» и утверждал первенство государства и государственной власти пред народом. «Нация в форме государства является осуществленным и подлинно реальным духом. Отсюда это — абсолютная власть на земле», — доказывал он в своей «Философии права». Гегель требовал признания за государством того же значения, какое св. Августин и католики признавали за церковью. Неудивительно, что та-

кое представление о государстве сделалось высшим оправданием и разменной монетой у новейших держателей власти.

Гегель не был ни единственным, ни даже первым по времени идеологом абсолютизации государства и государственной власти. Но он оказал наибольшее влияние даже на многих из тех, кто порвали с верой в божественное происхождение королевской или даже папской власти*). Гегель подчеркивал государственный гений таких героев мировой истории, как Александр Македонский, Цезарь и Наполеон. Это естественно предрасполагало в пользу его историософии всех «глядевших в Наполеоны». «Всё в государстве и для государства, ничего против государства или вне его», — перефразировал Муссолини линкольновскую формулу демократии. Неограниченная ничем абсолютная власть была «созвучна» эпохе и психологии нынешних властителей не «Божьей милостью» и не «волею народа», а во исполнение специального задания или миссии, возложенных якобы историей на Дуче, на Фюрера, на единую и единственную ВКП и ее Генсека. В прославлении тоталитарного государства и власти обожаемых «вождей» стали видеть проявление подлинного патриотизма.

Это было явным извращением, если не первоначальной, то последующей идеи патриотизма, который даже в античную эпоху далеко не всегда воплощался в носителе власти и олицетворялся с ним, а связывался часто и с утверждением начала свободы. Патриот не мог не желать, чтобы его отечество было свободно вовне, независимо от иноземцев; но он не мог мириться и с тем, чтобы его родина была несвободна изнутри, т. е. подчинялась не своей воле, а воле «тирана». Особенно это относилось к патриотам-республиканцам. Как писал Вольтер, — «республиканец всегда привязан к своему отечеству сильнее, чем поданный к своему, по той причине, что больше любят свое добро, нежели добро своего хозяина».

---

*) Напомнив, что мусульманская религия сама себя называет и с л а м о м, что́ значит покорность или резигнация перед высшей силой, Влад. Соловьев отмечает, что и в России возник такой «ислам» в отношении к государству. Его пророком был Катков в последние 25 лет его жизнедеятельности. «С подлинно-мусульманским фанатизмом Катков уверовал в русское государство, как в абсолютное воплощение нашей народной силы... Катков во всяком идеальном запросе, обращенном к кумиру, усматривал или бессмысленные фразы, или замаскированную измену» (Собр. Соч., т. V, стр. 216).

В патриотизме любовь к фактически сущей родине неизменно сочетается с представлением о желанной и долженствующей быть родине, на которую сознательно или бессознательно распространяется любовь. «Родина — не просто территория; территория только база. Родина — идея, которая на ней рождается; родина это мысль о любви, это смысл общения, соединяющего вместе всех сынов территории». Так писал большой итальянский патриот и знаток вопроса Маццини*). Отсюда и патриотический героизм борцов с антинародной властью, от Брута и до наших дней, жертвовавших жизнью и свободой в интересах будущей, идеализированной родины.

...Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть...

***

Чем сильнее любовь к отечеству, тем ощутительнее его боли и раны, тем острее обличения пороков и преступлений «неправедной власти». Благонамеренно-патриотические драмы Кукольника, по общему признанию, способствовали несравненно меньше просвещению и подъему национального сознания в русском обществе, чем сатирическое изображение России и изобличение русских нравов и порядков. Такое изобличение было традиционным в течение полутораста лет — от Новикова

*) Нельзя не привести из той же, насчитывающей столетнюю давность, работы «Обязанности человека» следующих слов Маццини: «Вы — л ю д и прежде чем граждане или отцы... Истинная родина это общение свободных и равных людей, связанных братской работой в общем направлении... Родина не скопище людей, а ассоциация. Поэтому, нет настоящей родины без единообразного права. Нет настоящей родины там, где единообразное право нарушено существованием каст, привилегий и неравенства».

и Фонвизина, продолжая Грибоедовым, Гоголем, Салтыковым, Герценом, Толстым, Достоевским и другими, до последних десятилетий, когда не только изобличение, но и простая сатира была дозволена властью лишь в тех пределах, в каких она считала ее полезной и для себя.

Можно ли, однако, даже заикнуться о том, что названные авторы, обличая власть тьмы и тьму власти, или свидетельствуя о наличности и «звериного образа» в русском человеке, недостаточно любили Россию и русский народ или не были русскими патриотами?

Не будем приводить сказанного ими. Но вот, ближе к нашим дням, герой нашего современника Бунина, «страшный своими злыми речами» Балашкин «глухо ревет»:

— «Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаева?.. Ох, да есть ли такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят!.. Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мировой паук; не поп лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым»...

Скажут, не Бунин так думает, а его герой, за которого автор не ответственен. Это не имеет значения, если уста Балашкина изрекают истину. Но вот уже не «беллетристика», а интимные записи. Белый пишет (в конце 21-го года): «Россия меня измучила». Блок в письме к матери (апрель 1909 г.) сообщает, что без всякого сожаления покидает «пакостную тупую и кровавую родину». Это почти дословное повторение Глинки, расставшегося с Россией с проклятием: «когда бы мне никогда более этой гадкой страны не видать»... Те же мотивы можно найти у Пушкина, Лермонтова и других. Значит ли это, однако, что они не были патриотами?

Возьмите, с другой сторон, не легко возбудимых и эмоционально настроенных поэтов и беллетристов, а публицистов — и самых видных. Приведем только одно извлечение для иллюстрации — из «Записки о внутреннем состоянии России», представленной Константином Аксаковым вскоре по вступлении на престол Александра II. Там говорилось: «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью... Все объяла ложь, везде обман... Все зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего правительства, угнетательной относительно свободы мнения, свободы нравственной, ибо на свободу политическую и притязаний в России нет».

«Всю гниль правительственной системы, все последствия удушающего принципа» обличали и глава славянофильства С. Т. Аксаков, и западники, Кошелев, Герцен, Чернышевский и их единомышленники. Только глухые и слепые не различали за этими обличениями преданности родине и боли за поруга-ние ее образа. И если в нынешней России не представляют «Записок о внутреннем состоянии России», то, конечно же, не потому, что власть более свободна от пороков николаевской Руси, в частности от бессовестной лжи и обмана, а потому, что русские патриоты внутри России находятся сейчас под не-сравненно большим риском и гнетом, чем 90 лет тому назад. Ведь тирада бунинского героя может быть дополнена и про-должена:

— Блока уморили. Есенина с Маяковским до самоубий-ства довели. Гумилева, Лазаревского, Таганцева, митрополита Вениамина в подвалах порешили. Кокошкина и Шингарева в больнице пристрелили. Бунина, Зайцева, Рахманинова, Шаля-пина, Ипатьева родины лишили. Сотни тысяч изгнанниками сделали. Миллионы в концлагерях сгноили. Сколько миллионов беспризорной детворы наплодили и истребили. Ох, да есть ли еще такая власть в мире, будь она трижды проклята!..

Можно поражаться и даже возмущаться медленным тем-пом морально-политического прогресса вообще и России в частности. Это нимало не опровергает того, что и в России, как и в других странах, обличавшие «самовластительных зло-деев» (выражение Пушкина) всегда вдохновлялись и патри-отизмом, т. е. долгом перед страной и народом, который нару-шали, по их убеждениям, властители.

Праведность сопротивления неправедной власти, вплоть до тираноубийства, раньше других стали доказывать религи-озные авторы, — Фома Аквинский уже во второй половине 13-го века. С 16-го века эта проблема стала ставиться все чаще и светскими писателями. В 18-ом веке и более широкие круги стали противополагать власть стране, короля — народу. Из-вестный французский юрист Д' Агессо восклицал: «Великое королевство, а отечества нет: многочисленный народ, а граж-дан почти нет». Понятие свободы и требование ее стало пред-посылкой отечества. Отечество перестало быть только геогра-фическим обозначением, указанием отличного от других госу-дарственного бытия или, тем менее, национальной исключи-тельности. Оно стало обозначать определенную добродетель, цивическое состояние. Патриотизм стал означать интерес к общему благу и просвещенному законодательству; а патриот

— сторонника хорошего управления, друга свободы и человечества*).

В таком смысле, связанный с идеями универсальности и космополитизма, свободы и гражданства, патриотизм дожил до Французской Революции, чтобы вместе с ней переступить границы Франции и вдохновить и другие народы к освобождению соответствующих стран от отечественных и иноземных поработителей. И в России шел тот же процесс. И там противопоставление интересов страны и народа — правительству, казне, «бюрократии», по славянофильской формуле: «силы мнения» — «силе власти», — стало обычным.

Убийства Петра III или «увенчанного злодея» (Пушкин), Павла, как и принуждение к отречению Николая II были продиктованы в значительной мере мотивами патриотизма. Как иначе объяснить поездку Гучкова с Шульгиным на станцию Дно? Защищая необходимость республиканского правления для России весны 17-го года, Ф. Ф. Кокошкин с предельной отчетливостью формулировал стоявшую тогда альтернативу: «Нельзя одновременно быть с царем и быть с Россией: быть с царем значит быть против России!» Это противопоставление заслуживает тем большего внимания, что сделано оно было выдающимся государствоведом. Элемент патриотизма был «выделен» здесь почти химически**).

---

*) **Oxford English Dictionary** отмечает, что слово «патриот» стало впервые употребляться в конце 17-го века в смысле человека, поддерживающего права страны против короля. К началу 18-го века это слово в Англии было дискредитировано. Маколей ссылается на слова Вальполя о том, что наиболее распространенным заявлением кандидатов на выборах в Англии 1744 г. было то, что они никогда не были и не могли быть патриотами.

Французский автор, Анри Хаузер обнаружил слово «патриот», в современном его понимании уже в 1578 г. в выпущенном во Фландрии памфлете:

"Lettre d'un bon patriote aux bons patriotes". — Ср. очень ценную работу проф. Hans Kohn "The Idea of Nationalism. A Study in its Origins and Background". New York, 1944. Pp. 613, 617 et seq.

**) Аналогичное «выделение» произвел применительно к прошлому России и знаменитый Ключевский, говоря о государстве, которое «пухло», и народе, который «хирел», или, как уже приходилось напоминать в «Нов. Журнале», — что «Петр служил своему русскому отечеству, но служить Петру еще не значило служить России». — Когда, вместо существующего в Америке О-ва друзей Советского

***

Патриотизм вовсе не требует непременно, вместе с любовью к своей стране и народу, и любви к конкретно данной власти. И советский патриотизм изобличает сам себя, свой «инструментальный» подход к проблеме, когда на первый план выдвигает и подчеркивает прежде всего советское начало, власть, режим, которым должен быть предан истинный патриот. Патриотизм может диктовать в разное время поддержку власти и ее свержение. Каждый в своем личном опыте может проверить правильность этого утверждения: из бесчисленных «смен власти» одни были желательны по патриотическим соображениям, другие по тем же соображениям были нежелательны. И одно и то же деяние может быть оправдываемо по мотивам патриотизма, и по мотивам анти-патриотизма.

Соглашение с немцами в Бресте Ленин и его сторонники оправдывали по мотивам чуждым патриотизма. Но соглашение с немцами в том же 18-ом году защищали в целях патриотического свержения большевистской власти и покойные Милюков, Новгородцев и другие кадеты и правые. Наше парадоксальное время знает даже таких патриотов, для которых «сильная власть» и автократия настолько довлеют себе, что в молитвах своих они поминают одновременно и убиенного большевиками помазанника Божия, и «богоустановленную» советскую власть.

Властепослушание, или преклонение пред властью на том основании, что, если она существует и повелевает, значит имеются достаточные к тому основания — религиозные и исторические, — может считаться добродетелью. Но оно во всяком случае не имеет ничего общего с подлинной преданностью интересам своей страны и народа, — Влад. Соловьев называл его «псевдо-патриотическим приспособлением к власти».

Другой вариант — не поглощения всех элементов государства одним, властью, а особо щепетильного и предупредительного к ней отношения, — получил недавно сравнительно широкий резонанс в русской зарубежной печати. Единомышленные с нами патриоты-демократы и, потому, конечно, антибольшевики предостерегают, как бы, целясь в советскую власть, не ударить по народу, — «не задеть чрезвычайно чувствительный нерв любви к отечеству и народной гордости», обнажившийся с войной и победой, «не задеть больно самый

Союза, предлагают образовать О-во друзей русского народа («Нью Йорк Таймс» от 12.5.46), исходят из того же противоположения народа — режиму.

народ и его чрезвычайно повысившееся самолюбие и честолюбие».

Доля правды, содержащаяся в таком опасении — и предостережении, — совершенно отвлеченная. Верно то, что государственная власть — всякая власть, праведная и неправедная, — жизненно слита со страной и населением: что касается власти, так или иначе раньше или позже отражается и на стране. Но на этом и кончается правильность сближения интересов части с интересами целого. Оно настолько общо, что практически лишено смысла. Избежать полностью риска «задеть» население можно лишь путем абсолютного воздержания не только от непослушания, но даже от всякого несогласия с предержащей властью. Ибо всякая даже не борьба, а лишь критика власти в какой-то мере бьет прямо или косвенно — рикошетом — по населению.

Когда Черчиль рекомендовал оппозиции Его Величества воздержаться от одобрения условий займа, заключенного правительством Этли в Америке, и сам от голосования воздержался, это было ударом не только по рабочему правительству, а по интересам Англии, — это показала аргументация американских противников займа «социалистической» Англии. Следует ли отсюда, что Черчиль и парламентская оппозиция должны быть безгласны, когда речь идет о жизненных интересах Англии? Или что Черчиль действовал в данном случае непатриотично и руководился не интересами Англии, как он их понимал, а партийными соображениями? Такого обвинения против Черчиля не выдвигали ведь и в Англии.

Всякое противодействие власти бьет не только по власти и по тем, кто власти противодействует и ее изобличает, — но и по более широким кругам. Это зло может быть, однако, оправдано и искуплено тем благом, которое несет стране иная власть или изменение политики тою же властью. В этом содержание и смысл всякой политической деятельности. Продуманное до конца опасение не задеть болезненные нервы и чувства должно привести неминуемо к принципиальному конформизму и капитуляции перед всякой властью. Не задеть общих со страной интересов — мотив, к которому всегда апеллирует неправедная власть, желая удержать свое водительство и представительство вовне. Играя на патриотизме, она соблазняет и искушает подвластных претерпеть случайные и временные — иногда затягивающиеся на поколения — лишения и примириться с насилием. Кадры противников борьбы с неправедной властью всегда формировались не только из непосредственно заинтересованных в существовании такой власти, но и из кон-

серваторов-«народников», справедливо предвидевших, что низвержение даже самодержавной власти «заденет» и «самый народ».

Чувствительные и обнаженные нервы требуют, конечно, бережного с собой обращения. Но и самое предупредительное к ним отношение не освобождает часто от необходимости лечить не отдельный нерв, а всю нервную систему или даже весь организм в целом. И патриотическое самолюбие и честолюбие может принять патологическую, извращенную форму. На примере освобожденных от тоталитарного тщеславия Италии и Германии можно видеть, как глубоко проникает и как прочно держится в умах и душах подвластного населения умелая, методическая и односторонняя пропаганда. Здесь явно дело не в немцах и итальянцах, а в тоталитаризме. Аналогичное положение создалось сейчас и в советской России, где до 100 миллионов умов и душ, не в течении 12 лет, как в Германии, а почти три десятилетия не видели и не слышали ничего, кроме того, что им дозволяла видеть и слышать прославленная диктатура.

Не хуже благодушных русских эмигрантов понимает, конечно, советская власть, что окрепшее за время войны чувство отталкивания от внешнего насильника способно углубиться или «перерасти» и «переключиться» в отталкивание и от собственных, отечественных угнетателей. Власть на опыте познала, какую громадную силу представляет охватившее широкие массы чувство любви к своему родному и национальному. И каптированная во время сопротивления нашествию патриотическая стихия сейчас направляется по тем же каналам, которые были проложены советской властью в первые годы ее существования, когда идеологически оправдывался анти-патриотизм и действовал Коминтерн. Не считаясь ни с опытом войны, ни с одержанной совместными усилиями победой, ни со своим невероятно возросшим военным потенциалом и дипломатическим престижем, ни с участием в ООН (в деле и советских рук), советская власть и в обращении к «своим» народам, и вовне сейчас вернулась к прежнему взгляду на Россию, как на чудотворный оазис в капиталистической пустыне, или анти-капиталистический бастион, которому враждебен весь мир и который, поэтому, вынужден обеспечить свою безопасность собственными средствами.

Изменилась по сравнению с прошлым лишь тактика. Место более или менее скрытого наступления советской власти при помощи коммунистических филиалов в других странах сейчас занял открытый экспансионизм, — не «буржуазный», конечно,

и не «колониальный», но, как и они, цинично нарушающий чужие права и собственные обещания. Этот экспансионизм и советская дипломатия, и легковерная эмигрантская публицистика пытаются выдать за здоровый русский патриотизм и естественное влечение молодой, полной жизненной энергии и динамизма страны к новым просторам и теплым морям.

***

Патриотизм часто перерождается в национализм и сливается с ним. Но от национализма и самые неуёмные патриоты пытаются откреститься. Возьмите такого невоздержанного пропагандиста советского патриотизма, как заслужившего и шпоры, и лавры, сталинскую премию, — Илью Эренбурга. И он утверждает: «Истинный патриотизм скромен и не имеет ничего общего с национализмом: патриотизм это — братство, а национализм — резня и смерть». Можно спорить, всегда ли патриотизм является братством, — советские патриоты в Париже как будто не слишком по-братски обращаются с русскими патриотами не советского образца.

Возьмите другого писателя, — не сталинского пропагандиста, а апологета духовной свободы Н. А. Бердяева. В «Русском Патриоте», справедливо переименованном позднее в «Советского Патриота», Бердяев высоко оценил патриотизм, который, по его мнению, «в нынешний час истории находится слева, а не справа» и который «есть прежде всего любовь к своей земле и к своему народу, чувство органической связи, готовность не только защищать свою родину от опасности, соглашаясь на жертвы, но и служить осуществлению ее миссии в истории». Вместе с тем Бердяев самым решительным образом осудил «дурной (возможен, очевидно, и благой! — **М. В.**) интернационализм», который сейчас находится, по его мнению, справа. В национализме, по Бердяеву, «есть национальная замкнутость и исключительность, часто вражда к другим народам, при наличии же силы — агрессивность, жажда господства и завоеваний... У больших народов, у сильных государств национализм переходит в империализм, в идею господства над миром. В империалистической воле есть что-то пожирающее».

И Бердяев убеждает — не то власть, не то своего эмигрантского читателя: — «Национализм менее всего к лицу России, великой стране, и русскому народу, в котором не случайно видели всечеловечность!» К сожалению, Сталин не внемлет увещаниям — даже Бердяева — и не считается с тем, что России «к лицу». Он идет своим путем, и на уступки

пришлось пойти самому Бердяеву. Он вынужден был различить виды и формы империализма и найти, что, если советская власть и вступила на путь империализма, это империализм не обычный, националистический, а особый — «социальный», повидимому утративший «пожирающие» черты.

Если, однако, смотреть на советскую внешнюю политику реалистически и открытыми глазами, а не затуманенными тем, что происходило при режиме Виши и господстве Жеребковых, и если вдуматься в то, что творится сейчас на деле именем России, не переоценивая того, что власть заявляет и как она толкует свои деяния, не может быть никакого сомнения в том, что обеспечение жизненных интересов России служит лишь прикрытием для экспансионистской политики коммунистической власти.

Само собою разумеется, советская экспансия 20-го века — не британская 17-го и последующих веков. В ней нет многих отталкивающих черт и элементов капитализма первоначального накопления. Зато в ней имеются другие и новые, но не менее отталкивающие черты, свойственные экспансии всякого тоталитарного государства 20-го века, прикрывающегося идеями экономического раскрепощения и социализма. Империализм — и экспансия — прежнего типа преследовали по преимуществу материальную выгоду и коммерческий интерес. Говорили, правда, и тогда об освободительной «миссии», которую осуществляли передовые народы и различного рода «миссионеры» в колониальных странах. Сейчас, в обладании опытом прошлого и при трезвом, «секуляристическом» подходе к государственным интересам, говорить о миссии — даже социально-экономического порядка только — еще бо́льшее лицемерие.

Запах нефти одинаково раздражает и обоняние советских кругов, и правящих кругов на Западе. Однако, во всех тоталитарных государствах одной материальной выгодой не исчерпывались и не определялись интересы власти, — политику и идеологию власть оценивала выше. И под марксистской вывеской тоталитаризм не составляет в этом отношении исключения: в советской практике интересы политические и идеологические доминируют часто над экономикой — в большом и в малом. Только этим можно объяснить, почему полу-голодная и частично находящаяся на иждивении Соединенных Штатов советская Россия великодушно предоставила Франции 500 тысяч тонн зерна. В советской России нет организационно оформленных групп или классов, которые толкали бы власть на путь экспансии и империализма.

Но это, увы, еще не значит, что и власть чужда желания распространить свое влияние и руководство на объекты, представляющие не материальный интерес, а «стратегический», идеологический или политический.

Советская экспансия направлена во все стороны мира, на запад и на восток, к северу и югу, где путем прямой агрессии или длительной оккупации, где путем насаждения «дружественных» правительств, которые в советском же лексиконе весьма недавно и по всей справедливости именовались «сателлитами». Мерой «дружественности» измеряется и степень, и характер советской агрессивности: она иная в надежных Польше, Югославии, Чехословакии, и иная в Венгрии или Австрии. Если присоединение к советскому союзу ряда территорий еще можно назвать в о с с т а н о в л е н и е м утраченного тою же советской властью, — присоединение Карпато-России (по частному соглашению Сталина с Бенешем) или аннексию Восточной Пруссии (Кенигсберга и его округи) и Тану-Тувской республики, в порядке очередного указа президиума Верховного Совета от 16 октября 45 г. (о распределении избирательных округов для смехотворных «выборов» во 2-ой Верховный Совет 10 февраля сего года), иначе как экспансией никак назвать нельзя.

Советская власть действует где дубьем — или угрозой дубья, — где рублем, чрез свой Внешторг; где открытым захватом, а где способом, испытанным еще четверть века тому назад в Грузии — путем «самоопределения» извне. Все это можно называть и «некоторым округлением границ», и «социальным» империализмом, и другими менее вызывающими или более благозвучными именами. Дело от этого не меняется: многообразие форм, которые может принять экспансия и агрессия, не изменяет ее существа*), особенно, при срав-

*) Головокружению от успехов подвержена не только советская власть. От него страдает иногда и эмигрантское сознание: так, С. Н. Прокопович торжествует по поводу того, что, наконец, освободились от иноземного владычества «все земли, заселенные русским народом еще в XI (одиннадцатом!) веке» («Русские Новости» № 33).

Возникает законный вопрос: если при устроении нового мира Россия имеет права на земли, на которых русский народ жил в XI-ом веке, при Владимире Красном Солнышке, может быть и Греция в праве претендовать на границы Александра Македонского, а Иран — на владения Дария Гистапса?.. Выходящий в Париже «Свободный Голос» не без оснований предвидит, что в недалеком

нении советского империализма с эволюцией классического, британского империализма во время последней войны в отношении к Ирландии, а сейчас — в отношении к Индии и Египту.

Социальная любовь к отечеству, как и личная любовь даже к красоте и истине, может обернуться пристрастием к уродливому и злому. Патриотизм может и возвысить человека, вызывая в нем чувство солидарности, человеколюбия и жертвенности, и унизить его — довести до самоизоляции, привести к разъединению и жертве чужими жизнями и достоянием. В конце 18-го века Шлегель мог утверждать, что «высшее блаженство человеческой души — любовь, а благороднейшая любовь — преданность своему отечеству». Джордж Борроу мог пойти еще дальше и заявить, что «после любви к Богу любовь к отечеству лучше всего предотвращает преступления». В свете пережитого мы точно знаем, что это вовсе не так, а часто — наоборот. Шлегель и Борроу сейчас звучат анахронизмом и наивной утопией. Свое и родное, как и любовь к нему, вовсе не всегда хороши. И не о том нужно спрашивать свое или не свое, а о том, хорошо оно или худо, — наставлял Влад. Соловьев. «Неразумный псевро-патриотизм ...под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма*), т. е. желает ему зла и гибели... Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести. Но такой альтернативы нет».

Влад. Соловьев писал это в самодержавный период русской истории. Он не мог бы напечатать это сейчас, в советский

будущем Молотов «вспомнит, что в 1303 году грузинские войска взяли Иерусалим, или провозгласит, что Скандинавия — вотчина Рюриковичей, а посему должна управляться Сталиным. Развивая эту мысль, легко будет доказать, что сталинские воеводы имеют все права, как наследники варягов, на Нормандию. А далее можно еще вспомнить, что норманы завоевали и Англию».

Как при этом не вспомнить Герцена, мудро предостерегавшего против аппеляции к историческому прошлому, как основанию для «раздробления» больших государств в силу «незаконного роста их», и обратно — против расширения границ и реставрации в силу того, что что-то кому-то когда-то принадлежало.

Крутить фильм истории в обратном направлении, задача — явно неосуществимая, не говоря уже о крайней ее рискованности.

*) Интересно, что и далекий от воззрения Соловьева Спенсер считал, что «патриотизм для нации то же, что эгоизм для индивида».

период русской истории. Это не значит, однако, что написанное и опубликованное им пятьдесят с лишком лет тому назад, не приложимо к нынешней России, прогрессировавшей индустриально и технически, но не политически. Слова Соловьева сейчас звучат как недопустимая крамола не только в советской России, но и для чуткого слуха многих патриотов в эмиграции.

На «пилатовский» вопрос: что есть патриотизм? Соловьев отвечал: «Интерес интересом, но и честь России чего-нибудь да стоит, а эта честь (по русским понятиям) решительно не позволяет делать из мошеннической аферы предмет государственной политики»; правило будто добрая цель оправдывает дурные средства «приписано почему-то иезуитам, но на деле свойственно мошенникам всех орденов и званий».

На политический же вопрос, в его извечной формулировке, — что делать и как быть русским патриотам, пекущимся о благе своей родины, страны и народа, — давно уже ответил Герцен. В минуту тяжких раздумий и политического одиночества он писал: «Мы не монахи, чтобы стоять немыми свидетелями ужасов, совершающихся около нас... Если наш вызов не найдет сочувствия, если в ту темную ночь ни один разумный луч еще не может проникнуть и ни одно отрезвляющее слово не может быть слышно за шумом патриотической оргии, мы останемся одни с нашим протестом, но не оставим его».

Быть сейчас со Сталиным значит не только не быть за международный мир и коллективную безопасность; это значит быть и против России.

28.III.46 **Марк Вишняк**

P. S. — Мне пришлось как-то указать в печати, что искушения, подстерегающие человека, не исчерпываются хлебом, властью и сомнением. И родина, когда ее лишаешься, — особенно на долгий срок и в зрелом возрасте, — может тоже стать легко объектом соблазна и искушений. Один из моих оппонентов из большевистского лагеря усмотрел в этих словах «изрядную долю кощунства, не говоря уже о литературном безвкусии». Не буду с ним спорить ни о вкусе, ни о кощунстве, — его вкусы и мораль, если можно говорить о морали применительно к большевикам, явно не мои. В пояснение читателю — моему и не-моему — скажу только, что, если можно говорить, не кощунствуя, об империализме, как «соблазне для грешного человечества» (я цитирую Н. А. Бер-

дяева), нет оснований, ни логических, ни морально-политических, не говорить о возможности соблазна патриотизмом отдельных «грешников» и целых групп. И это не теоретическое только допущение, а, увы, очень распространенная печальная практика.

Мои взгляды на действительные нужды России встретили неодобрение и на другом крайнем фланге — у патриотов не новейшего большевистского призыва, а исконного «истинно-русского» закала, эпохи чайных «Союза Русского Народа» и «Союза Михаила Архангела». Из Парижа в частном порядке сообщают, что там «бушует русский национализм. Все, что не соответствует победоносному строю мысли объявляется фашистским. В частности, можно услышать, что Вишняк, будучи евреем, психологически не способен слиться с русским национальным движением».

Не стану спорить и с этого рода противниками. С их «движением» я, действительно, никогда не был и не буду способен слиться ни психологически, ни политически. Что остается, однако, непонятным, как это они сами, былые черносотенцы, совмещают привычный им национально-расовый подход с нынешним своим признанием отца отечества Джугашвили, — чтобы не говорить об его зяте Лазаре Кагановиче? И еще, — как объяснить в таком случае факт массового слияния с «русским национальным движением» заграничных попутчиков не-арийцев?

М. В.

РЕАЛИЗМ ДОСТОЕВСКОГО *)

Когда я слышу как Достоевского называют психологом, реалистом и т. д., я сейчас же вспоминаю главу из «Братьев Карамазовых», в которой начинающему сходить с ума Ивану Карамазову с необычайной осязательностью и отчетливостью привиделся черт.

В дни моей молодости полагалось считать Достоевского не только психологом, но и почти психиатром. Были (даже среди ученых докторов) такие энтузиасты этой идеи, что они серьезнейшим образом предлагали обучать студентов психопатологии по романам Достоевского. Очень скоро однако обнаружилось, что Достоевский такой же сомнительный психиатр, как и медик. Как известно, патология Достоевского составлена целиком из двух болезней: нервной горячки и чахотки, часто, впрочем, соединяющихся у того же пациента, например, у Катерины Ивановны Мармеладовой («Преступление и Наказание»). Излишне упоминать, что нервная горячка Достоевского только им одним и описана в медицинской литературе. Она представляет собой некоторую смесь истерии, брюшного тифа и воспаления мозга, — смесь конечно теоретически возможную, но кажется до сих пор не наблюдавшуюся.

Иван Карамазов, в упомянутой выше главе, тоже был «в нервной горячке». Правда, болезнь эта проявлялась у него несколько иначе, чем например у Полины в «Игроке» или у Настасии Филипповны в «Идиоте». Обе эти дамы, как известно, проявляли свою нервную горячку бросанием в людей и в неодушевленные предметы больших пачек бумажных или металлических денег. Полина бросила в голову игрока 200.000 серебряных и золотых талеров и «фридрихсдоров», а Настасья Филипповна швырнула в непотухший камин 100.000 бумажных рублей, завернутых в газетную бумагу. Иван Карамазов, хотя и был в нервной горячке, но таких денежных экстравагантностей не проделывал. Конечно, без швыряния предметов все таки не обошлось: в конце главы пациент бросил в привидевшегося ему черта стакан воды и хотя, по уверению Ивана стакан этот угодил в пустое место,

*) Глава из неизданной книги «Палимпсест».

а по свидетельству Алеши и вовсе никуда не сдвинулся с своего места, — но акт швыряния, хотя бы и воображаемый, все же совершился. Кроме того, у Ивана Карамазова как и полагается по психопатологии Достоевского, очень болела голова и он, чтобы смягчить боль, обвязал себе лоб мокрым полотенцем. То-же делал в больнице и его полубрат Смердяков, очевидно также подверженный нервной горячке.

Иван лежал на диване обвязанный мокрым полотенцем и вдруг он увидел, что на стуле против него сидит кто-то. Ничего загадочного и необычайного в этом мирно сидевшем на стуле посетителе не было. Достоевский подробно и, можно сказать, очень натуралистически описывает как выглядел гость и как он был одет. По внешности это был благородный приживальщик из обедневших помещиков, с несовсем еще испарившимися, но уже трогательно беспомощными претензиями на барство. Достоевский не забывает добавить, что посетитель был уже не первой молодости, что ему вероятно перевалило уже за сорок лет. Отмечается также, что костюм на посетителе был хотя и от хорошего портного, но чуточку уже вышедший из моды, что перстень на его руке был недорогой, и что мягкая пуховая шляпа, которую он, как полагалось порядочному человеку, благовоспитанно держал в руках, была такая, которую уже сейчас настоящие джентльмены больше не носят. Кажется нельзя проявить большего натурализма в описании действующего лица. Читая эту вступительную часть главы, вы не менее ясно и реально чем сам Иван видите его гостя, принадлежавшего к тому же к самой распространенной в эту эпоху разновидности русского культурного человека. Кто же в 60-ые и 70-ые годы прошлого столетия не встречал таких промотавшихся дворян с недорогими опаловыми перстнями на руках, с мягкими пуховыми шляпами, какие перестали уже носить, с вполне еще по ядочными манерами, но с готовым уже каждую минуту пошатнуться собственным достоинством?

При первом взгляде на сидевшего перед Иваном гостя, каждый из нас мог бы воскликнуть: «Боже мой, да я точно такого знаю. Ни дать, ни взять Сергей Ипполитович, или Владимир Порфирьевич». И конечно описываемый Достоевским посетитель необычайно, фотографически похож и на Сергея Ипполитовича, и на Владимира Порфирьевича, и на Игоря Константиновича, и на многих еще старинных добрых знакомых. Дело в том, что перед Иваном Карамазовым сидел на стуле тот самый пресловутый собирательный т и п, о котором так много говорится в теории словесности. В этом смы-

сле гость Ивана Карамазова необычайно близко подходит к Чичикову, Собакевичу, Манилову и всем прочим, хотя и собирательным, но тем более реальным и жизненным Гоголевским персонажам. Я даже сказал бы, что когда у Толстого описывается старый князь Болконский или Платон Каратаев, реализма получается не больше чем в горячечном якобы видении Ивана Карамазова. Вот разве только что мы чувствуем острый стариковский отзывающий табаком запах старого князя Николая Андреевича и «круглый» запах потных ног Каратаева, — а как пахнет посетитель Ивана Карамазова, нам не рассказано. Но ведь и у Гоголя запах его действующих лиц автором не всегда описывается и это не мешает гоголевским героям обладать самой полновесной реальностью.

У Достоевского есть другая глава в другом романе (а именно, в «Преступлении и Наказании»), где другой его герой также внезапно находит перед собой неизвестно откуда явившегося гостя. Герой этот, — Родион Романович Раскольников, который, проснувшись после горячечного кошмара, в своей нищенской каморке, на Шестилавочной, вдруг видит перед собой неизвестно каким образом попавшего к нему незнакомого человека — Свидригайлова. Человек этот, как и гость Ивана Карамазова, необычайно реальная бытовая фигура, очень русская и очень помещичья. Конечно, Свидригайловых меньше чем просто промотавшихся приживальщиков. Но каждый из нас Свидригайловых видел и встречал и знает, как они избавляются от своих жен, сколачивают себе капиталец, развратничают, кощунственно философствуют и иногда, самым неожиданным образом, пускают себе пулю в лоб. Я сказал бы, что несмотря на эту реальность, Свидригайлов все-же как будто призрачнее сидящего перед Иваном Карамазовым гостя. Мережковский проницательно отмечает, что Свидригайлов как бы возникает из сонного видения и обратно уходит в этот сон. К тому же Свидригайлова никак нельзя назвать нормальным, здоровым человеком. Он постоянно находится на той грани, откуда путь ведет либо в потустороннее, либо в психиатрическую больницу. К нему запросто являются умершие люди, например, запоротый им казачек Филька или покойная его жена Марфа Ивановна, от которой он тоже избавился не совсем общепринятым способом. В сравнении с таким персонажем, скромный гость Ивана Карамазова самая будничная каждодневная фигура, во всех отношениях свой человек.

И вдруг оказывается, что этот милый, разорившийся барин в несовсем свежем костюме — не более не менее, как

черт. Не самый главный, монументальный Сатана, но один из его столь же потусторонних подчиненных. Вернее всего — простая галлюцинация самого Ивана Карамазова. Но где грань между галлюцинацией и тем светом? Ведь любит же повторять сам Достоевский, что только больной человек с расстроенным мозгом может заглянуть в потустороннее.

После такого пассажа поневоле усомнишься во всяком реализме и начнешь высматривать хвост под сюртуком каждого действующего лица. Начнешь спрашивать себя: а террорист Петр Степанович Верховенский в «Бесах», а капитан Лебядкин, в том же романе (который и в армии никогда не служил), а жидок Лямшин (который кажется никогда не был евреем), а убийца с голубиной душой Эркель, а провозвестник человека-бога Кириллов — у которого столькому выучился Ницше, а фурьерист ростовщик Липутин, — реальны ли, земные ли это люди, или нечто нездешнее, потустороннее? С виду «слишком даже реальные», как сказал бы на своем языке сам Достоевский. Но мы, теперь, после казуса с приживальщиком — пуганные вороны. Нас больше на мякине не проведешь, мы наровим все сначала ощупать собственными пальцами, чтобы не принять привидение за соседа. И вот, что то начинает происходить в созданной Достоевским реальности. Благодаря уроку, вынесенному из видения Ивана Карамазова, мы начинаем находить в каждом герое Достоевского странные черты, несуразные черты, прямо сказать, нечеловеческие черты. Где, например, видано, чтобы четырнадцатилетняя девочка мечтала распять ребенка, отрезать ему пальчики, а потом усесться перед ним и, глядя на него, есть ананасный компот? О такой своей чудовищной грезе рассказывает якобы реальная Лиза Хохлакова, якобы реальному Алеше Карамазову в якобы реалистическом романе «Братья Карамазовы».

Иван Карамазов, который, можно сказать, собаку съел во всякой чертовщине, называет Лизу Хохлакову «бесенком». Он со злобой комкает и выбрасывает ее записку, в которой этот четырнадцатилетний «бесенок» якобы предлагает стать его любовницей.

Не все обстоит благополучно и с реальностью Димитрия Карамазова, хотя Достоевский изо всех сил хлопочет, чтобы убедить нас в полной натуральности этого отставного армейского поручика. Но присмотришься поближе и видишь, что Митя ни в чем и нигде не ведет себя как реальный отставной поручик и вообще как натуральный человек. Эта его полная

неестественность настолько бьет в глаза, что на нее даже указывает на суде простодушный немецкий доктор Герценштубе. По его словам, подсудимый плачет, когда надо смеяться, и смеется когда надо плакать. Правда, эту ненормальность реакций, Митя, по мнению доктора Геценштубе, разделяет с большинством русских людей. Но это как будто только лишний раз доказывает «фантастичность» русского человека вообще, о которой так часто и так охотно говорит Достоевский и в художественных и в публицистических своих писаниях. В залу суда Митя тоже входит неестественно, — не как живой человек, а скорее как заводной манекен. Он идет большими шагами, ни на кого не глядя, уперев глаза в какую то несуществующую, надо думать метафизическую точку. А ведь «ему следовало бы смотреть на своих судей, от которых зависит его участь», замечает вполне резонно недалекий «божий человек» Герценштубе.

Кстати и реальность этого «Божьего человека» тоже не внушает доверия. Добрый ограниченный немец со своей тупой методичностью явно изготовлен по трафарету. В нем конечно есть живые черты, роднящие его например с описанным в «Детстве и Отрочестве» Толстого, немецким дядькой Николеньки и Володи, Карлом Ивановичем. Но Карл Иванович — подлинный человек, а Герценштубе — трогательная карикатура. На этом примере особенно ярко видна разница между начинающим 24-х летним Толстым и находящимся в расцвете своей писательской силы, почти 60-ти летним Достоевским. У Толстого все нам близко, понятно и знакомо. Мы могли бы свободно ами жить в его романах, и при этом не почувствовали бы себя совершенно непрошенными гостями в этом Толстовском мире, так изумительно схожим с нашим собственным. Мы и к смешному и жалкому Карлу Ивановичу относимся не как к каррикатурному немцу, а как к близкому домашнему человеку. Мы на него обижаемся как Николенька, и подтруниваем над ним как Николенька и жалеем его как Николенька. А вот «божий человек» Герценштубе — «какой то там моравский брат или гернгутер» никогда не станет для нас близким домашним человеком, а навсегда останется трогательной и смешной каррикатурой на немца. И когда Митя кричит ему на суде: «и теперь плачу немец, и теперь плачу, Божий ты человек» — этот растроганный крик предполагаемого отцеубийцы очень конечно эффектный литературный прием, но он не делает живым ни самого Митю, ни обласкавшего его в детстве Герценштубе.

Еще печальнее обстоит дело с реальностью самого Ивана Карамазова. Любопытно, что когда он разговаривает со своей галлюцинацией, т. е. с тем очаровательным приживальщиком, которого мы должны считать чортом и которого сам Иван Карамазов почему то все время ругает дураком и лакеем — любопытно, что во время этого разговора якобы живого действующего лица с якобы призрачным его собеседником, галлюцинация оказывается гораздо реальнее и жизненнее галлюцинирующего. Что мы, собственно говоря, знаем про Ивана? Что он сочинил поэму о Великом Инквизиторе, выдуманную Достоевским? Что он не согласился построить будущей гармонии мира на слезках замученного ребенка? Что он очень глубокомысленно и парадоксально разговаривает с отцом Паисием и отцом Иосифом за столом у старца Зосимы? Боже мой, да мы никогда не сомневались, что Достоевский изумительный мыслитель, вероятно, самый глубокий и оригинальный русский мыслитель и что если он начнет выдумывать философские поэмы и легенды, то эти поэмы и легенды будут не менее содержательны и значительны, чем например мифы Платона. Но ведь роль то Ивана Карамазова во всем этом совершенно такая же, как участие грамофонной пластинки в записанной на ней мысли. Ни легенда о Великом Инквизиторе, ни знаменитый Ницшевский диалог с Алешей в трактире не показывают нам Ивана Карамазова и не убеждают нас в его реальности. Вне-же этих двух разговоров, да еще зажигательного обмена мыслями в трапезной монастыря и в келье отца Зосимы, Иван только и делает что ругается. Он ругает привидевшегося ему черта дураком и лакеем, а полу-брата своего Павла Федоровича Смердякова — лакеем и бульонщиком. Читателю приходится принимать на веру, что эти пренебрежительные оценки суть результаты и доказательства духовного превосходства Ивана над обруганными персонажами. Должен откровенно сознаться, что я этого превосходства не вижу. То, что говорит черт, в своем роде не менее замечательно чем «легенда о Великом Инквизиторе». В смысле глубины мысли как будто даже получается перевес в сторону черта (напомню хотя бы о мгновении райского озарения, из за которого стоит пройти путь в квадрильон квадрильонов верст). Еще страннее и конфузнее казус со Смердяковым. Иван Карамазов так усиленно и систематически бранил этого Смердякова лакеем и бульонщиком, что ему поверили все критики и комментаторы Достоевского. То-есть, конечно Смердяков действительно был в романе лакеем и бульонщиком, так как служил поваром у своего незаконного отца Федора Павловича

Карамазова*). Но разумеется Иван, ругая своего полу-брата, имел в виду не эту профессиональную его характеристику, а так сказать, внутреннюю его оценку. Повторяю, все решительно поверили на слово Ивану Карамазову и никому не пришло в голову, что из всех персонажей романа именно в бульонщика Смердякова вложены автором самые близкие и дорогие ему реальные черты. Во всем романе один только Смердяков настолько крепко связал свою личную жизнь с идеей, что когда эта владевшая им идея оказалась в его глазах несостоятельной, он не стал гнаться за приманками и очарованиями жизни, а решительно и без всякой театральности покончил с собой. В романе есть изумительная сцена, которую ни один загипнотизированный ругательствами Ивана читатель, конечно, не оценил и не понял. Сцена эта изображает духовную победу Смердякова над Иваном. Дело происходит на квартире у Марии Игнатьевны, где Смердяков, разочаровавшись уже в своей идее, читает Ефрема Сирина и готовится к самоубийству. Иван, когда то учивший Смердякова, что «все позволено», и почти сознательно внушивший ему мысль об убийстве отца, теперь хочет доказать самому себе, что он неповинен в этом убийстве, потому что Федора Павловича убил не подученный им Смердяков, а неистовый Дмитрий. В разговоре между братьями Иван оказывается совершенно подавленным духовным превосходством Смердякова. Бульонщик видит и понимает все что делается с Иваном, и хотя и без показного высокомерия, дает ему почувствовать свое просветленное пренебрежение к шатающейся душе брата. Повторяю, на протяжении всей этой изумительной сцены, духовное первенство остается все время за Смердяковым, и Иван кажется жалким и растерянным рядом с приготовившимся уже к последней расплате бульонщиком.

Все это разумеется не доказывает, что Смердяков живой и реальный человек. Как на всех почти персонажах Достоевского на нем наложен густой бытовой грим. Он не только лакей и бульонщик, он еще поет тенорком, под гитару почти неправдоподобно пошлый романс:

Непобедимой силой
Привержен я к милой.

*) «Употреблялся же в поварах», как говорит на своем неожиданном языке. Достоевский, тут же прибавляя, что ему «совестно столь долго отвлекать внимание моего читателя на столь обыкновенных лакеев

Господи помилуй
Ее и меня, ее и меня, ее и меня.

Это уже не Иван Карамазов уничижает Смердякова, это уже рассказывает сам Достоевский, густо накладывая бытовой грим на свою марионетку.

Достоевский, для придания жизненности своим целиком вымышленным героям, вообще любит прибегать к двум приемам: бытовому гриму и каррикатуре. Каррикатурна мать Лизы Хохлаковой в «Братьях Карамазовых». Каррикатурен никогда в армии не служивший капитан Лебядкин в «Бесах», следующим образом выражающий в стихах свою влюбленность в Лизу Тушину.

Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната
И вновь заплакал горькой мукой
По Севастополю безрукий.

или

И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок,
Улыбается с лошади мне
Аристократический ребенок.

Каков бы ни был выдуманный Достоевским капитан Лебядкин, но если бы он был живым человеком, а не горячечным видением, он конечно не мог бы написать этих явно и грубо для потехи сочиненных, чудовищных по своей безвкусице стихов.

А что сказать про жену генерала Епанчина (в «Идиоте»), которая стремительно увлекая князя Мышкина по алее Павловского парка, внезапно спрашивает его: «Кто это кричит? Ах это я сама кричу».

Эпизод, по комическому эффекту конечно чрезвычайно удачный, и Зощенко наверное позавидовал бы юмористическому выверту Достоевского (кстати сказать очень частому у этого неисчерпаемого по изобилию литературных эффектов писателя). Но назвать этот анекдот правдоподобным можно только в силу слепой веры в несуществующий реализм Достоевского.

Каррикатурен помещик Максимов в «Братьях Карамазо-

вых», у которого первая жена была хромая, а вторая даже черезчур легконогая, так что убежала от него с ремонтером, предварительно переписав на свое имя его деревеньку. Карикатурен старый князь в «Подростке». Карикатурен Фома Опискин в «Селе Степанчикове». Карикатурен студент Разумихин в «Преступлении и Наказании». Карикатурен поручик Келер в «Идиоте», тоже поэт вроде капитана Лебядкина. У Достоевского, как у Уолта Диснея, самые забавные и живые персонажи сплошь нарисованные. От них читателю весело, смешно и занимательно, и благодаря их ужимкам и словечкам, ему кажется, что он находится в знакомом ему, реальном повседневном мире. Достоевский может быть и сам верит в реальность этого нарисованного им смешного и занимательного мира. А если он даже и не совсем верит в эту реальность, то ему все таки приятно упражнять и демонстрировать самому себе свою изобразительную силу, чувствовать что он может и рассмешить читателя и завладеть его вниманием. «Конечно я пишу хуже Тургенева — писал Достоевский до эпохи полного своего признания — но ведь не настолько же хуже, что мне можно платить сто рублей за лист, а ему надо платить тысячу». Любопытно, что Достоевский был прав в этом своем уничижении. Он действительно, в некоторых отношениях, всегда писал хуже Тургенева и уж, конечно, гораздо хуже Толстого. В его писаниях никогда не было такой ровности и такого отсутствия безвкусицы, как у Тургенева, и у него никогда не было той полноты и насыщенности реализма, как у Толстого. Говоря любимыми словечками Достоевского — он очень часто «срывался» и «брендил». Тургенев, кажется, вообще ни разу в своей жизни не «сбрендил», а Толстому, хотя и приходилось срываться и вылетать за пределы «чистого искусства», но до явной безвкусицы, как у Достоевского, он кажется никогда не доходил.

Чтобы оживить своих нарисованных человечков, Достоевский, помимо каррикатуры, любил пользоваться бытовым гримом.

Все почти персонажи Достоевского говорят ядреным бытовым языком. Даже интеллигенты, не говоря уже о Лебядкиных, Липутиных, Мармеладовых. Из этого факта поспешили сделать заключение, что Достоевский не только реалист, но и бытовик.

Между тем, из записных книжек Достоевского известно, что он неустанно и любовно записывал поразившие его словечки и обороты и потом вкладывал их в уста своих персонажей. Для чего? Разумеется для того, чтобы придать

жизненность, правдоподобность и занимательность персонажам своего кукольного театра. Особенно много таких словесных сокровищ накопил он на каторге. Там он записал знаменитое: «сдал книги и колокола и церковные дела», обозначавшее: я бежал с каторги. Там же он записал и начало каторжной эпопеи: «В воскресенье натрескался пирога как Мартын мыла, в понедельник подождал, во вторник повременил и т. д.». Обе эти щеголеватые тирады он вкладывает в уста Федьке Каторжному в «Бесах». Значит ли это, что Федька Каторжный списан с натуры, что он такой же живой, настоящий человек, как например, Долохов у Толстого?

Здесь лучше всего поставить вопросительный знак. И прибавить, во избежание недоразумений и кривотолков, что то, что мы говорим, нисколько не может умалить величие Достоевского, гениальнейшего писателя нашей эпохи. Ни один писатель не подрядился воспроизводить в своих сочинениях реальных людей или реальную психологию. Если бы такова была основная обязанность писателей, то ни Шекспир, ни Софокл, ни Еврипид этой обязанности не выполнили. Что то мне не приходилось встречать в жизни королей Лиров, Гамлетов и даже лордов и лэди Макбет. И разве не прав Толстой, когда он пренебрежительно заявляет, что у Шекспира все невероятно преувеличено? В самом деле, кто же когда нибудь говорит: «дуй ветер, дуй, пока не лопнут щеки»; или: «мир сорвался с петель» и т. д. Ни одно действующее лицо у Толстого так не выражается. Умаляется ли от этого обаяние Шекспира, величие Шекспира?

В писаниях Достоевского много замечательных признаний и полупризнаний, относящихся к реализму в литературе: Федор Павлович в «Братьях Карамазовых» без стеснения и обиняков говорит о призрачности своего собственного сына, Ивана Федоровича: «Иван не наш человек, эти люди как Иван, это брат не наши люди. Это пыль поднявшаяся. Подует ветер и пыль пройдет».

А вот что говорит г-жа Хохлакова о том же Иване и бывшей невесте его, Катерине Ивановне: «И если бы вы только поверили, что между ними теперь происходит — то это ужасно, это я вам скажу надрыв, это ужасная сказка, которой поверить ни за что нельзя».

Толстой не любит Шекспира за то, что герои его слишком много декламируют. Но вот что говорит про себя Митя Карамазов в главе «Исповедь горячего сердца»:

«Что в том, что человек капельку декламирует? Разве я не декламирую? А ведь искренно же я, искренно».

Наконец, глубочайшие намеки и даже более чем намеки на подлинное понимание Достоевским реальности и реализма можно найти в двух изумительных замечаниях привидившегося Ивану чорта, в «Братьях Карамазовых. Вот эти два отрывка:

«Слушай: в снах и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такой интригой с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит».

«Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает в роде чего то, как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм».

***

Палимпсестом называется рукопись, картина или фреска, на которой древние, строгие письмена или очертания прикрыты впоследствии нанесенным новым текстом или новым рисунком, обыкновенно более доступным толпе и восхищающим ее.

Если рассматривать только верхний слой Достоевского, никак не поймешь многих его несуразностей, промахов, безвкусиц, всех его ошибок, которые иногда превращают его во второстепенного и даже третьестепенного литератора. Писания Достоевского — палимпсест, как и его пресловутый реализм, психология и бытовые герои.

Леонид Галич

ИСКУССТВО НА ОСТРОВАХ ОКЕАНИИ

За годы войны в Америке наметился своего рода ренессанс, если не в искусстве самой страны, то во все увеличивающемся интересе к искусству других стран. Громадные потери, которые несло искусство Европы, побудили американцев устроить специальные «спасательные комиссии» и вывезти сюда из Европы на временное хранение большое количество художественных произведений. Гугенгейм предполагает построить в Нью Йорке специальное «ультра современное» здание для самой большой в мире коллекции абстрактного и беспредметного искусства. А. Тэйлор, директор «Мэтрополитэн Музея» в Нью Йорке, собирает фонды на устройство дополнительных зданий для быстро разростающихся коллекций музея.

Война на Тихом Океане, также разрушившая и погубившая безвозвратно не мало ценностей, возродила интерес к искусству народов Океании. Отражением этого интереса явилась замечательная выставка, на подготовку которой Museum of Modern Art (New York) затратил полтора года интенсивного труда. Из мало посещаемых и мало кому известных музеев естественной истории, рассеянных по всей Америке, позаимствованы и собраны для этой выставки чудесные, до сих пор никому кроме специалистов-этнографов неизвестные, произведения искусства многочисленных племен, населяющих острова и архипелаги Тихого Океана — Меланезию (Новая Каледония, Новая Гвинея, Новые Гибриды, и др.), Микронезию и Полинезию (Новая Зеландия, Гаваи, Остров Пасхи) и Австралию. Познание творчества этих народов представляет сложную задачу. Завоевание этой части земного шара белыми пришельцами в середине прошлого века уничтожило здесь большую часть художественных и культурных ценностей. Работа миссионеров во многих местах привела к гибели ряда религиозных памятников. Появление консервных банок убило выделку глиняной посуды с ее интереснейшей серией декоративных узоров. На месте туземных построек для религиозных сборищ, с их своеобразной утварью, выросли христианские часовенки. Мировая война многое довершила, когда на кострах из резных идолов грели пищу отряды голодных солдат. Серьезных обобщающих трудов, посвящен-

ных творчеству народов Океании, не существует. Есть отдельные монографии и лишь в 1947 г. ожидается выход в свет работы на эту тему профессора Вингерта.

Со всеми этими затруднениями встретились и организаторы выставки при систематизации экспонатов. В том окончательном виде, как эти экспонаты распределены теперь на выставке Дарнонкуром и его помощниками, Океания разделена на 4 зоны с подразделением на 20 районов. Первая из этих зон, Микронезия, отнесена к художественной группе, в которой натуральные формы упрощаются, а декоративные узоры выростают из функций предмета. Во второй, Полинезии, естественные формы геометризованы, и поверхность покрыта сложной орнаментацией. В третьей группе, куда включены острова Меланезии, натуральные контуры и величины деформируются и украшаются закругленными и спиральными узорами. Австралия отнесена к четвертой группе, со своим более древним и более самобытным искусством.

Характерной чертой творчества всех племен Океании является его религиозно-социальный характер. Почти все произведения искусства (идолы, маски, амулеты) создаются для религиозных церемоний, около которых сосредоточивается быт. Все их художественные произведения отличаются сильно выраженной декоративностью. Таково творчество в районе Массим (на юго-востоке Новой Гвинеи), где главным декоративным мотивом служит открытая спираль, необычайно тонкая и изящная. Красота исполнения этой спирали не превзойдена, кажется, нигде.

Хотя англичане уже довольно давно появились на австралийском материке, темнокожие аборигены Австралии до сих пор считаются не только самыми примитивными из всех народов Океании, но и вообще на всем земном шаре, а некоторыми учеными причисляются к категории наиболее близкой к доисторическому человеку. Но в то же время они единственные из всех народов Океании, у которых имеется чистая живопись. На больших кусках рыжеватой коры, представляющих собой нечто вроде досок, из которых строились хижины, туземцы рисуют рыбу, кенгуру, своего бога Мормо, пользуясь для этого четырьмя красками. Рисунки исполнены очень натуралистично, но плоскостно, причем поверхность рыбы рисуется вместе с внутренним хребтом и костьми. Пропорции и соотношения масс и линий очень гармоничны и художественны. Австралийцы рисуют также на скалах и на земле. Очищенное и увлажненное пространство, приблизительно 6 футов в диаметре, покрывается желтой и красной

охрой. На этом фоне выводятся всевозможные концентрические и змееобразные узоры. Другой своеобразной чертой австралийского творчества являются орнаменты большой слаженности и силы выражения, вырезанные на стволах деревьев и служащие для религиозных церемоний.

Ближайшим соседом Австралии в Меланезии является о. Новая Гвинея, второй по величине остров на земном шаре. В 1871 году этот остров посетил русский мореплаватель Н. Н. Миклухо-Маклай. Он прожил там несколько лет, изучая нравы и быт дикарей. Его воспоминания, чисто этнографического характера, чрезвычайно интересны для антропологов; историк же искусства найдет в них немного: всего лишь в одном месте говорится, что: «художественные произведения туземцев очень интересны, для изучения искусства, стоящего на уровне каменного века». Вся духовная жизнь построена здесь на анимизме. Почти повсюду существуют так называемые «мужские клубы» — нечто среднее между церковью и местом для сборищ. Большинство художественных произведений делается для религиозных церемоний и хранится в этих клубах. В районе западной Гвинеи, где сохранились следы индонезийского влияния, выделывают весьма примечательные не большие скульптуры — «коровары» - обиталища духов умерших предков. Это довольно неуклюжие деревянные фигуры сидящих людей с высоко поднятыми коленами, большими головами, часто в остроконечных шляпах, и необычайно крупными носами.

Так называемый «носовой комплекс» широко распространен в произведениях туземцев, заселяющих долину реки Сепик, на севере Новой Гвинеи. Нос напоминает собою то птичий клюв, то хобот слона. Туземцы, живущие у устья реки Сепик, выделывают из дерева довольно крупные фигуры, олицетворяющие предков. Их тонкий нос часто превращается в длинный клюв, переходящий в фаллический символ. Племена же, живущие выше по берегам реки, вырезывают из дерева также и маски и щиты с человеческими носами, самых разнообразных форм и размеров, раскрашивая их в разные цвета и украшая их раковинами или самыми обыкновенными костяными европейскими пуговицами. Происхождение и смысл «носового комплекса» в точности не установлены. Эти произведения очень живо напоминают собою творения сюрреалистов; они представляют и для последователей Фрейда интересное поле изысканий.

У берегов Папуаского залива жители живут в больших селениях. Религиозный быт их отличается пышными церемо-

ниями «Неваэ», которые подготовляются многие годы. Цикл празднеств начинается с постройки большого храма Эраво.

Внутренний вид этих храмов полон своеобразной таинственности. Путешественники сравнивали их с готическими соборами. Некоторые маски, украшающие храмы, достигают огромных размеров. Эти овальные маски, «Хэваэ», сделанные в честь различных духов, бывают длиной в 14 футов и более; их делают из бамбуковой рамы с нашитой материей «Тапа», которую вырабатывают из древесной коры; на материю нашиты сложные узоры из разноцветной древесной коры. После праздников маски сжигаются, храм забрасывается, и все начинается сызнова, на следующий период в 5-20 лет. Когда последняя экспедиция антропологов побывала на этих берегах двенадцать лет тому назад, она нашла там в трех местах приготовления к церемониям, из которых один цикл длился уже 18 лет!

В районе пролива Торреса, соединяющего Новую Гвинею с Австралией, жители выделывают изящно гравированные наконечники стрел и маски из спинной раковины черепах. Этих масок сохранилось немного; самая примечательная из них находится в Британском музее в Лондоне. Она напоминает лицо Людовика XI и интересна тем, что в ней есть уже начало моделировки.

Жители Новой Ирландии отдают свой досуг, главным образом, церемониям «Малаган» — своего рода панихидам в честь умерших предков. Для этих празднеств выделывается несметное количество различных предметов, преимущественно масок со своеобразными пестро раскрашенными головами. Вещи эти выделываются скульпторами-профессионалами, внимание которых направлено, главным образом, на то, чтобы придать новую форму старым традиционным узорам. Благодаря этому, искусство новых ирландцев очень богато своеобразными деталями.

В южной части Новой Ирландии в хижину только что умершего человека вносились фигуры, высеченные из мягкого камня и ярко раскрашенные. Они как будто заменяли усопшего. Но каменная скульптура, вообще, большая редкость на Тихом Океане.

Искусство Новой Каледонии характерно, главным образом, наличием большого количества деревянных архитектурных изделий. Туземцы живут в круглых деревянных домах, крытых соломой, украшенных выточенными семейными «гербами» и иглами». У входа в дом ставятся «талэ» — большие доски с барельефным человеческим лицом в верхней части; их

нижняя часть заполняется выпуклыми геометрическими узорами, выкрашенными в красную и черную краску. Около «талэ» ставятся маленькие столбики с человеческой головой. Над вхором в дом помещается большая тяжелая балка, вся в резных разводах. Благодаря этому внешнему убранству жилищ, Ново-Каледонский пейзаж необычайно живописен и красочен.

Каледонийцы выделывают также дубинки, фигуры предков, стрелы и особенные громадные гребни.

Вулканические острова и атоллы Микронезии рассыпаны по Тихому океану словно бисер. Их жители много плавают среди островов своего архипелага, и поэтому главные усилия их художественного воображения уходят на украшение пирог. Они покрывают свои ладьи не сложными, но изящными узорами. У этих племен нет ни храмов, ни священных изображений, ни священников. Мифология их не богата.

На островах Фиджи, где сталкиваются полинезийские и меланезийские влияния, выделывают деревянную и глиняную посуду — явление вообще редкое у тихоокеанских народов. Разнообразная утварь украшена нарезами геометрических форм. Главари небольших племен делят свое время между бесчисленными свадебными торжествами (у некоторых туземцев бывает до двадцати жен) и постоянными битвами с соседями. Для вооруженных походов они пользуются разнообразными дубинками. Их много собрано на выставке, — в форме лотуса, коротких, плоских, крючковатых.

К Полинезии относятся острова Маркиз. Это на них побывал в 1804 году русский путешественник. Ив. Фед. Крузенштерн, издавший по возвращении в Петербург «Атлас Южного Моря». Жители этих островов живут небольшими кланами. Считают, что когда-то они были людоедами. Они искусные архитекторы и строят свои жилища на каменных квадратных платформах, украшая их вырезанными из дерева человеческими фигурами. В скульптуре у них, вообще, преобладает человек. Их дубинки часто заканчиваются человеческой головой, которая встречается и на серьгах и на ручках вееров и на подножках ходуль, до которых они большие охотники. Они выделывают очень изящные «паеки», небольшие черепаховые пластинки исключительного изящества, с гравированными на них человеческими фигурами. Эти паеки носятся над глазами для защиты от солнца.

Остров Пасхи давно уже привлекал исследователей. На этом таинственном острове туземцы чтут Бога-Птицу Маке-

макэ, олицетворением которого на земле ежегодно является человек, первым нашедший весною яйца морской черной ласточки. Остров Пасхи — это остров огромных каменных изваяний, огромных уродливых человеческих голов. Они выделывались из мягкого вулканического камня и весят до тридцати тонн. Копия одной такой головы встречает своим таинственным взором посетителя выставки в Нью Йорке. Эти огромные скульптуры неизвестного назначения, разбросанные по всему острову, загадочно смотрят на сплошь татуированных туземцев, пляшущих перед ними и размахивающих длинными танцевальными жердями. Дерева на этом острове почти нет, богачами считаются те, кто носит «кавакавы», — небольшие длинные тонкие деревянные фигурки мужчин с выдающимися ребрами. Женские изображения — «паапаи» — на редкость уродливы, плоски, но великолепно полированы. В этих небольших скульптурах «живут» души умерших предков. Этот странный народ — единственное дикое племя Океании, у которого найдены следы письменности. На небольших дощечках обнаружены знаки, которые остаются, однако, до сих пор не расшифрованными, и сами туземцы потеряли ключ к ним.

К Полинезии относится также и искусство Новой Зеландии и Гавайских островов. Но обе эти культуры давно уже изучались и этнографами и историками искусства, и поэтому мы оставим их в стороне. В нашем кратком обзоре мы намеренно не коснулись также и образцов творчества Индонезии (Суматра, Ява, Борнео), ибо тут искусство выходит уже за пределы первобытного творчества, представляя переход к сложному и богатому искусству азиатского материка.

Выставка в Музее Современного Искусства дала сейчас толчок изысканиям, которые поведут к новым теориям эволюции художественного творчества. Примитивные туземцы Океании, материальная культура которых до сих пор остается на уровне каменного века, в своей художественной культуре стоят очень высоко. На основании употребляемых туземцами декоративных и художественных приемов возможно изучение эволюции различных художественных форм на протяжении веков.

У этих примитивов чувство фантастического так развито, что даже основываясь на очень поверхностном изучении их творчества, художники-фантасты и сюрреалисты нашего времени и нашей культуры начали оправдывать свое творчество, как выражение вечного в человеческой природе.

Вера Коварская

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 40-Х ГОДОВ

Потребность вернуться при характеристике советского общества к подразделению общественной жизни на десятилетия возникла у советских публицистов не сразу. Как периодизация общественной жизни Франции времен революции приурочивается историками к ее знаменательным политическим датам, так и в советской публицистике речь сначала шла о периоде гражданской войны и военного коммунизма, затем о Нэпе, об эпохе пятилетки. Только в начале 30-х годов в литературной критике начинает попадаться термин «20-ые годы». После окончания первой пятилетки чувство «30-х годов», чем-то отличное от «20-х», начинает кристаллизоваться уже быстрее (В. Каверин «Исполнение желаний», В. Катаев «Я — сын трудового народа», А. Малышкин «Люди захолустья» и др.). Свою не лишенную интереса серию очерков о людях пятилетки М. Гус озаглавил «Люди тридцатых годов». В одном из них писатель рассказывает, что, присутствуя как-то на собрании молодых инженеров и работников промышленности, он пристально всматривался в их лица. По своему возрасту они были «ровесниками» этих 30-х годов. Это были новые лица, новые люди. Но мы, писатели — жаловался Гус — не умеем еще словами выразить сущность этой новизны: слова лезут старые, вроде — «волевая складка губ», «упрямый подбородок» — но этого мало, «это не то». Кое-что Гусу все-же удалось схватить в чертах своих «ровесников»: «Их глаза загораются, но лица холодны... огонь мечты и холод практики».

Термин «40-ые годы» появился только недавно. Порог 40-х годов завален трагическими событиями советско-германской войны и только с 1943 года, когда на фронте наступил решительный перелом, литературные критики стали впервые осознавать «поколение 40-х годов», а поэт Н. Рыленков даже начинает свой цикл стихов «Возвращение» словами:

Ты человек сороковых годов,
Ты видел все и ко всему готов.

Мы огненную клинопись грозы
Твердили, словно школьники азы.

Огнем высокого каленья
У нас сердца обожжены.
Я знаю — наше поколенье
Забыло запах тишины...
. . . . . .

«Огненная клинопись» войны сыграла, конечно, очень большую роль в формировании душевного облика молодого поколения 40-х годов. Но литературного матерьяла военных лет недостаточно для проникновения в его внутренний мир. Хотя молодежь каждого нового поколения любит «отталкиваться» от молодежи предшествующего, многие факты в ее биографии, ее реакции и эмоциональная жизнь не могут быть поняты вне связи с предшествующим развитием. Это может быть наглядно показано на проблеме «отцов и детей», занимающей прочное место в жизни каждой новой смены.

Всякий, кто совершит паломничество в советскую публицистику 20-х годов, может быть, не без изумления встретит в ней утверждение, что пролетарская революция не только обеспечила победу социализма и укрепление нового социалистического общества, но и ликвидировала такие явления, свойственные «капиталистическому» обществу, как антагонизм между «отцами и детьми»: в советском обществе этой проблемы вообще не существует. Знакомясь с произведениями первых лет советской литературы, читатель сначала, пожалуй, даже поверит этому заявлению; он без труда заметит во всех первых повестях и рассказах наличие в стране двух лагерей: сторонников революции и ее противников, но размежевание на эти два лагеря происходит не на основе бурной смены поколений, а по какому-то иному принципу. И в лагере победителей, и в лагере побежденных «отцы и дети» как будто совместно ведут борьбу за свою правду. Только вникнув во внутреннюю жизнь героев, читатель поймет, что ни побежденным, ни победителям не удалось ликвидировать старого противоречия. В разных группах населения конфликт между отцами и детьми имел свое особое содержание: в среде крестьянства это был конфликт на почве отказа молодежи жить по вере отцов и дедов; в среде передовой интеллигенции спор шел из за того, что молодежь отказывалась в борьбе за свободу личности видеть основную цель жизни человека; в рабочих семьях молодых отталкивали «мещанские настроения» отцов. Куда ни глянь — молодежь 20-х годов изображалась как бродило, как дрожжи Октября, как мечтающая о том, чтобы «октябрь» (с большой буквы) выплеснулся

на весь земной шар; этой молодежи по всей линии противостояла стена «стариков», либо сумрачно молчавших, либо не скрывавших своего неодобрения. Но вот в следующем десятилетии, в 30-ые годы, вскоре после окончания первой пятилетки, проблема «отцов и детей» неожиданно получает иной оборот: в крупных произведениях середины 30-х годов («Скутаревский» и «Дорога на океан» Леонида Леонова, пьеса Л. Рахманова «Депутат Балтики», «Далекое» А. Афиногенова и т. д.) представители старшего поколения и даже старики не только примиряются с советской властью, но стремятся включиться в активную работу на благо советского государства. А в молодом поколении все чаще появляется тип разочарованного и даже враждебно-настроенного юноши. (сын профессора Скутаревского — связан с промпартией!). Этот новый аспект старой проблемы ярко показан в романе Конст. Симонова «Дни и ночи», вышедшем уже во время войны: в среду защитников Сталинграда проник предатель Васильев; автор делает его сыном сельского священника. Но делает он это отнюдь не для того, чтобы классово-враждебным происхождением объяснить мотивы его предательства, а, наоборот, чтобы сказать несколько теплых слов о старике-отце: священник Васильев в начале революции не любил «комбеды» и «безбожников», но все, что окружало его — природу и людей, которые теперь назывались советскими, — он продолжал любить крепкой любовью и считал своей родиной, на которую никогда «не поднялась бы его рука». А вот у сына его она поднялась: как сын лишенца, он рано столкнулся с трудностями при получении образования и рано возроптал.

Но молодой Васильев, как и его ранний прототип Кавалеров из «Зависти» Юрия Олеши — чужак. Гораздо симптоматичнее появление молодых людей, враждебно-настроенных к новому укладу жизни, из среды комсомола. Мы знаем, что грандиозный план индустриализации страны привлек в начале 30-х годов сердца множества молодых людей. С увлечением ринулась молодежь на строительство новых заводов, находя здесь выход своей молодой энергии, веря, что эта индустриализация станет фундаментом для расцвета новой, замечательной жизни в будущем. От этого периода сохранилось немало романов — «Время, вперед» В. Катаева, «День второй» и «Не переводя дыхания» И. Эренбурга, «Большой конвейер» Я. Ильина, «Жили два товарища» Б. Левина, «Я люблю» А. Авдеенко, «Мужество» В. Кетлинской, «На Востоке» П. Павленко. Молодые ударники часто работали с настоящим увле-

чением, не щадя своих сил. Нельзя, однако, пройти мимо факта, что наряду с бодрыми, жизнеутверждающими образами молодежи, какими являются Санька Голод у Авдеенко, Колька Ржанов у Эренбурга, Корчагин у Левина, в каждом произведении этой поры появляется и силуэт молодого человека, сомневающегося в результатах строительства, сопровождавшегося такими жертвами, и в атмосфере принудительного «энтузиазма» тоскующего по какой-то иной жизни и по личной свободе. Таков Володя Сафонов у Эренбурга, Дебец и Буднэ у Левина, Димитриевский у Ильина. Молодой коммунист Дебец говорит: «Мы строим по колено в грязи, у нас кожу сдирает мороз. Лучше, если бы строили в теплоте, в чистоте, в сытости. А уж кричать об этом, хвастаться — совсем не к чему». Димитриевский у Ильина настроен еще непримиримее: «он ненавидел эту страну, ее воздух, ее газеты, ее вождей; он сравнивал режим страны с временами Екатерины». Все эти молодые люди — не чужаки. Димитриевский подростком во время гражданской войны видел дезертиров, крестьянские бунты, брел с отступающей Красной Армией в Оренбургские степи. Он видел Россию переворота, солдатских цыгарок и Россию «Кремля, декретов, контрибуций». Он стал комсомольцем, приехал учиться в Москву вместе с тысячами молодежи, пришельцев из Перми, Белибея, Умани, которые ночевали на заплеванных вокзалах, а днем осаждали рабфаки, добиваясь быть принятыми. В университете Димитриевский стал троцкистом, а после разгрома оппозиции, хотя и написал покаянное письмо, остался внутренне непримиренным с властью. Он считал, что «современные сдвиги в стране обусловлены не народовольческими чертами большевизма, а возникли вопреки им. В основе темпов новых заводов лежит труд римских рабов и чертежи Аристотеля». Только два вида счастья представляются Димитриевскому возможными в современной России: счастье бродяги, в разорванной до пупа рубашке, с веселой наглостью в глазах шагающего не разбирая дороги, и счастье отвлеченного мечтателя с портфелем подмышкой, который, смотря куда-то вдаль, тоже шагает, не глядя себе под ноги. Менее подробно, но по существу так же интерпретированы «оппозиционеры» и в других произведениях. Надо ли говорить о том, что писатели всемерно отгораживаются от этих «героев», боясь, как бы досужий критик не обвинил их в симпатиях к «оппозиции» и «контр-революции»? И все-таки эти сомневающиеся люди, представители «пустой породы», запоминаются и критики очень рано стали называть их «советскими Печоринами».

Самое упоминание имени Печорина было знаменательно. Герой Лермонтовского романа воплощал дух протеста против тяжелой русской действительности 30-х годов прошлого столетия. И появление даже окарикатуренного Печорина наводило на размышления. Правда, советские Печорины нигде не играют большой роли, они показаны только вскользь, почти все они к концу романа либо спиваются, либо пускают себе пулю в лоб, а то и просто загадочно исчезают. Несмотря однако на все писательские ухищрения, на всю сажу, которой они вымазали этих отщепенцев, читатель над ними задумывается. И, кто знает, может быть когда-нибудь именно они помогут будущему критику разобраться в реальных противоречиях революционной драмы? Такой прецедент в истории русской литературы уже имеется: почти сто лет читающая Россия, находясь под гипнотическим влиянием таланта Пушкина, ненавидела Швабрина из «Капитанской дочки». Пришла революция и кружок молодых марксистских критиков в начале 20-х годов впервые отмыл грязь с Швабрина, смело поставив вопрос: а не потому ли изобразил Пушкин Швабрина таким злодеем, что тот симпатизировал Пугачеву и Пушкин не мог простить ему измены дворянским интересам?

В произведениях 30-х годов имеется еще одна особенность, тоже заслуживающая пристального внимания: бросается в глаза, что сами писатели не очень-то любят своих молодых и жизнерадостных положительных героев. Миша Колче в романе Б. Левина «Юноша» — мелок и эпизодичен по сравнению со своим дядюшкой Праскухиным. И немудрено, что Нина, в которую влюблен Колче, отдает предпочтение дяде и становится его женой. Старый инженер Шор у Эренбурга, как и старый большевик Андрей Бабичев у Юрия Олеши («Зависть») значительнее ударника Кольки Ржанова и приемного сына Бабичева Володи Макарова. Чувство неудовлетворенности своим литературным отражением порой овладевало молодыми читателями и нашло свое выражение в повести тогда начинавшего писателя Бор. Горбатова «Мое поколение» (1934 г.). Своим поколением писатель считает то, представители которого были детьми, когда началась революция. Горбатов любит и знает свое поколение, как «рыбак свою речку», он влюблен в своих героев: «О вас должен был бы написать писатель опытный, убеленный сединами. Вы стоите этого. Мы стоим этого. Но что-же делать, ребята, о нас не пишут!»...

Только со второй половины 30-х годов в жизни молодежи начинается знаменательный поворот. Нелегкое это было

время для молодежи! Кончалась уже вторая пятилетка. В среде старшего поколения ее строителей, в среде «отцов» господствовало чувство удовлетворения достигнутыми результатами, было сознание своей победы над трудностями. Настроения молодежи были сложнее: пущенный тогда лозунг — «жить стало легче, жизнь стала веселей» — встречал противоречивые отклики. Как в молодом поколении участников гражданской войны вскоре после ее окончания появились «лишние люди», так и завершение первой пятилетки возродило тип молодого «отщепенца». Убийство Кирова бывшим комсомольцем Николаевым проливает, может быть, свет на настроения части молодежи. В художественной литературе эти настроения нашли только очень слабое и частично-искаженное отражение. Таков, в частности, роман Виктора Орлова «Искатели славы», появившийся через год после убийства Кирова в декабре 1935 года. На переднем плане романа жизнь и настроения группы молодых сотрудников какой-то крупной центральной газеты. Один из них — Сергей Немахов — бывший комсомолец, обозленный неудачами и снедаемый честолюбием человек. В юности мечтал быть не то Цезарем, не то Дантоном. Но в жизни ничего не удалось, даже подруга детства, Оля Снежкова, увлеклась не им, а другим сверстником детских игр — Ярговым, теперь видным коммунистом. Немахов ненавидит Ярогова, даже кепка его и скуластое, чуть смягченное улыбкой лицо вызывают в нем ярость. Приятель Немахова, Иван Низов, так определяет его душевное состояние: «Геростратствуешь?» — Да, геростратствую» — подхватывает Немахов. В своем дневнике Немахов предвосхищает свои похороны: «они превратятся в суд над последним явлением лишнего человека в истории русской интеллигенции». Под стать Немахову и Низов, для которого политический цинизм стал символом веры: «Имитируйте эпоху, умейте хорошо имитировать эпоху. Остальное приложится». Само собой разумеется, что к концу романа все эти «герострать» разоблачены другой группой молодых сотрудников газеты, добродетельными коммунистическими Правдиными. Роман, однако, вызвал тревогу в официальной критике и встретил осуждение. Имя автора с тех пор больше не появлялось в печати. Нетрудно в Немахове и в Низове заметить развитие темы «Зависти» Ю. Олеши. Но во время Нэпа («Зависть» появилась в 1928 году) тема молодого разочарованного человека, не желающего включиться в хор «веселых ребят», была воплощена в Кавалерове, советском Смердякове. В первую пятилетку молодой протестант уже фигурирует в обличье

«советского Печорина», а во второй половине 30-х годов тот же тип уже наделяется чертами молодого Верховенского из «Бесов» Достоевского.

Конечно, уязвленные и озлобленные юноши второй пятилетки, изображенные Орловым, это крайности. Но они показательны для понимания того глубокого кризиса, который бушевал в душах молодежи. Молодые начинают искать каких-то других, новых путей для выхода из тупика. Слабо, несовершенно, эти поиски все-же находят свое отражение в творчестве молодых писателей, около конца 30-х годов входивших в литературу. Таков «Танкер Дербент» Юрия Крымова. «Гадкий утенок» Ольги Неклюдовой, пьеса В. Войтехова и Л. Ленча «Павел Греков».

Молодого, способного механика Басова в романе Юрия Крымова «Танкер Дербент» недолюбливает начальство: все-то он суетится, что-то изобретает, выйдет-ли из этого толк — бабушка еще на двое сказала, а хлопот с ним не оберешься, и начальство сплавляет непоседливого сотрудника на нефтеналивное судно, находящееся в прорыве, т. е. не выполняющее плана. Но не эта несправедливость «старых шляп» огорчает Басова, а его жена Муся: «Почему нельзя работать, как все?» Муся откровенно признается Басову, что она средний, рядовой человек и не под силу ей жить «с героем». Разрыв с Мусей — самый тяжкий удар, но даже он не сломил Басова: молчаливым упорным трудом добивается он успехов и все кончается ко всеобщему удовольствию: даже Муся возвращается к Басову. Таковы же герои и других повестей этих лет — таков особенно Павел Греков Войтехова и Ленча.

Первоначальное название пьесы, появившейся в 1939 году, было «Настоящая жизнь», но по настоянию реперткома пьеса была переименована по имени ее центрального действующего лица. Молодой коммунист Павел Греков послан на работу в одну из азиатских республик. Под него подкапывается другой коммунист и позже, когда Греков посылается на другую работу, тот пишет на него донос. Греков пытается доказать свою невиновность, но его не слушают и исключают из партии. Он не сдается и ведет борьбу за восстановление своего доброго партийного имени, хотя временами в нем начинает сомневаться даже его жена. Для морального облика Грекова характерна одна реплика, брошенная им секретарю парткома, когда сам Греков еще был в партии. Дело касается коммуниста Ковалева, которого Греков знал по прежней работе. Под Ковалева подкопались и он был исключен из партии, как предатель. Греков верил Ковалеву и он защищает

его перед секретарем. А когда тот возражает: «Разве можно так верить людям, Греков? Да еще в такое время?» (не забудем, что это было в период Московских процессов и усиленной чистки партийного аппарата по всей стране) — Греков «с силой» отвечает: «Вот именно в такое время таким людям, как Ковалев, надо верить. Еще раз заявляю, не верю, что Ковалев враг». В конце пьесы Грекову удается реабилитироваться, козни врагов выведены на чистую воду. Пьеса была поставлена в 1939 году в театре Революции. Интересна рецензия об этом спектакле критика Альтмана. Он смотрел пьесу вместе с делегатами московской конференции комсомола, рядом с ним сидели «отличники», герои Советского Союза. «И как волновались эти зрители!» Когда по ходу пьесы на собрании партийного комитета Павла Грекова исключают из партии и секретарь с выразительной фамилией Рыдай подходит к нему, чтобы отнять у него партийный билет и Павел Греков кричит ему исступленно «Не подходи» — «весь зал начал аплодировать». «Каждый из присутствующих — писал Альтман — мысленно представляет себя в положении Грекова и мысленно его одобряет». Один из зала даже крикнул: «Не отдавай партбилет!», другой зритель за спиной Альтмана бросил по адресу Рыдая: «Не по уставу действуешь!» Еще интереснее статья актера Астангова, игравшего в пьесе роль Павла Грекова. Астангов думает, что пьеса потому имела такой незаурядный успех, что «у актеров было чувство удовлетворения, что они проявили гражданское мужество и не пошли на поводу у перестраховщиков. Вместе с героями пьесы мы вели борьбу за самое дорогое и самое важное, чем располагает наша партия — за людей честных и безгранично преданных делу коммунизма».

Насколько большое место занимала проблема воспитания характера в душевном хозяйстве молодежи кануна второй мировой войны, видно из романа Алексея Югова «Бессмертие», появившегося в конце 1943 года и привлекшего внимание широких кругом учащейся молодежи. В отличие от Басова, Грекова и других героев предвоенных романов, молодой советский врач Андрей Савельев — главное действующее лицо романа Югова — не коммунист. Хотя Андрей Савельев оставлен аспирантом при университете, он предпочитает уехать на практику в дремучую тайгу, говоря, что лучшие русские профессора прошли школу земских врачей. О первой мировой войне Андрей, родившийся в 1906 году, знал только из книг и это знание похоже было на картину, которую видишь «сквозь двойные, плохо промытые окна». Своему другу

Савельев говорит: «Мы с тобой пришли на готовое!» Почти с чувством возмущения думал Савельев о том, что он «обокраден судьбой, заставившей его возникнуть из небытия почему-то так поздно: его обошли стороною подвиг и жертва». В юности он мечтал стать Евпатом Коловратом — легендарным героем, защитником Рязани от татар, но еще больше — Муцием Сцеволой, потому что этот римский герой, не дожидаясь пыток, сам положил руку в огонь и дал ей сгореть, но не выдал своих друзей. Уже будучи взрослым Андрей Савельев приходит к выводу, что исправить свою биографию поздно родившегося человека можно только одним путем: «путем наращивания духовной мощи своего 'я'». Это единственный правильный путь, «путь самодовлеющей силы, независимой от того, что и кто вокруг: там видно будет, а сначала — будь сильным».

«Путь наращивания духовной мощи своего 'я'», проблема воспитания своего характера — вот в чем молодежь на пороге 40-х годов видела выход из обставших ее трудностей. Просматривая сегодня романы и стихи, появившиеся накануне войны, читатель не может отделаться от чувства: как трудно складывалась духовная жизнь этой молодежи, сколько запутанных, а вовсе не решенных, — как утверждали и всегда утверждают старшие всех поколений, — проблем стояло перед ней. Она пыталась все переосмыслить. Но о многом думать и говорить ей было заказано и мысль молодежи искала выхода в поисках сильных характеров в прошлом (интересна с этой стороны поэма Конст. Симонова «Суворов») или обращалась к более или менее «нейтральным» вопросам семьи, быта, любви, воспитания детей. На двух произведениях в этой связи стоит задержаться. Речь идет о романе Фраермана «Дикая собака Динго или повесть о первой любви», появившемся в середине 1939 года, и о повести Валерии Герасимовой «Байдарские ворота», написанной уже в конце войны, в 1944 году.

Центральная фигура романа Фраермана — девочка-подросток Таня. Она живет со своей матерью-врачем в маленьком городе на Дальнем Востоке, недалеко от границы. Отца своего — военного — Таня не знает: мать рассталась с ним, когда Таня была еще крошкой. Она знает только, что у отца есть другая жена и приемный сын. И вдруг отец приезжает в командировку в Танин город. Встреча полковника с дочерью не из легких. Таня ревнует его к приемному сыну, к новой жене. А отец сокрушенно бормочет: «Да, ты права Танюша. Трудно это все в 15 лет». В другой раз с детским пристрастием спрашивает Таня мать: «Почему отец ушел от

тебя, кто виноват в этом? Почему у меня не было папы в детстве?»

В центре повести Герасимовой «Байдарские ворота» тоже встреча двух поколений на пороге 40-х годов: полковник Махотин, выходец из крестьян, в юности участник гражданской войны, встречается в Крыму, где он проводит свой отдых в 1939 году, с 17-летней девушкой Олей, только что окончившей десятилетку. В отличие от младшей своей сестры Леночки, существа кроткого и ясного, Оля — натура строптивая, чего-то ищущая, критикующая все и всех, «от управдома до Пушкина». Махотин производит на нее большое впечатление своей собранностью, своим революционным прошлым (участник гражданской войны!), но что-то в нем вызывает глухой протест Оли: его аккуратный «проборчик», всегда до блеска начищенные сапоги, он «слишком правильный человек». А в Оле сильно чувство, что «главное-то счастье для людей в том, чтобы иметь право хотеть любого, даже самого бесполезного». Тоска по «бесполезному» зародилась в Оле еще в школе, повинен в этом скучный педагог-общественник, который «все уши прожужжал и оскомину набил 'полезным'». И Махотину нравится Оля, только не по себе ему от «роскошеств» ее души, его раздражает, что Оля все критикует «с позиций крошечного, карманного Печорина». Сам пройдя трудный путь, многое в себе подавив, Махотин считает, что Оля еще не имеет права критиковать, не имеет права «произносить ответственные слова», это право «надо сперва заработать». На этой почве у них возникает конфликт и они расстаются. Когда в 1943 году Махотин вместе с частями Красной Армии, освободившими Крым, попадает в район Байдарских ворот, он узнает дальнейшую историю Оли: вскоре после прихода немцев Оля присоединилась к партизанам и погибла геройской смертью. Вторая часть повести — история Оли во время немецкой оккупации, рассказанная ее теткой, — слабее начала. Но одна черта произведения заслуживает внимания: пусть поздно, но в лице своей героини Оли Герасимова сумела переосмыслить отрицательное отношение к «советским Печоринам» (за что ее, между прочим кое-кто из советских критиков отчитал!), которое было распространено в начале 30-х годов. За Печоринской едкостью Оли писательница поняла что-то существенное в психике молодого поколения кануна войны, в борьбе против казенщины упорно искавшего своего пути в жизнь.

В этом, впрочем, Валерия Герасимова не была пионеркой. Начальный период войны, столь тяжелый для всей страны,

был богат всяческими ревизиями. Первый, кто почувствовал и воплотил эту потребность в переосмыслении ходячих истин, был Леонид Леонов со своей пьесой «Нашествие» (1942 г.). Хотя пьеса эта достаточно известна, на некоторых деталях ее надо остановиться. Драматический узел пьесы завязан вокруг блудного сына доктора Таланова Федора. Он приезжает домой после 3-летнего пребывания в концлагере. Хотя в концлагерь Федор попал не за политику, а за убийство, он по всему своему характеру воплощает «несогласного гражданина», «отщепенца». Темна душа «озябшего» человека и еще трагичнее то, что особенно темной представляется душа Федора его собственным родителям (в этом смысле Леонов дает классическую трактовку антагонизма «отцов и детей»). Родители боятся, что Федор после занятия города немцами станет «квизлингом». А в действительности Федор не только не пошел работать с оккупантами, но стал партизаном и погиб героической смертью.

Литературная критика с самого начала не могла примириться с тем, что Федор — герой, и принялась калечить пьесу, представляя дело так, что главные ее герои — родители Федора, няня Демидьевна, сестра Федора Ольга, секретарь райкома Андрей Колесников, словом, все, но не Федор. По стопам заколебавшейся критики пошли и многие театры. Так, Ленинградский режиссер Л. С. Вивьен, чтобы выйти из затруднения, раздвинул тему пьесы и особенно подробно развернул картину возвращения Красной Армии. Несмотря, однако, на все эти ухищрения, зрители, к прискорбию рецензентов, чувствуют, что душа пьесы — Федор.

Нелегкой и отнюдь не гармоничной была жизнь молодежи кануна войны. С этой стороны так интересна характеристика капитана Сабурова в романе «Дни и ночи» Конст. Симонова: люди, начавшие подобно Сабурову самостоятельную жизнь в годы первой пятилетки, замечает Симонов, «прошли такую тяжелую школу жизни, полную самоотверженности и самоограничения, что война, если исключить постоянную возможность смерти, не могла поразить их всеми остальными своими повседневными тяготами».

Огромен литературный матерьял о войне и, может, быть, еще слишком свеж. Но не все из этого матерьяла останется жить в литературе, многое уже теперь кажется отзвучавшим. Молодежь в этом литературном наследии войны естественно занимает большое место. Представление о том, как она пережила войну, дает одна деталь, встречающаяся в стихах и про-

зе последних лет на правах почти постоянного эпитета: «седой юноша» или «седая девушка»:

«Слишком многих друзей не докличется
Повидавшее смерть поколенье,
И обратно, не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении».

(К. Симонов).

Военные неудачи первого периода вызвали в молодежи горячее чувство любви к родной стране. Это чувство привязанности, как оно запечатлено в многочисленных стихах и прозе К. Симонова, А. Суркова, Н. Рыленкова, В. Захарченко, М. Алигер, А. Яшина, М. Шолохова, А. Платонова, Л. Леонова — неоднозначно в своем эмоциональном напряжении. Очень рано в этом патриотизме как бы различаешь две струи. Одни писатели и поэты, словно не доверяя силе самого чувства, пытаются подкрепить его, либо связывая его с образами прошлого, либо аппелируя к героике советского периода. Так из тьмы веков появляется знакомая фигура крестьянина с топором, идущего на Мамая, оживает Иван Сусанин; у других вместо Сусанина по осажденному Ленинграду бродит Киров, а в новогоднюю ночь в Москве — Ленин или Сталин. От тяжелого убранства слов и образов теряет живое и непосредственное чувство привязанности к родной земле, оно кажется выспренним, особенно, если сопоставляешь его с тем, как то же чувство выражено у Шолохова, у Твардовского или Платонова: там нет поэтических экскурсий, зато много непосредственной любви к живому, а не плакатному, народу.

Хотя тревога за судьбу родной страны занимала в душе молодежи войны большое место, не надо думать, что этим исчерпывалась ее душевная жизнь. Война сама по себе едва ли вносит что-либо принципиально новое в жизнь страны, она только ускоряет все ее внутренние процессы развития. Это верно и в отношении душевной жизни. Характерной особенностью молодежи кануна войны была эмпирическая ревизия наследства Октябрьской революции. Отнюдь не посягая на самый «Октябрь», молодежь успела уже восстановить многое из того, что в первые годы революции, казалось, было окончательно сдано в архив истории. Война не могла приостановить этой ревизии, она многими своими особенностями должна была эту ревизию еще углубить. Пока фронтовая молодежь высказывается еще мало. Понятна ее медлительность, «судьбу ровесников своих» несет она на своих плечах...

В. Александрова

РЫЦАРЬ СВОБОДЫ

(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ДЕКАБРИСТА ЛУНИНА)

И долго буду тем любезен я народу...
Что в мой жестокий век восславил я свободу...

Быть может, никогда еще не было так уместно вспомнить прославленный стих нашего национального поэта, как в дни, когда во всем мире рушатся моральные основы старой гуманистической культуры. В апофеозе бездушного коллективизма и всепоглощающего самовластья современного государства исчезает в общественном сознании даже демократии идея самоценности индивидуальной свободы. Поистине жутко становится иногда за ближайшие судьбы человечества. Угрожающие симптомы столь значительны, что вождь французских социалистов Леон Блюм вынужден был не так давно напомнить слова Жореса: «La liberté est le plus grand des biens», — и это «в единственной стране, где люди понимают, что значить быть свободным» (так утверждал — несколько смело в своем сообщении — покойный французский философ-публицист Пэги).

Мы хорошо знаем, что зараза идет с востока — оттуда, где царит «коммунистическая» деспотия большевиков, по какому-то внушению все еще нередко представляющаяся на Западе осуществлением социалистических идеалов... Становятся уже труизмом утверждения, что мировые события в значительной степени зависят от того, что будет в России. Но кто знает, какая судьба ожидает нашу страну? Где искать указующего перста? При всем возможном скепсисе к «урокам истории» мысль невольно обращается к прошлому и в исторической традиции пытается найти противоядие современности.

В нашей истории пафос борьбы с политической деспотией во имя защиты свободы человеческой личности никогда так страстно не звучал, как в эпоху, последовавшую за «грозой двенадцатого года», когда «металис смущенные народы». То было славное время декабристов, бросивших на отечественную ниву, по выражению Огарева, «коренное зерно всего русского движения». Не вина этих ранних «энтузиастов свободы», что на «развалинах самодержавной власти» в наш век в России утвердилась, под видом народной власти, еще худшая деспотия; не их вина, что «из искры возгоревшееся пламя», поглотив одне темницы, породило застенки «лагерей смерти»; не их вина, что ниспосланные судьбой испытания

второй отечественной войны через сто слишком лет наша родина должна была выдержать снова в оковах политического гнета... Тогда «военных подвигов година» породила геройское действие «бунтующих бар» — они своей искупительной жертвой хотели «пробудить спящих россиян». А ныне? Что день грядущий нам готовит? «На время могут затмить ум русский, но никогда не народное чувство» — записал в свой сибирский дневник один из «застрельщиков» русской свободы, памяти которого посвящаются последующие страницы. «Народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание»... «Подлая мысль отказаться от природных прав человека, дарованных самим Богом» никогда не будет усвоена русским народом — утверждал в одном из своих агитационных обращений («Любопытный разговор») былой соратник Лунина Никита Муравьев. Вслед за поэтом дальних лет, мы также верим «и в здравомысляший народ и в молодое поколение». Никогда не зарастет народная тропа к тому нерукотворному памятнику, который воздвигли уже поколения боровшихся за свободу человека в России. Их «скорбный труд» и «дум высокое стремленье» пропасть не могут. Найдутся «романтики», которые с той же «гордой, непреклонной, подавляющей отвагой» (слова Герцена о Лунине) будут продолжать борьбу... «Я любил справедливость и ненавидел беззаконие и потому умираю в изгнании» — такими словами, написанными по латыни, открывается в «пустынях сибирских» записная книжка Лунина. Убеждения «повели меня на место казни, в темницу и в ссылку»... Ничто не сломило непреклонной воли этого глашатая и поборника русской свободы начала прошлого столетия. Заживо погребенный в зловещем Акатуе, он и здесь не склонил «покорной» головы перед тираном. 3 декабря 1845 г. оборвался не совсем обычный жизненный путь действительно замечательного человека — путь, как он сам сказал, «беспрерывной борьбы с людьми и обстоятельствами». Лунин погиб «во глубине сибирских руд», но погиб с глубокой верой в то, что «от людей можно отделаться, но от их идей нельзя» и что мысли его будут «необходимым условием» будущей гражданской жизни. С сознанием, что он выполнил свое жизненное призвание, с пророческим предвидением, что имя его будет внесено в сонм «великих революционеров», он начертал на своей надгробной плите не менее гордую, чем Пушкин, эпитафию: «Проходя сквозь толпу, я сказал, что нужно было знать моим соотечественникам. Оставляю письмена мои законным наследникам мысли, как пророк оставил свой плащ ученикам, заменившим его на берегах Иордани».

1. «Друг Марса, Вакха и Венеры»

Повесть о жизни Михаила Сергеевича Лунина — это рассказ о перевоплощении блестящего кавалергарда, который жил, как бы «шутя», в политического деятеля, вдумчиво изучавшего окружающую жизнь и своеобразно сочетавшего вольнолюбивые политические мечты с проникновенной религиозностью правоверного католика; реализм и мистика как то причудливо уживались в одном лице. Незаурядная фигура этого представителя александровской эпохи инстинктивно привлекла к себе внимание современников, и уже тогда создалась живая легенда о молодеческих, подчас дерзновенных выходках великосветского «друга Марса, Вакха и Венеры», как охарактеризовал его Пушкин в эпилоге к «Евгению Онегину». В Петербурге Лунин вел жизнь богатого гвардейского офицера. Дуэлянт и повеса, он отдавал дань «общей наклонности в жизни молодежи» (воспоминания Волконского), когда даже Пушкин «корчил лихача», подражая своим «приятелям гусарам» (Якушкин).

У Лунина были все данные для того, чтобы иметь успех в обществе: он был богат, родовит и красив собой (некоторым современникам его лицо напоминало портреты, вышедшие из под кисти Ван-Дейка). Природа широко одарила его и умом и талантами — среди них выдающимися музыкальными способностями. Несмотря на домашнее только воспитание, Лунин был разносторонне образован: нет решительно никаких оснований последовать за биографами Лунина и утверждать, что перечисленные им в показании перед следственной комиссией иностранные учителя, обучавшие его в юности (англичанин, три француза, швед и швейцарец) дали ему образование, удовлетворявшее лишь «светским требованиям»: владеть европейскими языками (он знал их восемь), быть отличным наездником, танцором и фехтовальщиком. Научный багаж его был значительно солиднее — можно отметить знакомство со всеми «значительными произведениями» западно-европейской классической литературы и хорошее знание древнего мира (это было увлечение эпохи — «любили древних», — вспоминал Якушкин, — «Плутарх, Тит-Ливий, Цицерон, Тацит и др. были у каждого из нас почти настольными книгами»). Надо отвергнуть и утверждение некоторых биографов о его незнании русского языка («по русски Лунин до конца своих дней писал плохо») и о «презрении» к русской литературе. Писанные показания Лунина в 26-м году сделаны на чистом русском языке и орфографически по сравнению с другими скорее

выделяются своей правильностью. Лунин не мог быть чужд ни русскому быту, ни духовной жизни народа. В этом отношении он был поставлен в благоприятные условия в силу близких родственных связей с просвещенной семьей М. Н. Муравьева, известного попечителя московского университета и отца автора основных конституционных проектов Северного Тайного Общества (Лунин был сыном сестры Михаила Никитича). В семье этой Лунин встречался с выдающимися представителями тогдашнего литературного мира — Жуковским, Батюшковым, Гнедичем, Вяземским и др. Лунин приходился двоюродным племянником и другому передовому писателю эпохи, поклоннику древней греческой культуры И. М. Муравьеву-Апостолу, отцу знаменитого Сергея. Здесь Лунин должен был получить зачатки свободного образа мыслей, воспринять ненависть к институту рабовладения и почувствовать органическую привязанность к России. В доме опального Муравьева-Апостола учили не космополитизму, а любви к отечеству: отец хотел воспитать сыновеей «достойными быть русскими и умереть за Россию». Во время следствия на вопрос: «откуда заимствовали вы свободный образ мысли», Лунин гордо ответил: «свободный образ мысли образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить; к укоренению же оного содействовал естественный рассудок».

У нас очень мало данных для характеристики внутренних переживаний молодого Лунина, и эту характеристику можно сделать лишь по аналогии с переживаниями других декабристов, оставивших свои воспоминания. Вернулась гвардия из чужих краев, вернулся и Лунин, очевидно обогащенный впечатлениями. Лунин принадлежал уже к старшему поколению будущих декабристов — ему перевалило за 40 лет в день 14 декабря, и он был, по крайней мере, на 9 лет старше Сергея и Никиты Муравьевых. Заграничные походы не могли оказать на него того влияния, которое они имели на гвардейскую молодежь, — зараза вольнолюбия коснулась Лунина раньше. В «грозу двенадцатого года» ему было по меньшей мере 25 лет. Живший с ним в одной палатке под Смоленском дальний его родственник Муравьев (будущий «Карский») рассказывал, что Лунин носился с мыслью явиться в качестве парламентера к Наполеону и убить его. Можно с уверенностью сказать, что если такой план и созревал в фантастической голове молодого патриота, то отнюдь не потому, что учителя из французов-эмигрантов сумели внушить ему ненависть к «узурпатору», воплотившему в себе зловредные начала якобинства: — он хотел избавить человечество от тирана —

Бонапарт был для него воплощением узурпатора свободы.

Ничто, однако, не предвещало крутого перелома, последовавшего через два года: блестящий гвардеец превратился в безработного интеллигента на парижских задворках; из миллионера сделался пролетарием. Такой резкий перелом в жизни Лунина произошел, очевидно, по совокупности всех условий, встретившихся ему на пути. Здесь были и служебные осложнения в силу изменившегося к беспокойному человеку отношения Императора, который находил, что Лунин «не совсем в своем уме», и был крайне недоволен демонстративным осуждением в парижских салонах, со стороны Лунина и его друзей, как политики Священного Союза, так и мстительных актов вернувшихся на трон Бурбонов. К служебным неприятностям присоединилась ссора со скупящимся отцом, который не желал удовлетворять кредиторов расточительного и несколько сумасбродного сына. Лунин решил выйти в отставку и покинуть Россию. Не являлась ли всетаки основным стимулом решения «неугомонная страсть рыскать по белу свету», как выразилась в письме сестра Лунина, в поисках новых ощущений, нового житейского синтеза, в смутном сознании, что в России для него нет ни «свободы мысли, ни свободы воли, ни свободы действия»?

Лунин уехал в известную ему уже столицу мира в сопровождении совсем еще юного французского поэта Оже, случайно вместе с оккупационными русскими войсками попавшего в Петербург. Благодаря воспоминаниям Оже, написанным много лет спустя и опубликованным в России 75 лет тому назад, мы несколько осведомлены о пребывании Лунина в Париже. Оже запечатлел и тогдашний облик своего героя, который для него был «необыкновенным», «замечательным» человеком. Он писал, что наружность Лунина с первого знакомства своим «вдохновенным благородством» и своей искренностью» произвела на него «чарующее впечатление — взгляд его черных глаз с бархатным блеском обладал притягательной силой, его бледное лицо с правильными чертами носило черты страдания; спокойно насмешливое, оно иногд оживлялось и также быстро снова принимало выражение невозмутимого равнодушия»... «В нем чувствовалась сильная воля, но она не проявлялась с отталкивающей суровостью, как это бывает у людей дюжинных, которые непременно хотели повелевать другими. Голос у него был резкий ...слова точно сами собой срывались с насмешливых губ и всегда попадали в цель. В спорах он побивал противника... логика его

доводов была так же неотразима, как и тонкость шутки. Он редко говорил с предвзятым намерением; обыкновенно же мысли, и серьезные и веселые, лились свободной неиссякаемой струей, выражения являлись сами собой не придуманные, изящные и замечательно точные». Оже рисует Лунина «мечтателем», «рыцарем», называет его «Дон-Кихотом». «Его огненная фантазия, стремившаяся за пределы существующего, неудержимо влекла и меня в мир призраков, к цветущим берегам неведомой страны... Способности его были блестящи и разнообразны: он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политико-эконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями». Художественный образ, набросанный французским драматургом, оказал влияние на позднейших русских биографов Лунина, и они готовы, опираясь на отдельные штрихи, изобразить его каким то последовательным космополитом: «он был одним из первых русских, считавших себя призванными служить свободе всего мира». «Лунин не был тем патриотом, всецело преданным России, каким были большинство декабристов: для него родина его была домом, но отечеством для него был — весь мир»*). Допустим, что в беседах с Оже Лунин и мог восклицать: «Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на свете», но все таки в Париже он был среди только ищущих.

В столице мира Лунину пришлось пережить трудные дни, приспособляясь к непривычным условиям в новой обстановке.

*) С. Я. Гессен и М. С. Коган «Декабрист Лунин и его время». Хорошая научная работа, изданная в год столетия декабристов в серии трудов Пушкинского Дома при Академии Наук СССР. Книга выделяется прежде всего отсутствием казенного марксистско-большевистского трафарета, что так редко встречается в Советской России. Авторы широко использовали существующую литературу. До юбилея, еще в 1923 г., С. Я. Штрайх собрал все литературное наследие, оставшееся от Лунина — «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма» (Труды Пушкинского Дома). Приходится пожалеть, что в этом собрании приведены лишь выписки из «записной книжки» Лунина в сибирский период. В эмиграции художественному перу М. О. Цетлина принадлежит прекрасный очерк «Декабристы: История одного поколения» (в издании «Современных Записок» 1933), в котором немало страниц посвящено Лунину — «самой красочной фигуре» эпохи. В России Лунина коснулся и другой наш беллетрист старой школы Г. И. Чулков «Мятежники 1825 г.». У него получился также яркий образ.

Сохранилось очень показательное письмо Лунина, адресованное Оже, который уехал к отцу, в провинцию — оно написано было 5 ноября 1816 г., т. е. через полтора месяца по приезде в Париж. Из этого письма явствует, что никакой революционной предопределенности не было в заграничном отъезде Лунина и что его восторженные монологи о «карьере свободы», воспроизводимые Оже в воспоминаниях, должны быть отнесены к внутреннему духовному освобождению, которого стремился достигнуть Лунин. Его реальные «планы» были скромнее, нежели гордые помыслы о служении всему человечеству. И он, и Оже мечтали заняться литературой: Оже думал развить свой поэтический дар, Лунин собирался писать исторический роман из эпохи Лжедимитрия.

Чем только не зарабатывал деньги для существования Лунин! Давал уроки языков, музыки и математики, занимался переводами, сочинительством писем и всевозможных праздничных виршей, составлял прошения и т. д. Вся эта бытовая вермишель не отражалась на его духовных запросах. Они были неиссякаемы. Мы встречаем Лунина не только в литературно-художественных и музыкальных салонах, но и на мистических собраниях всякого рода «оккультистов», где он с самозабвением предавался актам «магнетизма». Он проникает в гущу тайных политических кружков, вольнодумных карбонариев и социальных утопистов — он знакомится с самим Сен-Симоном. Масоны и католики привлекают не меньшее внимание любопытствующего русского искателя истины... В этом калейдоскопе парижской жизни Лунин исторического романа не написал. По словам Оже, пробная глава была им показана компетентному критику, ак. Бюфо и получила со стороны последнего самый лестный отзыв: «Ваш Лунин чародей... даже Шатобриан не написал бы лучше»...

2. «Карбонарий»

Рискованно пойти по следам биографов Лунина и представить его, вернувшегося после кратковременного пребывания в атмосфере интеллектуальной жизни Парижа в Россию, не только вполне законченным политическим деятелем, но и определенным «приверженцем карбонаризма», которому чужда была вера сен-симонизма в то, что «мирный труд положит основание свободе».

Чулков рисует нам Лунина чуть ли не посланцем какого-то интернационального революционного центра. Здесь надо ввести существенный корректив и придти к выводам противо-

положным. Мы охотно назовем Лунина уже того времени революционером духа, ибо подлинную свою правду он нашел, в той «свободе», неизменным глашатаем которой сделался до гробовой доски. Но революционером-карбонарием Лунин никогда не был. Много лет спустя в Сибири он писал в одном из своих знаменитых писем к сестре: ...«Я не участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Мое единственное оружие мысль, то согласная, то в разладе с правительственным ходом, смотря по тому, как находит она созвучия, ей отвечающие».

Совершенно естественно, что Лунин, просветленный масонским учением, еще до выезда за границу, по возвращении из чужих краев оказался членом «Союза Спасения», созданного бывшими участниками ложи «Трех Добродетелей» — «Я никем не был принят в число Тайнаго Общества» — показал Лунин на первом допросе — «но сам присоединился к оному, пользуясь общим ко мне доверием его членов». С легкой руки одного из первых дореволюционных биографов Лунина (Строев, в «Рус. Биогр. Слов.») за ним утвердилась репутация революционера, не останавливающегося перед «крайностью выводов». Корнилов, не углублявшийся в изучение декабристов, даже назвал его «романтиком террористом». Эту версию, как сказано было, склонны поддерживать и последующие бытописатели Лунинского жития: Лунин первый бросил мысль о цареубийстве, предлагая, когда время придет «к действию приступить», совершить на царскосельской дороге покушение на Александра I, при содействии особой «партии заговорщиков в масках». Засвидетельствовал это Пестель на вопрос следователей о преположении его составить, по сведениям имевшимся в Комиссии, garde perdue и поручить начальство над нею Лунину.

«В заседаниях самого Общества о сем предположении Лунина — показывал Пестель — при мне говорено не было. Я же тогда мало обратил внимания на сие предположение, потому что слишком отдаленным считал время начатия революции и необходимым находил приготовить наперед план конституции... Сие мнение мое побудило Лунина сказать с насмешкой, что я предлагаю наперед энциклопедию написать, а потом к революции приступить». Показание Пестеля подтвердил и Никита Муравьев: о «возможности такого предложения действительно Лунин незадолго до отъезда... во Францию говорил Пестелю и ему, Муравьеву». Сам Лунин не отрицал «случайного разговора» на подобную тему с Пестелем, Н. Муравьевым и братьями Муравьевыми-Апостолами, но только

относил его к более позднему времени. Допрашиваемые, вероятно, вполне искренне с трудом вспоминали через 9 лет былые, скорее интимные беседы, они путали даты и участников бесед. «Рассуждая о насильственных мерах вообще, к коим крайность могла бы принудить в случае неудачного открытия явных действий — говорил Лунин — я упоминал о средствах нападения на царскосельской или другой какой нибудь дороге; касательно масок и других по сему подробностей я не в состоянии по давности времени припомнить... Исполнение же сего мнения, основанного с моей стороны в самом разговоре на предположении, н и к о г д а и б ы л о ц е л ь ю моих действий и политических видов и никогда никаких мер, как мною, так и участвовавшими в выше приведенных разговорах не было принято к исполнению сей мысли». В своем «изустном» запротоколированном показании, которое предшествовало письменному, Лунин делал добавление: «При образовании общества мнением полагал, чтобы предложить правительству собрать со всех краев государства представителей, которые бы занялись составлением конституции под надзором правительства, но на основании, которое обществом было дано; в с л у ч а е ж е о т в е р ж е н и я с е г о п р е д л о ж е н и я п р а в и т е л ь с т в о м — привести намерение в исполнение решительными действиями открытою силою».

Разговор о возможности цареубийства в обстановке 16 года, когда Лунин уезжал в Париж в сопровождении Оже, мало вероятен — так мало соответствует решительному и настойчивому характеру Лунина предположение, что, выступив с преждевременным проектом активного революционного действия и не встретив достаточной поддержки, Лунин отправился сочинять повесть из эпохи Лжедмитрия на берега Сены.

Сам Лунин относил свой возможный разговор с Пестелем к 18 или 19 г., но Пестеля тогда в Петербурге не было. Поэтому более вероятно отнести выступление Лунина к 20-му году, когда в Тайном Обществе реально был поставлен вопрос о методах практического осуществления государственного переворота. Весьма возможно, что в эти годы Лунин допускал, что время, когда придется действовать и даже вступить на крайний путь, может оказаться не за горами. На основании блестящего подбора материала, сделанного еще Семевским, можно отчетливо себе представить впечатление, которое произвела в русском обществе варшавская речь Александра I при открытии 15 марта 18 г. первого сейма свободно избранных представителей возрожденной Польши. Рус-

ский царь давал «великий пример» Европе и выражал надежду, что он сможет распространить «спасительное влияние» либеральных учреждений на все страны, не исключая и собственного отечества, когда, начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. Консерваторы, исполненные «страха и уныния», по выражению Сперанского, после варшавской речи будировали, видя в обещании установить законосвободные учреждения в России, провозвестие уничтожения крепостного права. Их успокаивал, с обычным для себя циничным скепсисом, вождь московской дворянской оппозиции Ростопчин: варшавские речи, правда, «разгорячили головы», требуют уже «конституции», но, «все это окончится ссылкой дюжины болтунов». «Варшавские речи сильно действуют на умы молодежи — писал Дмитриев Карамзину: и смешно и жалко... пусть молодежь ярится: мы улыбаемся».

Скептики были и в либеральном лагере: герой двенадцатого года Ермолов говорил, что «все останется при одном обещании всеобъемлющей перемены».

Последующее поведение Александра I не только не уменьшало, но увеличивало скепсис. Если Вяземский первоначально не отдавал себе отчета: «от души или с умыслом дурачит весь свет Царь», то через год он писал: «конституционные сени в деспотических казармах — уродство в искусстве зодчего — нам от их сеней не тепло, но им от наших казарм очень холодно». «Не быть им (полякам) свободными, пока мы будем в цепях» — утверждал видный член Тайного Общества Мих. Орлов, предсказывая, что «самовластный Император задушит царя конституционного». И действительно, в сентябре 20 г., при открытии новой сессии сейма Александр I говорил уже о царящем «духе зла» и о необходимости «насильственных средств для истребления самого расстройства». Борьба с «духом зла» приводила к предоставлению царевичу Константину carte blanche в делах Польши.

Вот обстановка, в которой развивалась деятельность Тайного Общества. С необычайной яркостью она запечатлена в пушкинских «Сказках», где с такой злой иронией охарактеризован облик «кочующего деспота» и сделан вывод: «пора уснуть бы наконец, послушавши как царь-отец рассказывает сказки».

Не конституцию, а военные поселения получила Россия «в награду за геройские усилия 1812 года». Тогда «мыслящие восстали на умственный подвиг». Мы не можем, конечно, останавливаться на истории деятельности Тайного Общества и разбирать многочисленные, до сих пор существующие,

контроверзы. Общество «истинных и верных сынов отечества», приняв устав немецкого Тугендбунда (т. е. Союза Добродетели) и получив наименование «Союза Благоденствия», в теории должно было итти не революционным путем, а достигнуть своих целей «медленным действием на мнения».

Но «мирный ход» Общества нарушало биение текущей политической жизни — надежды на «доброжелательства правительства» становились проблематичными.

В 20 г., отмечает приехавший из деревни Якушкин, многие члены Союза Благоденствия желают — «более решительных приготовительных мер для будущих действий», Пестель, прибывший в Петербург (ноябрь 19 г.) и проживший здесь пол года, начинает свою энергичную борьбу с программой мирных задач «Зеленой Книги». Пестель выставляет план республиканского революционного переворота. Кульминационным пунктом споров явилось совещание на квартире полк. Ф. Глинки, на котором Пестель выступил с докладом о выгодах и невыгодах монархического и республиканского правления. В результате обсуждения все присутствующие, за исключением хозяина, приняли преимущества республиканского строя — «le président sans phrases» — заявил будто бы умеренный Николай Тургенев.

За совещанием у Глинки последовало совещание у полк. Шипова, где поставлен был уже вопрос тактический и где вновь заговорили о больном вопросе — о цареубийстве... «Предложение сие, сделанное Пестелем — показывал Никита Муравьев — все присутствующие члены, кроме меня, отвергли, яко преступление и, кроме того, все они доказывали, что злодейство сие неминуемым последствием будет иметь анархию и гибель России. Пестель уверял, что Общество может отвратить анархию, назначив наперед из среды своей временное правление, облеченное верховной властью, дабы обеспечить порядок и ввести новый образ правления. Мысль сия нашла во мне одном только защитника и была опровергнута прочими. Собрание разошлось, ничего не постановив и сие предложение не было уже разбираемо». Каково было участие Лунина, входившего в руководящий орган Союза — Коренную Думу? Лунин показал, что на собрании у Глинки он был и что его «мнение было конституционно». Это конституционное мнение он определял так: «Правление с ограниченной исполнительной властью при монархе или президенте, полагая того и другого в одинаковом виде».

Приведенные данные не дают материала для обоснования утверждения биографов Лунина, что он, в качестве члена

Коренной Думы, «продолжал неизменно стремиться к введению в деятельность Тайного Общества революционных методов». Лунин очень решительно во время следствия утверждал противное: «революционные мысли и правила появились в Обществе, вероятно, с 1822 г., ибо до того времени не было явных признаков оных». В слова «революционные мысли» надо вкладывать карбонарский смысл, ибо, по признанию Лунина, «революционные мысли» в смысле желания нового порядка», были « с самого начала основой Общества». То, что говорил Лунин на следствии, нельзя объяснить только самозащитой, как нельзя объяснить лишь тактическими мотивами аналогичные суждения в историческом обозрении деятельности Тайного Общества и в критическом разборе правительственного донесения, написанных в Сибири. Те же суждения занесены Луниным и в его интимную записную книжку. Мы видим почти полное совпадение аргументации, изложенной перед следственной комиссией, с последующим взглядом на характер Тайного Общества. Движение Декабристов было «чисто нравственным и духовным» — записал Лунин в 36 г. Все «нравственное могущество Тайного Общества («мечтательная дерзновенность», по определению манифеста о декабрьском заговоре) заключалось в силе провозглашенных им начал». Убийство «совершенно не согласное с целью и духом общества», могло быть лишь «сметением расстроенных умов», временным и случайным отступлением от путей по которым шло Тайное Общество — оно действовало «умственной силой», «стремясь водворить в отечестве владычество законов, дабы навсегда отстранить необходимость прибегать к средству, противному и справедливости и разуму». «Великий политический союз» не был «обыкновенным только заговором против государства», как это изображала следственная комиссия. «Заговор не длится десять лет сряду»... «Заговорщики не занимаются сочинением книг»... «им не приходит на мысль испрашивать согласия у власти, которую намереваются ниспровергнуть», «заговорщики не остаются неподвижными каждый на своем месте, когда их намерения открыты, когда наполняются темницы и начались истязания... История всех народов и времен не представляет сему примера». («Разбор»). Знаменательно совпадение тезиса в историческом обзоре о том, что на первых порах правительство было заодно с заговором, что действия правительства служили «политическим залогом» для общества, — с утверждением на допросе, что «в тогдашнем понятии моем я полагал содействовать намерениям правительства: я был обольщен мыслью, что...

Тайное Общество ограничит свои действия нравственным влиянием на умы и принесет пользу приготовлением народа к принятию закона свободных учреждений, дарованных щедростью покойного Имп. Александра I и нам им приготовляемых». Во «Взгляде на Тайное Общество» Лунин писал: «нравственное влияние, произведенное развитием этих идей (т. е. «зрелость гражданственности») было так сильно, что Имп. Александр обязался даровать конституцию русским... Тайное Общество с признательностью и доверием к верховной власти приняло это обещание... Оно употребило все свои средства, чтобы исполнение этой мысли не зависело от пожизненного расположения и приготовляло Россию *познать, чувствовать и быть достойной блага свободы*».

Впоследствии Лунин должен был признать, что власть не оправдала надежд Тайного Общества, вероятно сомнения у него были и в годы, последовавшие за «варшавской речью». «Правительство нашлось принужденным вступать в состязание с Союзом» — писал он, и «неминуемым следствием» этих событий было восстание 14 декабря.

Самое выступление Лунин считал тактической ошибкой и объяснял его тем, что «Северное общество находилось тогда под влиянием правителей ревностных и деятельных, но не успевших еще приобрести опытность в делах»... «Волнения, которые они замечали, и ропот, отовсюду до них доходивший, наконец, и на них подействовали. Им пришла мысль, что наступил час решительный, дающий право изменить образ действия, постоянно сохраняемый, в продолжении десяти лет, и прибегнуть к силе оружия»... «Но столь внезапный переход должен был взволновать и смутить все понятия. Члены, увлеченные *внезапными страстями* на новое и, для них, незнакомое поприще не могли согласиться между собой, ни с новыми ежечасно прибывающими сподвижниками. От сего несвязанность принятых предначертаний для военных действий, недостаток порядка и единства в исполнении, вымысел для возбуждения солдат, разбуженных, но *не созревших для действия*, отсутствие распоряжения в решительное мгновенье» («Разбор»). Так полагал много передумавший и много переживший политический деятель. Избежим соблазна представить Лунина в момент страстных споров реальной политической жизни всегда неизменным, всегда последовательным и неколеблющимся. Прав был Пестель, сказавший: «едва ли найдется кто-либо из нас, который с самого начала все одно мнение бы имел». Но общая

Лунинская линия, вопреки выводам биографов, очевидно, далека была от намечавшегося последовательного якобинизма Пестеля.

Чуждый всякой демагогии, Лунин едва ли мог последовать за эволюцией Пестеля в сторону социального радикализма и политического якобинизма — органически ближе ему была противоположная эволюция взглядов Никиты Муравьева. Идея сильной революционной власти в эгалитарном демократическом государстве, которая подавляет во имя общего блага индивидуальную свободу и в особенности в период осуществления реформ «нового порядка», была чужда Лунинскому идеализму. Вероятно, с полной искренностью он писал впоследствии: «Тайный Союз никогда не имел странной мысли водворить образ правления по своему произволу... Он не думал право неотъемлемое у народа присвоить себе». Народовластие заключается в «свободном изъявлении воли частных лиц». Лунин верил в непреложность закона, который в своих набросках из русского прошлого, названных им «Розыском историческим», он определил словами: «без духа народного» не совершается коренных переворотов... Это — перефразировка позднейшей формулы: «все для народа, но и все через народ». Лунин говорил, что нельзя предвосхищать воли народной. Применяя современную терминологию, многие назовут Лунина 20-х гг. не революционером, а политическим деятелем, делавшим ставку на эволюцию власти. Однако, он не принадлежал к числу оптимистов. В его представлении «истина требует борения», а борение — «требует крови». Это — «неизменный закон нравственного мира». В Лунине не было только бакунинского бунтарства.

3. Лунин помещик

Нельзя сказать, что Лунин «мелькнул в Тайном Обществе как метеор», так как больше четырех лет он «деятельно», по собственным словам, участвовал в Союзе Благоденствия. Непосредственная работа в Союзе прервалась лишь в 1822 г., в момент отъезда в Польшу. В этой работе заслуживает быть отмеченной та ее сторона, которая касалась самой жестокой проблемы тогдашней современности — крепостного права. «Иго неволи», «рабство, несовместимое с духом времени» должно быть уничтожено. Такова ближайшая цель создания тайных обществ, таковы помыслы без исключения всех декабристов. Свободные учреждения должны были увенчать пре-

образования. «Заботиться о политической организации прежде, чем обеспечены социальные основы, значит думать об увеличении здания, лишенного фундамента» (Лунин). «Изгнанник, государственный преступник», утерявший все права состояния, Лунин в своих сибирских писаниях нашел негодующия слова для того, чтобы заклеймить развращающее влияние рабства на всю общественную и государственную жизнь страны, в которой «свод законов заключает в себе таблицу, где обозначена цена людей по возрасту и полу, где однолетнее дитя оценено дешевле теленка», в которой «судилища совершали купчие и закладные, подобно базарам, где торгуют человеческим мясом». «От повреждения одного корня в общественном дереве увядает вся растительность... Рабство выражается в наших нравах, обычаях и учреждениях... Впечатленные примерами безмолвного повиновения, мы утратили нравственную силу, отличающую человека и составляющую гражданина, мы не страшимся смерти на поле брани, но не смеем сказать слова в Государственном Совете за справедливость и человечество»...

«Тайный союз первый прервал молчание». Среди прервавших был и Лунин, вступивший практически на путь освобождения своих крестьян. Правда, реально он это сделал только в своем духовном завещании, составленном 27 марта 1819 г. В завещании Лунина некоторые биографы усмотрели противоречие с искательством новой жизни — от его завещания повеяло духом дворянской усадьбы. Ни карбонаризм, ни социальные утопии не оказали влияния на декабриста, когда пришлось решать вопрос о наследстве: «он поступил, как хороший помещик, как благоразмуный хозяин, отчасти, может быть, и как просвещенный и гуманный человек своей эпохи, но ничего общего не имеющий с революцией» (Чулков). Проект Лунина сводился к безземельному освобождению крестьян. Чулков, работа которого появилась в 1925 г., не был знаком с изысканием Грекова, напечатанным на страницах «Былого» в 1926 г. и обнаружившим первоначальный вариант Лунинской духовной. Только потому он и мог написать, что Лунину «даже в голову не приходила возможность земельного передела, которого так твердо требовал Пестель». Между тем, в первом варианте, составленном 28 февраля 1818 г. Лунинские крепостные наряду с «вечной волей» получали все «движимое и недвижимое свое имущество и сверх того по 6 дес. пахотной земли». Остальное имущество уделялось завещателем на устройство училища и богодельни. Если сопоставить этот вариант с тогдашними мыслями будущего

идеолога «земельного передела», то придется сказать, что Лунин значительно опережал в своем радикализме Пестеля. Опубликованная ныне Мильманом рукопись Пестеля «Практические начала политической экономии», которую публикатор относит к 1820 г., резко расходится с выраженной в «Русской Правде» точкой зрения на разрешение вопроса о крепостном праве: Пестель в ранней своей работе считает, что «гораздо лучше итти медленным, но верным шагом, освобождая крестьян постепенно». «Начните, — пишет Пестель, — с закона о том, что крестьянин не может быть продан без земли». По мнению Пестеля, «раб предварительно должен пройти несколько промежуточных этапов, прежде чем достигнуть положения свободного фермера». Надо сделать так, чтобы крестьянство, не имеющее ни «капитала, ни просвещения», способно было рационально эксплуатировать землю.

В официальном завещании, зарегистрированном в Опекунском Совете, Лунин изменил первоначальный проект и поручил своему двоюродному брату Н. А. Лунину, которого делал единственным наследником, «в течение пяти лет» со дня своей смерти — «непременно уничтожить... право крепостное над крестьянами и дворовыми людьми, не касаясь земель, лесов, строений, имущества вообще и прочих угодий». Гессен и Коган объясняют перемену намерений Лунина влиянием Ник. Муравьева, выступившего официальным свидетелем при составлении духовной: лунинское завещание было приведено в соответствие с господствующим течением в Союзе Благоденствия в пользу освобождения крестьян без земли. Биографы Лунина не следуют за «марксистским» трафаретом большевистской исторической школы и не пытаются объяснить проекты безземельного освобождения, рождавшиеся среди декабристов, только эгоистическими интересами помещичьего хозяйства, фундаментом которого была тогда не крепостная душа, а земля; по их мнению, декабристы усвоили себе одну только «политическую сторону» вопроса: они не сознавали еще, что и «юридически свободный крестьянин... впал бы... во сто крат худшее экономическое рабство к помещику, обладателю земельным богатством и орудиями производства». «Кровные защитники крестьян», как Лунин впоследствии назвал членов Тайного Общества, действительно этой антитезы «не сознавали», хотя и понимали весь ужас рабства социального (о нем писал Лунин) «Законы нравственного порядка» стояли у них на первом плане — «все должны быть равными в правах человеческих» (Н. Тургенев), и, если отрешиться от своего рода социологического гипноза,

то не трудно признать и правоту декабристов, ибо моральная неприемлемость крепостного права не могла быть и сопоставляема с вопросом экономической независимости: «классы, — писал Лунин, — не разделены никакой непреодолимой преградой; этого достаточно, чтобы переносить угнетение одних другими». Для Лунина непереносно было рабское состояние, когда человек приравнивался к животному и к вещи. Проекты освобождения крестьян, предложенные членами Тайного Общества, должны были показать владельцам, что «истинные выгоды их требуют освобождения крестьян и что это действие, справедливое и великодушное, послужит не к уменьшению, но к приращению их доходов» — другими словами надо было доказать, что вольный труд производительнее труда крепостного. Лунин ссылается на Царство Польское и области Балтийские, где освобождение крестьян совершилось «без малейшего потрясения». Не этот ли педагогический реализм руководил Муравьевым при советах самому Лунину видоизменить духовную? Не такой же ли показательный пример крепостникам должна была дать неудавшаяся попытка безземельного освобождения крестьян другого декабриста — Якушкина, попытка, которая была произведена одновременно с Лунинским завещанием?

В завещании Лунина были включены дополнительнительные пояснения, в сущности аннулировавшие основное положение о безземельном освобождении крестьян: «образ освобождения их от крепостного состояния, предоставление им прав и обязанностей крестьян в отношении доставления доходов избираемому мною ныне владельцу, зависит совершенно от воли его, брата моего, который может руководствоваться правилами, ему от меня внушенными». Так волю завещателя, превратившегося в «государственного преступника», лишенного прав распоряжаться имением своим, и толковал сам выполнитель духовной Лунина: «Не взирая на объявленную мысль завещания — писал он московскому ген.-губернатору Голицыну, — чтобы не касаться в сем случае земель, я в полном праве уделить им часть или вообще всю землю и сделать оных крестьян вольными хлебопашцами».

Почему Лунин, завещавший освободить своих крепостных «не долее пяти лет со дня его смерти», сам не совершил этого акта? Лунинский наследник пятилетний срок объяснял необходимостью очистить имение от долгов, которые перешли завещателю от отца. К вопросу о долговых обязательствах могли присоединяться и те соображения, которыми Пестель

аргументировал в эти годы необходимость постепенного обращения рабов в «класс свободных фермеров». Изучавшие систему хозяйства, которую ввел Лунин, засвидетельствовали, что он был очень рациональным эксплуататором своих земельных угодий и заботливо поднимал благосостояние крестьян. Крепостные Лунина находились в исключительных условиях: они были обеспечены землей и домашним скотом, детей их учили грамоте и ремеслам, работавшие на помещичьей фабрике получали хорошее содержание, снабжались продуктами и одеждой, потерявшим работоспособность давали пенсию и т. д.

В этой хозяйственной деятельности Лунин принимал непосредственное участие и в петербургский период своей жизни систематически отрывался от политической работы для поездок в деревню. Связанный вновь военной службой в Варшаве, он особо интересовался положением дела в дни наступившего экономического кризиса, и его приказчик Суслин, благожелательный и верный ему человек, отвечал на вопросы владельца: «состояние крестьян ваших нисколько не уронено, в этом я смело ручаюсь». Н. А. Лунин, имевший как бы высший надзор за Луниным хозяйством, в письме, помеченном 3 июля 1824 г., на запрос своего брата писал: «тебя беспокоят, друг мой, дела по имению... главное зло твоего Сергиевского по моему мнению есть необычайные расходы по имению и по содержанию дворовых людей. С того времени, как ты получил имение и из доходов берешь себе на прожиток, едва ли не меньше того, что получал от почтенного отца твоего, расходы по имению с того времени не только по примеру твоему не сократились, а едва ли — не удвоились»... Слово и дело у Лунина не расходились.

4. Душевная драма

В начале 22-го года Лунин покинул Петербург и зачислился на службу в польский уланский полк того Отдельного Литовского Корпуса, которым командовал вел. кн. Константин Павлович. Для всех почти биографов нет сомнения, что причины, побудившие «законченного карбонария» неожиданно решиться на такой шаг, лежали в его разочаровании от «бесплодных споров» и неопределенной тактики революционного сообщества. Надо признать, что для «законченного карбонария» и при разочарованности все-таки было бы слишком нелогично революционный меч сменить на служебную лямку под началом такого страстного фронтовика, каким был цеса-

ревич Константин. В показаниях своих Лунин заявил: «Причины, побудившие меня уже с давнего времени были: непостоянный и безуспешный ход занятий общества, изменение в предположенной цели и в средствах к достижению оной, бесполезное размножение членов Общества, уклонение от законо-свободных правил, ложное истолкование моих собственных мнений и наконец, я не имел того влияния на Общество, которое хотел иметь и которое я надеюсь, было бы не бесполезно для общей цели». Тут же Лунин добавлял: «Не поставлю себе в оправдание отдаление мое от Тайного Общества и прекращение моих с оным сношений, ибо я продолжал числиться в оном. И при других обстоятельствах продолжал бы, вероятно, действовать в духе оного». Отнесем часть этих показаний на долю самозащиты, и все-же из них ясно видно, что охлаждение Лунина скорее обусловлено наметившимися изменениями «предположенной цели» Общества, чем его недостаточной революционностью.

Наличный материал не дает нам возможности разгадать полностью тайну жизни Лунина. Исследовательские работы в этом отношении далеко еще не закончены. Легдо допустить, что Лунин, как и другие декабристы, нередко испытывал разочарование в своей политической работе и временами очень сильное. Влияние Лунина в делах Тайного Общества вовсе не было «ничтожно», революционное «честолюбие» его отнюдь не было затронуто, но он мог сознавать, что жизнь действительно толкала Тайное Общество на «уклонение от законо-свободных правил».

Так или иначе, Лунин фактически отошел от активной повседневной политической работы. Разрыва с прошлым не было, ибо сам он показал: «Определяясь на службу в 1822 г., я действовал, повидимому, сообразно правилам Тайного Общества». — «Отдельный Литовский Корпус» Лунин избрал не потому, что хотел «отдалиться» от прежних своих политических друзей. К берегам Вислы его тянул особый магнит. О личной драме, пережитой Луниным, мы можем судить лишь по намекам в позднейших сибирских записях. В дневнике от 9 апреля 1837 г. сибирский «изгнанник» рассказывает нам о «смятении», вызванном в его душе пением, которое он услыкал «впервые после десятилетнего заключения»: «Музыка была мне знакома, но в ней была для меня прелесть новизны, благодаря контральтовому голосу, а, может быть, благодаря той, которая пела (М. Н. Волконская). Ария Россини произвела впечатление, которого я не ожидал. Музыка опаснее слов неопределенностью своего выражения... Если есть зло в пе-

нии, сопровождающем псалмы царя-пророка, то что же сказать о музыке, выражающей разнузданные людские страсти? Однако, смятение, вызванное слышанным пением, все еще продолжалось. Несмотря на усилие мысли вознестись в свойственную ей эфирную высь, она блуждала по земле. Воображение воспроизводило всевозможные видения: старинный замок с зубчатыми башенками, молодую владелицу замка с лазоревым взглядом, ее белое покрывало, развивающееся в воздухе, как условный знак, голоса серенады и лязг оружия, нарушавший гармонию. Безумные, преступные мысли моей юности!» Впечатление было столь сильно, что через три недели в письме к сестре Лунин возвращается к апрельскому видению. Письмо 1 мая, озаглавленое — «Прощание», представляет целое стихотворение в прозе: «После долгого заточения в казематах память производит лишь неясные и бесцветные образы, подобно планетам, отражающим лучи солнца, но не передающим его теплоты. Однако, у меня сохранились сокровища в прошлом. Помню наше последнее свидание в галлерее Н-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную, дождливую погоду. На ней черное, тафтяное платье, золотая цепь на шее, а на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка — освободителя Вены. Ее девственный взор блуждал вокруг, как будто следил за причудливым изгибом серебряной тесьмы моего гусарского долмана. Мы шли вдоль галлереи молча; нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой, глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы завидели Вислу: ея желтые волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе без видимой причины резко отличалось от глубокой тишины внутри нас. Вдруг удар колокола потряс окна, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria, протянула мне руку и скрылась. С этой минуты счастье в здешнем мире исчезло также. Моя жизнь, потрясенная политическими бурями, обратилась в беспрерывную борьбу с людьми и обстоятельствами. Но прощальная молитва была услышана. Душевный мир, которого никто не может отнять, последовал за мной на эшафот, в темницу и ссылку. Я не жалею ни об одной из своих потерь. Правнучка воина является мне иногда в сновидениях, и чувство, которое бы ей принадлежало исключительно, растет и очищается, распространяется на моих врагов»...

При некоторых изысканиях не трудно было бы установить имя этой, пока еще таинственной незнакомки, правнучки Яна Собесского. Сопоставление некоторых хронологических дат позволяет заключить, что генезис варшавского романа надо искать в предшествующих годах — вспомним, напр., неожиданную поездку Лунина в 20-м году в столь отдаленную от его родной деревни Виленскую губернию.

Образ прекрасной полячки открывает нам путь для проникновения в святая святых религиозных переживаний политического изгнанника в Сибири. По мнению М. О. Цетлина, отход Лунина от Тайного Общества был вызван отчасти его идейным расхождением с товарищами, многие из которых были деистами и даже материалистами, тогда как он был верующим католиком. Едва ли это оказало влияние — очевидно, религиозные воззрения Лунина окончательно сложились уже в дни пребывания в Польше (здесь, думается, прав Г. И. Чулков). В Петербургский период ему чужды еще были афоризмы, впоследствии занесенные в «записную книжку». Чары «молодой владетельницы замка с лазоревым взглядом» и создали особый романтический нимб католическому культу в глазах Лунина. В том же 37 г. в записной книжке мы встречаем такой дифирамб католической женщине: «Католическая религия воплощается... так сказать видимо в женщине. Она дополняет прелесть их природы, возмещает их недостатки, украшает безобразных и красивых, как роса украшает все цветы. Католичку можно с первого взгляда узнать среди тысячи женщин по осанке, по разговору, по взгляду. Есть нечто сладостное, спокойное и светлое во всей ее личности, что свидетельствует о присутствии Истины. Последуйте за ней в готический храм перед алтарем; погруженная в полумрак, поглощенная потоком гармонии, она являет собою тех посланцев неба, которые спускались на зем-лю, чтобы открыть человеку его высокое призвание. Лишь среди католичек Рафаэль мог найти тип Мадонны» ... «Запис-ная книжка» пресыщена восхвалениями латинской церкви, ее догматов и обрядов; вся ее внешняя структура отвечает условиям поэзии и «изящества» — и в живописи, и в архи-тектуре и в музыке. Лунин оттеняет исторические заслуги перед человечеством римских первосвященников, в течение
ве.ов выступавших с оливковой ветвью мира. «Западная церковь никогда не прибегала к сомнительному и опасному опыту — взывать к страстям и народным буйствам; она хотела действовать на разум, искоренить злоупотребления посредством постепенного улучшения национальных учрежде-

ний; у нее была та сила, которая дается глубоким убеждением, честной целью и благородством стремлений. В Российской Империи, как издревле в Византии, религия, отвлекаясь от ее божественного происхождения, есть одно из тех установлений, посредством которых управляют народом; изменения, которым подвергалась Восточная Церковь, исходили от светской власти или получали ее одобрение; служители церкви в то же время прислужники государя».

Лунин делал и политические выводы: русская церковь, покорствующая «предержащей власти», только препятствует «водворению представительного порядка вещей, который повсюду развился под влиянием католицизма». Он пытается опровергнуть утверждение, что «протестантизм благоприятствует политической свободе» — «исторические факты доказывают противное»; протестантизм, на его взгляд, вообще, «религия умов ограниченных». Идеализация католической религии и католической церкви объясняет, как мог Лунин соединить политическое вольнодумство с католическим правоверием. Но как мог он с этой мистикой сохранять свою жизнерадостность и общительность?

Непостижимым образом этот удивительный человек умел внешне соединять разнородное. Он сохранил ненарушимым и благорасположение к себе в. кн. Константина, являвшего собой хаотическую смесь благородных рыцарских черт с самодурством крепостного деспота (Константин был истинным сыном Павла). Константин, претерпевал все выходки своего доверенного адъютанта, хотя под час они граничили с прямым издевательством над фронтовой парадоманией шефа. Современники говорят, что в Варшаве Лунин продолжал вести широкий и утомительный образ жизни светского гвардейца. На допросе Лунин утверждал, что он посвящал «все свое время и все усилия на точное исполнение возлагаемых на него по службе обязанностей» и ссылался при этом на «мнение высокого начальства, под коим имел счастье служить»: в подтверждение Константин свидетельствовал перед военным министром, что Лунин «действительно всегда был из числа отличнейших офицеров». А между тем богатейшая и разнообразная библиотека, собранная Луниным еще до момента, когда судьба занесла меч над его головой, и пересланная впоследствии стараниями сестры в Сибирь, также неопровержимо свидетельствует, что Лунин всю свою жизнь неустанно продолжал совершенствоваться в «политических предметах», как он отметил на допросах. Одновременно он изучал католическое богословие и читал в подлинниках творения св. отцов. Надо

было обладать исключительной одаренностью, чтобы так «беспечно» жить и так глубоко думать.

Бездействовал ли Лунин в Польше, как член Тайного Общества, одной из задач которого, в его представлении, являлось воздействие на правительство? И здесь еще лунинская эпопея требует своего исследователя. В одном из последних писем к сестре он вспоминал: «Я боролся в Варшаве против системы, принятой в Польше и обнаружил ее гибельные последствия. Меня осудили на смерть. Четыре года спустя Польша восстала». Из более раннего письма видно, что Лунин имел в виду в данном случае противодействие планам своего «политического противника» Новосильцева, которые сводились к уничтожению самостоятельной польской конституции и к созданию наместничества. Деятельность Лунина в Варшаве, надо думать, была известна членам Тайного Общества в России — не даром на юге, когда начались переговоры с поляками, именно Лунин заглазно был избран для дальнейших, ответственных сношений с ними. Естественно, что об этом «решительном человеке», исполненном «любви к отечеству», вспомнили в пестелевском окружении и тогда, когда опять заговорили о пресловутой «cohorte perdue», которая должна была совершить «цареубийство и этим начать» «le premier acte de la révolution». Для судьбы Лунина легенда о его карбонаризме, обманувшая Пушкина и действительно дававшая «ложное толкование» некогда выраженного им мнения, была роковой.

С. Мельгунов

(Окончание следует)

СОВЕТСКИЙ СТРОЙ И МЫ

(Записка советского интеллигента) *)

Официальной точкой зрения советского правительства и коммунистической партии в России является, что общественное мнение там представлено полностью советской прессой. Вероятно, не надо доказывать, что не может не быть среди 180 миллионов населения людей, имеющих мнения отличные от так называемого «общественного»; эти люди, если бы они собственное мнение решились там высказывать, были бы причислены немедленно к так называемым врагам народа или агентам фашизма, или к троцкистам, — в зависимости от обстоятельств.

Мы в Советской России могли разговаривать на политические темы с очень узким кругом лиц — только с теми, с кем мы были связаны многолетней дружбой. Разговоры на политические темы велись большей частью с одним собеседником или, при условии, что каждый знал друг друга достаточно хорошо, с двумя; если двое из собеседников знали каждый очень хорошо третьего, но друг друга знали мало, разговоров о политике обычно не вели, а при большем числе лиц, по установившейся традиции, политических тем не касались никогда. Квартирные условия также не способствовали тому, чтобы встречаться в одном доме нескольким лицам одновременно: было и тесно и опасно. В коммунальных квартирах боялись соседей; в отдельных квартирах, посещение посторонних лиц, особенно нескольких одновременно, вызывало подозрение управдома и добровольных наблюдателей живущих в доме.

Излагая свое отношение к советскому строю и называя его при этом — наше, или говоря — мы, автор имеет в виду себя и своих друзей. Если, может быть, по некоторым частным вопросам и не все из них думали всегда одинаково, в

---

*) Мы печатаем эту записку, полученную нами из Европы, как документ, выражающий настроения части советской интеллигенции. По понятным причинам записка подписана псевдонимом, но настоящее имя автора редакции известно. Ред.

общим по отношению к советской системе среди них было полное единодушие, и по духу своему и по настроениям друзья автора были вполне родственны ему. Для всех нас была самоочевидной полная неприемлемость советского строя во всех его проявлениях.

В нашем ощущении, в Советской России существовало два мира: м ы — противники советской власти, которые ничем не смели выдать своих мыслей и считались «честными советскими гражданами», и о н и — люди партийные, представители власти, с которыми мы имели только официальные отношения и ни в какое личное общение не входили. Чтобы ответить на вопрос, п о ч е м у советский строй для нас был неприемлем, пришлось бы подробно описывать советский строй и жизнь в советской России. Вместе с ответом на вопрос «почему» это было бы лучшее обличение советского строя. В этом и заключается миссия политических эмигрантов из Советской России, число которых не так мало, но которые вынуждены пока, увы, скрываться от преследований, которым их подвергают во исполнение решений Ялтинской конференции.

Из полной, для нас, неприемлемости советского строя вытекало и наше отношение к директивам власти, касающимся внутреннего положения, и к ее внешней политике. Не серьезной критики они заслуживали, а немедленной реакции в виде вопроса: а какой подвох и кому готовится очередным «решением партии и правительства»? Если это касалось, например, введения паспортов, то кому следует этого бояться? — Оказывалось, что, главным образом, крестьянам и «лишенцам», которые паспортов не получили. Если это была новая конституция, — то против кого она была направлена и какие задние мысли руководили ее творцами? Оказывалось, что она направлена была против врагов советского строя заграницей, иначе говоря была блёфом для заграницы, а одновременно и новой формой пропаганды для дальнейшего одурачивания советских подданных из малокультурных слоев населения. Например, в новой конституции уже истребленные лишенцы объявлялись упраздненными как категория, то-есть теоретически признанными равноправными; «основные права и обязанности граждан», изложенные в главе X конституции, говорили прямо противоположное тому, что было в действительности — в рассчете на то, что, имеющий «свободу слова» и даже «обеспеченный бумагой» для его выражения, подданный советской диктатуры и это молчаливо стерпит. Когда в 1937 году, через полгода после принятия новой конституции,

начались массовые аресты и к людям по ночам приходили делать обыски и забирали в тюрьмы, некоторые наивные пытались ссылаться на только что введенную конституцию, на что получали ответ: «сталинская конституция существует только для честных людей».

После того, как новый зигзаг советской политики осмысливался и являлась возможность установить, против кого он направлен, к нему начинали уже относиться насмешливо-критически, что влекло за собой иногда появление политических анекдотов; последние строго преследовались: каралось не только рассказывание, но и слушание их, но тем не менее они подхватывались и быстро распространялись среди публики.

Относительно так называемой «эволюции» у нас не было иллюзий: мы никогда не считали, что советский строй может когда-нибудь эволюционировать. С 1917-го по 1942-ой год никакой эволюции не произошло; то, что издали может приниматься за эволюцию, в действительности только маскировка и за таковую мы принимали: «демократическую» конституцию, военные звания, пропаганду в националистическом духе, новую политику по отношению к церкви и т. д. Мы считали, что при тех принципах, которые лежат в основе советского строя, и при тех людях, которые стоят во главе советской власти, этот строй и эта власть никогда не могут сделаться приемлемыми для России. Другой же мир внутри советского государства — люди партийные, ни о какой эволюции не думают; идейные коммунисты, которые о чем то думали, давно уже за эту вольность поплатились; современным же носителям партийных билетов никакая эволюция не нужна — их советская власть вполне удовлетворяет. Таким образом в Советской России ни тому, ни другому лагерю не могло показаться, что происходит эволюция, и мы никогда на нее не рассчитывали.

Касаясь нашего отношения к отдельным событиям и этапам в истории советского строя, скажу прежде всего об индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.

Индустриализацию, на русско-советском языке, или промышленное развитие, на русском, принято ставить в особую заслугу советской власти. Мы смотрели иначе: мы никогда этого в заслугу советской власти не ставили.

Во-первых, о действительной индустриализации известно очень мало. Широкая публика заграницей, как и в Советской России, имеет представление об индустриализации только по пропагандным советским материалам; официальных статисти-

ческих данных она не знает. Кроме того даже и на данных советской официальной статистики основываться нельзя, так как в них, для получения наиболее внешне-выгодных результатов, применяется много заведомо неверных способов исчисления. К числу излюбленных советской статистикой цифровых трюков относится способ исчисления выпущенной продукции или производительности какой-нибудь отрасли промышленности относительно к тому времени, когда эта отрасль была в зачаточном состоянии или ее не было совсем. Объем продукции текущего года делят на цифры близкие к нулю и получают в процентах громадную цифру. Скажем в 1913 году производилось 10 электровозов (электрических локомотивов), а в 1940 — 100 в год. По сравнению с 1913 годом эта отрасль промышленности возрасла в 10 раз — получается уже эффектная цифра, или на 900% — цифра еще более эффектная. Если же производительность этой отрасли сравнивать с тем временем, когда выпускался один электровоз в год, то получится, что она возросла к 1940 году в 100 раз или на 9900%. Когда была объявлена первая пятилетка индустриализации, мы отнеслись к ней сперва серьезно, но впоследствии стало выясняться, что действительное строительство отстает от планов, а одновременно с этим появился лозунг «пятилетка в четыре года!» — Это вызвало недоумение и недоверие, которые еще более усилились, когда было объявлено, что она закончена досрочно, вместо пяти в четыре года, в то время как многие заводы, предусмотренные ею, построены совсем не были. Последующие пятилетки вызывали мало интереса и касались больше наркоматов, главных управлений и трестов, чем публики, и отошли в область формального планирования и учета. Действительное положение в вопросе об индустриализации могли знать те из нас и только в той отрасли, в которой сами работали.

Автор может сказать приблизительно о положении в угольной промышленности. По общему представлению, самая мощная советская промышленность и в том числе угольная, созданная за время пятилеток, находится на Урале и за Уралом. Действительно — громадные промышленные запасы угля разведаны теперь на открытых в дореволюционное время месторождениях его в Кузбассе — в Западной Сибири и на вновь открытых при советской власти месторождениях в Караганде, в Казакстане, каждое из которых превышает по своим запасам Донецкий бассейн; но тем не менее главным поставщиком угля был до начала войны старый Донбасс, в котором добывалось значительно более половины всей про-

дукции страны, и старый Донбасс дает уголь, который более чем на ¾ добывается в старых шахтах, заложенных в дореволюционное время; почему оккупация Донбасса во время войны и была большей потерей для страны.

В пропаганде индустриализации не последнее место занимает постройка гидроэлектрических станций — отрасль с которой автор знаком более, чем с другими, — а Днепрострой считается каким то символом советской индустриализации. О том, что в России построен Днепрострой, знает во Франции и в Германии каждый школьник. Установленная мощность на Днепрострое равна 500 тысячам киловатт. Едва ли кто-нибудь из неспециалистов в Европе, а тем более в России, знает, что почти одновременно с Днепростроем в Соединенных Штатах на реке Колорадо построена плотина Боулдер-Дам, высотой 200 м. с гидроэлектрической станцией при ней в 2 миллиона киловатт, т. е. ровно в четыре раза больше Днепростроя и больше чем все вместе взятые, включая и Днепрострой, гидроэлектрические станции, построенные при советской власти в России, не считая того, что в Соединенных Штатах одновременно построено и много других больших гидроэлектрических станций такой же приблизительно мощности, как наш Днепрострой.

Другим, еще более характерным, примером советской индустриализации, который каждый не будучи специалистом может точно проверить у себя дома, не прибегая ни к каким цифрам, взглянув лишь на географическую карту России, служат железные дороги. Во всех странах мира первым признаком индустриализации служило развитие железных дорог. Если же сравнить железнодорожную сеть царской России с современной сетью, то можно легко обнаружить, что увеличение ее ничтожно; если не знать где построены новые линии, то сперва можно вообще не заметить разницы между старой и новой сетью железных дорог. Из этих примеров мы делали первый, но не главный вывод, определявший наше отношение к индустриализации, — что общее представление о ней было сильно преувеличено.

Во-вторых, оценивая индустриализацию в Советской России, мы считали возможным сравнивать ее успехи только с тем положением, которое должно было бы быть в России в соответствующие годы, если бы промышленность развивалась такими же темпами, как это было перед мировой войной 1914-18 годов. Мы, исходя из этого, считали, что не будь индустриализация России прервана в конце мировой войны революционными событиями, Россия вероятно достигла бы

более высокой степени индустриализации, чем та, которая была налицо накануне второй мировой войны. Мы не забывали также того, что каковы бы ни были «темпы» индустриализации во время первой и последующих пятилеток, они не могли наверстать упущенное время — 11 лет с 1917 по 1928 год, когда ни один крупный завод построен не был. Нас, кроме того, всегда удивляло, что советская власть ставила себе в заслугу индустриализацию и что многие с этим соглашались, в то время, как никогда никакому другому правительству в других странах до сих пор никто не ставил в особую заслугу, когда страна нормально и быстрыми темпами развивалась в промышленном отношении.

Мы, особенно молодые специалисты — техники, с огромным интересом следили за индустриализацией и техническими достижениями Америки и Германии, о которых мы знали по многочисленным техническим журналам, которыми мы пользовались в работе и которые рекомендовались нам для подготовки дипломных работ в высших школах. Мы, поэтому, могли сравнивать нашу индустриализацию с прогрессом передовых индустриальных стран и это сравнение было не в пользу Советской России.

На основании всего этого, мы приходим к нашему главному выводу, что наличие советской власти задержало индустриализацию России на многие годы.

Уничтожение частного хозяйства в деревне, т. е. «переход на социалистические формы земледелия», как иначе называлась коллективизация, было сделано, приблизительно, в течении двух лет. Мы считали, что основной целью коллективизации было создание таких условий, при которых все сельско-хозяйственные продукты, в первую очередь хлеб, могли бы поступить в государство помимо крестьян, т.. е. чтобы крестьяне были устранены от продукта своего производства, а государство не зависело от крестьян. Имея дело с колхозами, в которых крестьяне фактически стали сельско-хозяйственными рабочими, государство стало получать хлеб автоматически по заранее распределенным нормам обязательных хлебных поставок. Государство, при этом, заранее знало, сколько оно получит хлеба, знало, что никто не может скрыто противодействовать поставкам, как это возможно при частном хозяйстве и, кроме того, государство получило возможность само назначать цены на хлеб и другие продукты; последнее обстоятельство позволило государству получать хлеб и другие продукты по таким низким «заготовительным» ценам, что фактически оно стало их иметь бесплатно. Офици-

альной мотивировкой коллективизации служил тот принцип, что крупные, объединенные сельские хозяйства выгоднее мелких, одиночных, что уничтожение чересполосицы позволяет машинную обработку земли и что только при колхозной системе возможна вообще индустриализация сельского хозяйства. Едва ли можно против этого что-нибудь возразить, но, когда одновременно с этим отбирается продукт крестьянского труда, — коллективизация приобретает совершенно другой — «социалистический» — характер. Общеизвестен факт, что то, что на советском языке называлось добровольной, означало в действительности принудительную коллективизацию, которая была проведена с беспримерной жестокостью. Крестьяне, оказавшись в колхозах и будучи очень мало заинтересованы в общем хозяйстве, стали безучастно относиться к своему труду и тем самым сводить на нет выгоды крупного хозяйства. Несмотря на это, существование колхозов для государства вполне оправдывается, главная выгода — хлеб в руках государства — для него осталась.

Официальные сведения, опубликованные академиком Струмилиным говорят, что общий урожай в России по сравнению с 1913 годом понизился, что свидетельствует, если принять во внимание увеличение посевных площадей, о значительном падении урожайности при колхозной системе. Падение животноводства по сравнению с 1913 годом также весьма значительно даже по данным приведенным в докладе Сталина последнему перед войной съезду партии.

Естественно, что мы, так же как не видели достижений в индустриализации, были против колхозов и считали, что первым шагом будущей новой власти должен быть декрет о земле — земля крестьянам! — то есть иначе говоря разрешение свободного выхода из колхозов с наделением крестьян землей, но без запрещения, естественно, крупного кооперативного сельского хозяйства с правом для крестьян свободно распоряжаться продуктом своего труда.

Нужно вспомнить еще и о миллионах высланных из деревни раскулаченных крестьян, многие из которых потом погибли на принудительных работах, и о миллионах умерших от искусственного голода на Украине и на Северном Кавказе в результате обязательных хлебных поставок государству в первые годы колхозной системы. Коллективизация имела и еще одну цель — доставить бесплатную рабочую силу на новые строительства, каковой стали раскулаченные крестьяне. Коллективизация, по нашим взглядам, относится к числу самых тяжелых преступлений совершенных советской властью.

Одним из последующих событий в Советской России, которому заграницей склонны приписывать политическое значение, было введение новой конституции. Упомянув уже о конституции, как о примере нашего общего отношения к решениям советской власти, здесь можно добавить, что новая конституции, сменившая старую, по виду тоже вполне демократическую, ничего не изменила в политической структуре советской власти. В отношении избирательной системы, новым явилось тайное голосование, что сперва вызвало даже и в Советской России некоторое недоумение, которое, впрочем, скоро рассеялось. Для нас было совершенно очевидно, что кандидатами на выборах будут только лица допущенные или вернее рекомендованные властью, что и подтвердилось; когда представители церкви пытались выставить своих кандидатов одновременно с кандидатами, рекомендованными властью, то против этого была поднята в печати кампания, не оставлявшая сомнений в том, что вслед за выступлениями печати выступят и органы государственной безопасности (НКВД).

Кроме того, что кандидатами были лица рекомендованные, их выдвигалось при выборах в Верховный Совет только по одному на одно место, поэтому и чисто теоретически никакой борьбы при выборах быть не могло. С внешней стороны и выставление кандидатов и агитация, изображавшая предвыборную кампанию, проводились с соблюдением всех «демократических» правил, но едва ли кто-нибудь принимал это серьезно. Будучи статистами в представлении, все при этом принимали вид, говорящий о важности происходящих событий.

Тайное голосование, которое, по крайней мере в Ленинграде, по внешнему виду, вполне соблюдалось, представляло избирателю две возможности: или заклеить в конверт полученный им избирательный бюллетень с единственным внесенным в него кандидатом, или же вычеркнуть его фамилию, заклеить в конверт и опустить в урну пустой бюллетень. Бюллетени выдавались лично в руки избирателю и против его фамилии в списке избирателей делались отметки о вручении бюллетеня; на самом бюллетене никаких пометок не делалось, одновременно избиратель получал почтовый конверт для вкладывания в него бюллетеня. Далее избиратель переходил в другую комнату, где были устроены переборки с занавесями вроде кабинок общественных телефонов-автоматов, в которых избирателю предписывалось заклеить бюллетень. Судя по всему этому, как будто бы, вычеркнуть кандидата в Вер-

ховный Совет и аклеить пустой бюллетень опасности е представляло.

Мы тем не менее этого не делали. Мы не видели в этих выборах какого либо политического действия, мы не принимали их всерьез, мы только исполняли свою обязанность, так же как мы ежегодно это делали, подписываясь на заем в размере ¾ своего среднего месячного заработка. Опускание пустых бюллетеней могло бы иметь некоторое моральное значение, но при той обстановке полной морально-политической подавленности и той атмосфере общего гнета и бесправия, которые царят в Советской России, выражение такого слабого протеста никого удовлетворить не могло бы, и кроме того мы не решались на это, так как не вполне были уверены, что это было безопасно.

Равенство, объявленное конституцией в отношении различных прав было также условным. После введения новой конституции, как и до нее, при поступлении на новую службу или в высшее учебное заведение, в заполняемых поступающим анкетах, задавались вопросы не только о социальном происхождении, имущественном положении поступающего и его родителей до революции, но и вопрос о сословном происхождении. Кроме того, в последние годы перед войной, особенно детализировались вопросы «о родственниках или близких знакомых», находящихся заграницей, о родственниках «репрессированных органами НКВД», а также и вопросы об участии в гражданской войне, о службе в учреждениях белых правительств и о пребывании на их территориях.

Основные права и обязанности граждан в отношении их материального положения — различные обеспечения провозглашенные конституцией — могут рассматриваться только в разрезе общего материального положения населения в Советской России, которое находится много ниже самого низкого уровня наиболее отсталых стран Европы, а, вероятно, и колониальных стран.

Мы расценивали конституцию, как акт, направленный, главным образом, по адресу заграницы; путем смешения понятий и вкладывания, вопреки общепринятому, совершенно другого смысла в слова, трактуя по своему демократию и свободу, советская власть, в лице Сталина, прикрывала этим свою самую крайнюю из всех существовавших тогда диктатур. Первые разговоры о новой конституции в Советской России, начались вскоре после прихода к власти Гитлера в Германии; конституция должна была служить формальной базой для того, чтобы советскую террористическую дикта-

туру, в отличие от диктатур в фашистских странах, выдавать за демократию и относить Советскую Россию в разряд демократических стран.

Новая конституция в России была нами забыта так же скоро, как и фамилии кандидатов, за которых мы «тайно» голосовали в Верховный Совет.

Одним из проявлений советской диктатуры, которое лишний раз подтверждало наше право называть ее террористической, служили московские процессы так называемых вредителей и сопутствовавшие им многочисленные аресты, с последующей расправой, лиц, никогда в этих процессах не фигурировавших. Одним из более ранних процессов был так называемый процесс Промпартии. В отношении этого процесса мнения большинства из нас сходились на том, что никакой Промпартии вообще никогда не существовало. Профессор Рамзин, известный инженер и изобретатель, специалист по паровым котлам, фигурировал на этом процессе в качестве лидера этой партии, но, будучи главным обвиняемым, всетаки был не расстрелян, как и громадное число лиц, не участвовавших в открытом процессе, но обвиняемых по делу Рамзина или Промпартии и осужденных в особых заседаниях троек тогдашнего ГПУ.

Мы считали, что процесс Промпартии был провокацией и что главным провокатором, вероятно по принуждению, был Рамзин. Мы считали, что задачей этого процесса было удалить всех тех лиц из интеллигенции, которые могли бы, — в случае тяжелых потрясений в результате коллективизации и при других трудных обстоятельствах, когда Сталин не добил еще партийную оппозицию, — оказаться опорой для любой другой власти, т. е. уничтожить потенциальных врагов. Всех потенциальных врагов уничтожить было невозможно, поэтому тогда решилась судьба наиболее опасных, иначе говоря наиболее крупных представителей интеллигенции в Москве, Ленинграде и провинции. Процесс Рамзина происходил в начале тридцатых годов, когда маскировка взглядов и поведение интеллигенции не достигла еще такого совершенства, как это стало позже, поэтому распознавание инакомыслящих тогда было легче. По поводу близких знакомых и родственников автора, осужденных по этому процессу, ему известно, что эти лица не только не участвовали, но и не слышали о существовании Промпартии до того момента, пока следователь не объявлял им, что они обвиняются в соучастии в ней. Позже, в одной из командировок на Дальний Восток, автор встретил одного бывшего морского офицера, осужденного на 10 лет

по этому процессу (и позже погибшему от невыносимого тяжелого труда на золотых приисках в Колыме), который ему рассказал, что во Владивостоке был составлен каким-то провокатором список лиц, на которых может опереться в своих действиях Промпартия, и этот список был передан в ГПУ (в этом списке был и он, ничего об этом не зная), после чего судившие этих лиц чрезвычайные тройки предъявляли им обвинения в соучастии в Промпартии. То же было и в одном из южных городов, и, вероятно, и в других городах, потому-что в связи с процессом Промпартии волна арестов прокатилась по всей России.

С начала тридцатых годов и до 1938/39 года было много процессов, в которых обвиняли интеллигенцию или во вредительстве, или во вредительстве вместе со шпионажем, или во вредительстве и пособничестве фашизму, или в «троцкистско-фашистском» шпионаже, а один раз, случайно, в «Ленинградской Правде», в связи с одним делом, по которому бесследно исчез в 1937 году один знакомый автора, назывались «младороссы», о которых раньше никто не слыхал, как и вообще мы ничего не слыхали и не знали об эмигрантских организациях. В конце двадцатых и в начале тридцатых годов было много процессов называвшихся: вредителей на транспорте, вредителей в металлургии, в электропромышленности, в угольной промышленности, в военной и т. д. и т. д. Мы считали, что эти процессы преследовали несколько целей: первую — ту же, что и в процессе Рамзина — удаление потенциальной оппозиции, вторую и не менее важную для власти — показать широким массам малокультурного населения, рабочим молодого поколения в первую очередь, что все нелады в стране, отставание и невыполнение планов пятилеток, нехватки строительных материалов и их неправильное распределение, тяжелое продовольственное положение, которое тогда еще способно было вызывать ропот недовольства — результат работы вредителей. Последняя цель была в значительной степени достигнута: очень многие верили, что виноваты во всем вредители; было время, когда буквально наступил искусственно созданный психоз подозрений всех во вредительстве, что служило благоприятной обстановкой для удаления интеллигенции из гражданской жизни. Наконец, третьей целью процессов вредителей было использование под надзором ГПУ — НКВД бесплатного принудительного труда, главным образом технической интеллигенции, осужденной во вредительстве. Осужденная интеллигенция работала на многочисленных строительствах НКВД, на которых в качестве рабо-

чей силы использовались раскулаченные крестьяне и уголовный элемент. На открытых процессах вредителей фигурировали только десятки лиц, а в то же время в связи с каждым процессом осуждались в закрытых заседаниях Чрезвычайных Комиссий тысячи человек и очень часто наказания были значительно строже, чем выносимые на открытых процессах главным обвиняемым. Высшая мера наказания — расстрел, — доставалась лицам наиболее вредным, по взгляду властей, с политической точки зрения и наименее полезным, как специалисты; первое обстоятельство превалировало над вторым: много очень крупных специалистов было расстреляно.

Приведенные объяснения причин, вызывавших эти процессы, приводили нас к заключению, что вредительства, сознательного, как метода борьбы с советской властью, не было. В кругу лиц, с которыми был связан автор, из числа уцелевших или пострадавших, не было таких, которые были бы вредителями. Мы считали, что так называемое вредительство, как метод борьбы с советской властью, не могло достигать цели. С другой стороны, организация «процессов вредителей» настолько выгодна была для власти, что едва ли она этим не воспользовалась бы даже при отсутствии всякого действительного вредительства, что мы и предполагали.

Другим типом судебных процессов в Москве были процессы оппозиционеров в коммунистической партии. Это были в политическом отношении интересные процессы — показатели окончательного укрепления личной власти Сталина. Суд над оппозиционерами был на несколько лет позже разгрома в политическом отношении самой оппозиции. Мы предполагаем, что и в этих процессах основным мотивом было уничтожение неугодных Сталину лиц; в то время, когда судили и казнили оппозиционеров, они уже не представляли больше силы; никакой власти они больше не имели и находились под наблюдением, которое вряд ли допускало возможность какой-либо политической активности или тайной деятельности, но потенциальную оппозицию, правда, совершенно другого характера, чем интеллигентская, они продолжали собой представлять. Оппозиционеров обвиняли, так же как и интеллигенцию, во вредительстве и по их делам привлекали и осуждали и интеллигенцию; в частности, например, по делу Пятакова, обвинявшегося в организации вредительства в Кузбассе, было привлечено и расстреляно много инженеров. Наша идеология как и идеология инженеров, расстрелянных по делу Пятакова и принадлежавших, вероятно, к нашей же среде, была настолько далека от взглядов Пятакова, хотя и

оппозиционера Сталину, но правоверного коммуниста и ближайшего сотрудника Ленина, что вряд-ли можно допустить, чтобы эти инженеры стали работать заодно с Пятаковым — заниматься вредительством под его руководством, то есть расчищать путь к власти и диктатуре, вместо коммуниста Сталина, коммунистам Пятакову, Бухарину или Зиновьеву и другим. Даже пребывание в одном, по отношению к Сталину, лагере едва ли могло настолько сблизить представителей беспартийной интелигенции с оппозиционерами-коммунистами, чтобы они могли им довериться и не побояться встретить в их лице провокаторов.

Большие процессы коммунистов-оппозиционеров вызывали у нас смешанные чувства — с одной стороны они оказывались, как враги Сталина, с нами в одном лагере, с другой стороны, это были люди, на которых более десятилетия держалась советская власть, т. е. наши вчерашние враги. Сохранение оппозиции и ее видных представителей было бы, в соответствии с нашими взглядами, все-таки желательным, так как оно приводило бы к расколу в партии и тем самым к ослаблению советской власти. Никакого сожаления не вызывало осуждение и расстрел таких персонажей вчерашнего сталинского окружения как Ягода и его помощники по НКВД вроде Бермана и других, также как и его достойного преемника Ежова (точная судьба которого впрочем осталась неизвестной), или Зиновьева, с именем которого, как и с именем Ленина, было связано для нас достаточно жестокостей, совершенных во имя утопического строя.

Еще несколько иное отношение вызывали к себе представители так называемой правой оппозиции: Рыков, Бухарин, Томский. Мы тоже не забывали, что это коммунисты и при том коммунисты, как их иногда называют, старой Ленинской гвардии; но они, потому что их личный — и моральный и интеллектуальный — облик был выше Сталинского и Ежовского, вызывали некоторое к себе сочувствие и как политические осужденные и как лица, при которых, когда они после смерти Ленина стояли у власти, советский строй был более в экономическом отношении приемлем, менее жесток как диктатура.

Самым серьезным по своему значению, после коллективизации, политическим событием 30-ых годов было, до сих пор нам неясное, дело Тухачевского. Тухачевский был расстрелян без громкого процесса в Верховном Суде, тогда как перед ним были судимы, по разработанной программе, заранее обезвреженные оппозиционеры или невинов-

ные интеллигенты-«вредители», которые, в надежде спасти свою жизнь, сами на себя наговаривали не совершенные ими преступления. Такой процесс над Тухачевским Сталин вероятно боялся организовать; возможно, что Тухачевский был слишком опасен. Быстрый расстрел, без придания гласности делу, позволяет предполагать, что заговор Тухачевского действительно мог существовать. Одновременно с расстрелом Тухачевского была произведена чистка с массовыми расстрелами командного состава Красной Армии. То же случилось во флоте: был расстрелян командующий морскими силами Союза ССР — Орлов и вместе с ним почти все командующие флотами; застрелился начальник политуправления РККА Гамарник, был расстрелян начальник Военно-политической академии имени Толмачева в Ленинграде — Яппо, сама Академия была переведена в Москву с переменой названия; другие аналогичные события произошли во флоте и в армии и отразились, также как и всегда в таких случаях, рикошетом, на беспартийной интеллигенции. Командный состав Красной Армии и Флота был не настолько велик, чтобы без серьезной причины Сталин мог решиться на его разгром, тем более что здесь не было тех причин, которые определяли выгодность для Сталина организации процессов вредителей против интеллигенции.

Не имея никаких данных, мы могли делать только предположения в объяснение этих событий и мы считали, что заговор Тухачевского возможно реально и существовал. Ничего не зная о нем и не зная его политической программы, если таковая была мы все-таки приветствовали бы любой переворот совершенный против Сталина, исходя, во-первых, из простого принципа, что терять было нечего, а приобрести что-то, в смысле каких то изменений с надеждой на улучшения в будущем, можно было. И в случае победы Тухачевского едва ли можно было бы надеяться на свободу, но мы приветствовали бы любой строй, который обеспечил бы законом некоторую личную безопасность и который давал бы надежды выйти из состояния нищеты, в которой народ и мы находились. Кроме того, выполнение такого заговора могло бы означать вообще начало революции, которая уже, раз начавшись, дальше могла бы развиваться через голову новой диктатуры; но здесь надо оговориться, что в Советской России, после стольких лет политического бесправия, обстановка для какой-либо политической активности крайне неблагоприятна: нет кадров, нет опыта, и почти нет взглядов. Тем не менее задача эта не безнадежна.

После дела Тухачевского никаких значительных событий в России вплоть до 1939 года не произошло.

В августе 1939 года неожиданно в Москву приехали немцы. Также неожиданно и быстро был заключен договор с Гитлером, «заклятый враг» превратился в друга, публика стала его называть «заклятый друг». Цель этого договора, в наших глазах, была довольно прозрачной — использовать накаленную атмосферу в Европе, чтобы натравить врагов, к числу которых относились все «капиталистические страны», друг на друга. Мы считали, что Сталин боялся второго соглашения подобного мюнхенскому, которое могло бы опять отсрочить войну и задержать схватку одинаково ненавистных Сталину капиталистических Англии и Франции и фашистских Германии и Италии. Мы считали, что Сталин предполагал, что в этой войне, при нейтралитете СССР, воюющие западные державы истощатся и ослабнут, а к концу войны выступит он, Сталин, чтобы добить обе воюющие стороны. Это, собственно, вытекало из речей, произнесенных им и Молотовым перед войной. Кроме того он вероятно предвидел, что используя военную обстановку в Европе, он сможет приобрести новые территории — как говорили у нас тогда: «прибрать к рукам, что плохо лежит».

Первый удар Германии был направлен против Польши и Сталин выступил тогда на стороне Германии. Мы расценивали это коварное нападение в тыл Польше, как настоящую неспровоцированную агрессию. Приведенные официальные объяснения — защита, якобы, белоруссов и украинцев — расценивались нами, как лицемерное прикрытие захвата. Даже с точки зрения стратегической, захват восточной Польши не мог быть оправданным. Мы предполагали тогда, что перемена курса внешней политики — дружба с Гитлером, хотя и не искренняя, — может быть довольно продолжительной, тем более, что мы считали, что СССР к войне готов не был, как он не был готов и в момент нападения на него в 1941 году Германии.

Мы не считали, что индустриализация была направлена в предвидении войны на строительство военной промышленности. Создавалась, главным образом, тяжелая промышленность как база вообще всякой промышленности и в том числе военной, но средства, затрачиваемые специально на военную промышленность, до 1939 года не были большими. В течении целого года после чистки в армии в связи с делом Тухачевского непосредственной подготовки к войне еще не было заметно. Даже после оккупации Чехословакии Германией у нас

каких-нибудь военных приготовлений не наблюдалось. Только в начале 1940 года появились первые признаки, свидетельствовавшие о военных приготовлениях: был удлинен рабочий день с 7 часов, который был на многих заводах, и с 6 часов, который был в учреждениях, до 8 и более часов, в зависимости от потребностей производства; была также удлинена неделя — с 6-ти дневной перешли на обыкновенную 7 дневную; затем были удвоены цены на продовольствие в государственных магазинах, а за ними автоматически поднялись и цены колхозных рынков. Был издан закон, воспрещающий менять, по своему желанию, место работы. В пропаганде стали усиленно развиваться мысли об активной обороне и о возможности войны — с кем, никто не говорил и мы определенного мнения на этот счет не имели: на стороне ли Германии выступит Сталин в целях новых захватов или же война будет против Германии — обе эти возможности считались нами одинаково вероятными и похоже, что в Кремле этот вопрос долгое время оставался нерешенным. И если бы, во время поездки в Берлин Молотова, Гитлер удовлетворил притязания советского правительства на черноморские проливы и на влияние на Балканах, Сталин вероятно долго еще поддерживал бы Германию. После этого первого разногласия, оставшегося от нас тогда скрытым, последовало второе, когда Сталин поддержал антинемецкое правительство в Югославии, о котором мы уже знали из советских газет.

Между тем вскоре после раздела Польши последовала вторая советская агрессия, на этот раз тоже неспровоцированное, как мы считали, — нападение на Финляндию. Нам, жителям Ленинграда, эта война была видна ближе, чем многим другим. С первых же дней этой войны обнаружились многие организационные недостатки в армии, в ее снабжении, особенно в транспорте. Жизнь Ленинграда сразу была расстроена: появились колоссальные очереди за маслом, которое продавалось только по 100 грамм одному покупателю, очереди за сахаром и др. Автор, возвращаясь в то время из командировки с Урала, едва мог попасть в поезд, чтобы доехать из Москвы до Ленинграда, и находился в пути почти сутки. Цель этого нападения — было уничтожение независимости Финляндии, как сам Сталин объявил об этом при подписании договора с «народным правительством» Куусинена, организованного в Териоках: этот договор должен был быть ратифицирован в Гельсингфорсе, а красный флаг — поднят на президентском дворце. Как известно, цель эта Сталину не удалась. Героическое сопротивление финнов спасло тогда Финляндию от

разгрома. Наши симпатии были целиком на стороне храброго финского народа и конец этой войны мы считали «победой финнов, а не Сталина, и искренно этому радовались. По условиям перемирия г. Выборг отходил к России, но он в момент подписания перемирия находился в руках финнов, а советские части сражались около города; договор о перемирии входил в силу только через сутки после его подписания, что было советским требованием предусмотрено для того, по нашему мнению, чтобы советские войска могли с боем занять Выборг и тем самым создать впечатление победоносного завершения войны. Совершенно бессмысленные большие потери, понесенные обеими сторонами в этот последний день войны, Сталина мало смущали, как и вообще, он ни перед чем не останавливался когда вопрос касался престижа. Когда по мирному договору, заключенному не с коммунистом Куусиненом, как того желал Сталин, а с законным финским правительством, которое он вынужден был вновь признать, к Советской России отошла территория, расположенная между Финским заливом и Ладожским озером с прекрасными пляжами вдоль Финского залива, с излюбленными прежде петербуржцами дачными местами, мы считали недостойным селиться на лето, пользуясь услугами особого дачного треста, в опустевших комфортабельных домах, брошенных их финскими владельцами, и осуждали тех, кто это делал.

Приблизительно через полгода, после окончания войны с Финляндией Красная Армия вступила в Прибалтийские государства. Официальное объяснение этой оккупации заключалось в утверждении, что для обороны СССР со стороны Балтийского моря нужны порты и военно-морские базы, расположенные в Прибалтийских государствах, а в оправдание этого действия, придававшее ему вид легальности, приводились якобы добровольно состоявшиеся соглашения с правительствами Эстонии, Латвии и Литвы.

Мы расценивали эти события так же, как и предыдущие нападения на Польшу и Финляндию — как акты совершенно явной агрессии. С объяснениями советского правительства о необходимости более удобных позиций для обороны северо-запада России, вероятно, в принципе, нельзя не согласиться, но выгодные пункты для обороны могли бы быть использованы в Прибалтике без уничтожения независимости и даже без нарушения суверенитета Прибалтийских государств; одновременно с чисто военными целями, советское правительство преследовало, как и всегда, цели политические: советизацию Прибалтийских государств. Нас интересовала, главным

образом, политическая сторона этой оккупации. Мы ее расценивали как уничтожение независимых и показавших полную жизнеспособность, процветавши., по сравнению с Советской Россией, Прибалтийских государств, и наши симпатии были на стороне пострадавших литовцев, латышей и эстонцев. Нам известна была расправа с интеллигенцией, с духовенством, с офицерами, с частными предпринимателями и служащими правительственных учреждений, учиненная там советской властью. Мы знали об официальном ограблении этих стран, как например, о вывозе из Таллина новейшего технического холодильника в Ленинград, о скупке продовольствия и мануфактуры частными лицами военными и гражданскими, ездившими туда в командировки, и вывозе их в Россию. Мы видели позже в концентрационных лагерях, например, на разработках редких металлов в высокогорных районах на Кавказе, бывших офицеров армии Прибалтийских государств, священников и других; многие из них там погибли, а много других было расстреляно. Возмущаться открыто мы не могли, но в душе мы и это добавляли к счету за все злодеяния, совершенные советской властью.

Год, прошедший со времени этих событий до нападения на СССР Германии, был годом уже серьезной подготовки к войне. План этой подготовки был расчитан на несколько лет, на такой срок, как мы предполагали, который позволил бы Сталину подготовиться для выступления на стороне одной из воюющих сторон. Свидетельством этому служат такие, например, известные автору работы, как расширение портов на Балтийском море, устройство судоходного канала в левых рукавах устья Дуная, исследования, предпринятые для постройки новых военно-морских баз на Дальнем Востоке — работы, которые не предпринимаются обычно накануне войны, особенно в таком капитальном объеме, а делаются из стратегических соображений, рассчитанных на будущее; в России же они начаты были в 1940, а некоторые в 1941 году. Мы, которые не были связаны с правящими сферами, по тому, что мы могли наблюдать, не предполагали, что война может начаться так скоро, уже в 1941 году; вероятн и правящие круги тогда этого не предполагали.

Неожиданно, 22 июня 1941 г., после полудня, стало известно о том, что Германия напала и объявила войну России и к ней присоединились Венгрия, Румыния и Финляндия, а приблизительно через неделю после этого Сталин выступил с речью по радио, в которой он призывал к защите родины, начав ее словами «Братья и сестры...» Такое обращение, вперт-

вые им произнесенное, звучало фальшиво; в его речи была заметна его неуверенность в положении и чувствовалось, что он заискивает перед народом и ищет отклика и поддержки. Его неуверенность подтверждалась и опозданием, с которым он произнес речь. Для нас речь Сталина не явилась убедительным призывом к защите родины.

С 22 июня 1941 года, впервые за десятилетия, все мы сходились на том, что каков бы исход войны ни был, советская власть ее не переживет. Мы мало, почти ничего не знали о Гитлеровской Германии. Многие из нас, особенно представители старшего поколения, не забывали при этом немцев, как врагов России по прошлой мировой войне, и разделяли традиционные симпатии русских к западным союзникам. Тем не менее в первые месяцы войны патриотического подъема в России не было. В реальность конечной победы Германии в этой войне даже в 1941 году мало кто верил, поэтому страха за судьбы России не испытывали. Некоторые говорили: «с немцами хуже не будет» — эту фразу автор запомнил, услышав ее от одного старого, ныне покойного, инженера путей сообщения, которого никак нельзя было по всей его прошлой деятельности заподозрить в симпатиях к немцам. Через неделю после начала войны вышел приказ о сдаче всех радиоприемников на хранение до окончания войны.

С первых недель под Ленинградом началась работа по устройству земляных противотанковых рвов, на которые было мобилизовано все гражданское население. Часто такие рвы и окопы копались в непосредственной близости к фронту и были, говорят, случаи, когда население встречалось с разведкой передовых немецких частей, после чего распространялись благоприятные для неприятеля слухи об его отношении к гражданскому населению. Собирали и немецкие листовки; но, когда эти листовки дошли до нас, они удивили нас своим убожеством. Страха перед немецким нашествием население по нашим наблюдениям в первые дни не испытывало. Были слухи, усилившиеся особенно после занятия немцами Киева, что создано новое русское правительство; называли даже некоторые фамилии.

Вскоре стало выясняться, что на оккупированной территории нет никакого русского правительства, а существуют только немецкие комиссариаты: для Украины, Белоруссии и Прибалтики, что никаких деклараций относительно будущего России Германия не сделала, что германская пропаганда настолько нелепа и политически примитивна, что она никакого успеха иметь не может. Для нас стало ясно, что немцев инте-

ресует только приобретение в собственность чужих территорий и меньше всего уничтожение советского строя. Так называемая «борьба с большевизмом» была лишь вывеской, такой же, какой была бы, вероятно, «борьба с царизмом», если бы в России оставался старый монархический строй.

Б. Иванов

„БОЛЬШАЯ ВОЛГА“

Еще 20-30 лет назад вопросы об использовании энергии рек для экономических целей обсуждались лишь в кругах специалистов. С тех пор многое переменилось. Огромный рост хозяйства вызвал небывалый рост потребности в дешевой энергии, а блестящие успехи гидротехники и техники передачи энергии на большое расстояние сделали возможным осуществление таких сооружений, о которых еще недавно можно было только мечтать. В последние десятилетия в разных странах разрабатываются — и отчасти осуществляются — планы целых систем плотин и гидроэлектростанций, которые открывают перспективы уже не только использования дешевой энергии, но и глубокого и многостороннего преобразования целых районов. Достаточно напомнить о поразительных достижениях знаменитой Ти-Ви-Эй (Управление долиной реки Тенесси) в Соединенных Штатах, о еще гораздо более широких проектах реконструкции бассейнов рек Миссури и Колумбии, о планах гигантских гидротехнических сооружений в Индии или о несравненно меньшем, но по своему экономическому и политическому значению вызывающем большой интерес проекте гидроэнергетической реконструкции Палестины. Аналогичные планы с начала 30-х годов возникали и в Советском Союзе. Более конкретный характер приобрел здесь план коренной реконструкции волжского бассейна на основе использования водной энергии Волги, так называемый проект Большой Волги.

Запасы водной энергии в России огромны. Советские источники определяют долю Советского Союза в мировых гидроэнергетических рессурсах около 30%. Эта цифра, вероятно, преувеличена: сопоставление водных рессурсов разных стран наталкивается на большие трудности, так как методы подсчета их в разных странах неоднородны, и в Советском Союзе, где очень силен гипноз больших чисел, это благоприятствует преувеличенной оценке собственных рессурсов. Но тот факт, что по размерам своих водных рессурсов Советский Союз занимает первое место в мире, не вызывает сомнений в международной печати. По электроэнергетическому же использованию этих рессурсов СССР не только относительно,

но и абсолютно отставал перед войной не только от Соединенных Штатов и Канады, но и от Японии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Норвегии и Швейцарии, занимая десятое место в мире, и в энергетическом балансе Советского Союза, по рассчетам советских статистиков, гидроэнергия составляла в 1936 году лишь 2,3% против 9,% в Соединенных Штатах и значительно более высокого процента в некоторых менее значительных странах, не располагающих такими огромными запасами топлива, как Советский Союз и Соединенные Штаты, вплоть до 51,8% в Италии. В деле развития гидроэнергетики Советскому Союзу предстоит еще громадная работа, чтобы достичь уровня, соответствующего его размерам, его естественным богатствам и его потребностям.

Вопрос об энергетическом, в частности электроэнергетическом использовании водных богатств страны очень живо обсуждался в России с начала 20-го века и как раз накануне революции Управление внутренних водных путей Министерства путей сообщения выработало «план строительства новых водных путей и улучшения и развития существующих», содержавший также и очень широкую — по тому времени — программу гидроэлектростроительства*). План этот предусматривал создание 12 крупных гидроэлектростанций — на Волхове, Свири, Днепре, Чусовой, Рионе и др. — почти все названия рек, которые мы вскоре встретим в плане ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России). Станции эти должны были быть построены в течении пятилетнего периода после двух лет подготовительных работ, и общая мощность их должна была достигнуть 712.000 лошадиных сил (т. е. около 534.000 киловатт). На следующее затем пятилетие намечалась постройка еще большего числа гидростанций общей мощностью более 1.000.000 л. с. (т. е. более 750.000 квт). К началу революции все это строительство оставалось еще в проекте.

В советских проектах электрификации гидроэлектростроительство первоначально стояло далеко на заднем плане. Лишь для Петроградского района — главным образом в виду отсутствия в районе, по тогдашним сведениям, значительных

*) План этот был опубликован 25-го февраля 1917 года, за два дня до революции, в форме печатного доклада, предназначавшегося для законодательных учреждений и официальных лиц, но не для книжного рынка, и он остался совершенно неизвестным в литературе вопроса. Я случайно наткнулся на этот доклад в коллекции А. Н. Зака в Нью Иоркской публичной библиотеке.

запасов местного топлива — вопрос об использовании водной энергии, подымавшийся в этом районе еще до революции, серьезно обсуждался уже в 1918 году.

В это время в планах Совнаркома еще не выдвигался проект Днепровской гидростанции, имевший за собой большую историю, единственный большой гидроэлектрический проект, к осуществлению которого было приступлено еще до революции*). Но Украина весною 1918 года не входила в состав Советской федерации; больше того, как раз отделение Украины с Донецким бассейном от России и было одним из основных стимулов к ранней выработке плана электрификации и определило основную ориентировку этого плана на использование торфа и низкосортных местных углей. К моменту выработки плана ГОЭЛРО положение изменилось: Украина вновь соединилась с Россией. Но общая ориентировка на развитие электрификации прежде всего на основе использования местного топлива осталась.

Выработанный ГОЭЛРО и предложенный 8-му Съезду советов в декабре 1920 г. план электрификации, с небольшими изменениями утвержденный в конце следующего года, предусматривал создание 31 электростанций общей мощностью около полутора миллиона киловатт. В числе этих 31 станций были и 9 гидроэлектростанций: на Волхове, на Верхней и на Нижней Свири, на Днепре, на Чусовой, две станции на Северном Кавказе, одна на Алтае и одна в Туркестане. Большую часть этого плана (по мощности) составляли проекты станций в Ленинградском районе и на Днепре, унаследованные от прошлого, и общая мощность всех намеченных к постройке гидростанций должна была достигнуть около 400 тысяч квт с возможным значительным увеличением мощностей в будущем.

Но и из этого сравнительно скромного плана, значительно более скромного, чем план, выработанный Министерством путей сообщения накануне революции, в течение первого десятилетия так и не было приступлено к постройке станций на Верхней Свири, на Чусовой и двух станций на Северном Кавказе, а постройка остальных станций очень задержалась. Первенец советской гидроэнергетики — Волховская станция — был введен в действие в 1926 г., к постройке Днепровской станции было приступлено (в значительной мере под руко-

*) После многолетнего обсуждения ряда проектов закон о постройке на Днепре гидроэлектростанции был утвержден 25-го июня 1916 года.

водством американских инженеров) лишь в 1927 г. и на 1-ое января 1933 года, к концу первой пятилетки, из всех гидростанций, намеченных в плане ГОЭЛРО, работали лишь три: Волховская на 58 тыс. квт., Днепровская на 310 квт и небольшая станция в Туркестане мощностью в 3 тыс. квт, и заканчивалась первая очередь станции на Нижней Свири мощностью в 24 тыс. квт.

Ориентировка на скромную роль гидроэнергетики в энергетическом хозяйстве Советского Союза была характерна для руководителей советской экономической политики вплоть до начала 30-х годов. Это очень отчетливо сказалось на первом пятилетнем плане. План намечал доведение мощностей электростанций к концу пятилетки до 5.500.000 квт, в том числе гидростанций до 600.000 квт, т. е. около 11%. Фактически мощность электростанций достигла к концу пятилетки 4.567.000 квт, а мощность гидростанций, если даже считать и Нижне-Свирскую, около 400 тыс. квт, т.е. лишь около 8,5% общей мощности электростанций. Значение гидроэнергетики в общей системе советского электрохозяйства за годы первой пятилетки даже упало.

Поворотным пунктом в истории гидроэнергетики Советского Союза была зима 1931/32 года. Благоприятные итоги работы Волховской станции и близость окончания работ по постройке Днепровской станции усилили интерес к вопросам гидроэнергетики. Повидимому, непосредственным толчком для более широкой постановки вопросов гидроэнергетики явилось обострение вопроса о борьбе с засухой в юго-восточных районах, принявшего грозный характер в обстановке тяжелого кризиса крестьянского хозяйства после коллективизаторской бури 1929/31 годов. В принятой 17-ой конференцией компартии в начале февраля 1932 года резолюции о задачах промышленности в 1932 году намечался «резкий подъем мощностей гидростанций» («около 500.000 квт» новых мощностей за год), а в директивах к составлению 2-го пятилетнего плана «использование огромных резервов водной энергии» уже выдвигалось в качестве одного из «важнейших элементов реконструкции народного хозяйства». Директивы намечали огромный рост производства электроэнергии с увеличением производства электроэнергии тепловых и гидростанций до 100 миллиардов квт-часов в 1937 году, т. е. с доведением мощностей электростанций не меньше, чем до 20 миллионов киловатт. При этом удельный вес гидроэнергии в общей системе электрохозяйства СССР должен был достигнуть в 1937 году 21,6%.

Обсуждение вопросов постройки новых больших гидроэлектростанций еще только началось, когда — неожиданно для внешнего мира — Совнарком СССР и ЦК ВКП вынесли одно за другим два чрезвычайно важных решения о постройке в короткий срок нескольких гигантских гидроэлектростанций. 23-го марта 1932 г. было постановлено приступить к «сооружению трех больших гидростанций на Средне-Волжской системе: одной в Иваново-Вознесенском районе, другой в Нижегородском районе и третьей на реке Каме в районе города Перми», общей мощностью от 800.000 до 1.000.000 квт и с окончанием строительства весной 1935 года (!). Двумя месяцами позже, 22-го мая 1932 года, было вынесено второе, еще более важное постановление: о постройке в районе Камышина (между Саратовым и Сталинградом) огромной гидростанции, мощностью от 1,8 до 2 миллионов киловатт, главным образом для нужд ирригации засушливых районов Заволжья; строительство и гидростанции, и оросительной сети должно было быть закончено в 1937 году (!). Эти краткие сроки, конечно, не могли быть соблюдены. Но приведенные постановления показательны для той обстановки лихорадочного поворота к гидроэнергетике, который характерен для 1932 года. Для настроений, с которыми были начаты работы по проведению этих постановлений в жизнь, показательна также передовица «Известий» (от 24-го мая 1932 г.), посвященная постановлению о постройке Камышинской гидроэлектростанции:

> «...Уже Днепрострoем мы побили мировой рекорд строительства гидростанций... Станция же, которая будет построена пролетарским государством в Камышине, — недосягаемое для капитализма техническое сооружение. Для строительства станций такой силы нет необходимых сверхмощных аггрегатов. Эти аггрегаты построит СССР, создавший новую мощную техническую базу для завершения реконструкции всего народного хозяйства» (подчеркнуто в подлиннике).

Почти одновременно (1-го июня 1932 г.) правительством было вынесено еще одно, гораздо лучше подготовленное постановление о строительстве крупного гидротехнического сооружения, которое должно было, правда, служить не энергетическим, а транспортным и водоснабженческим целям, но которое вошло впоследствии существенным звеном

в проект Большой Волги. Это канал Волга-Москва, действительно вступивший в эксплоатацию в срок, 15-го июля 1937 года. Канал этот с плотиной и гидростанцией на Волге у Иванькова (30.000 квт) и с рядом меньших станций на канале, с системой шлюзов и насосных станций, с большим водохранилищем выше плотины (так называемое Московское море с поверхностью в 327 кв. км., кстати, не у Москвы, а на Волге), облегчающим регулирование стока на Верхней Волге, является, повидимому, одним из самых удачных новых гидротехнических сооружений Советского Союза. Но самостоятельного энергетического значения оно не имеет: энергия Иваньковской станции и станций на канале целиком расходуется — и даже оказывается недостаточной — для обслуживания канала. Для полного обеспечения насосных станций канала электроэнергией и обеспечения достаточных глубин на Верхней Волге, делающих возможным прохождение крупных волжских судов до Москвы, были намечены еще две станции — Угличская (в 100-110 тысяч киловатт) и Рыбинская (в 300-315 тысяч квт), но строительство их затянулось, и они вступили частично в действие уже лишь во время войны. Ссобенно интересна Рыбинская станция, пущенная зимою 1941/42 г. на мощность в 110 тысяч киловатт (с сентября 1944 года еще на 55 тысяч квт). Перед Рыбинской станцией создано огромное водохранилище, так назыв. Рыбинское море, площадью в 4.650 кв. км., более четверти поверхности Ладожского озера или озера Онтарио в С. Америке. Постройкой Иваньковской, Угличской и Рыбинской станций в основном была разрешена проблема реконструкции начальной части Волги. В региональном плане это было огромное достижение. Для проекта Большой Волги это было однако лишь как бы периферийное событие.

За отрадным исключением канала Волга-Москва, намеченные в первой половине 1932 года проекты больших гидротехнических сооружений оказались построенными на песке. В конце концов это оказалось невозможным замалчивать и в советской печати. Когда к концу 1937 года выяснились крайне неблагоприятные итоги гидроэлектростроительства, в «Плановом Хозяйстве» была помещена статья, с большой резкостью характеризирующая создавшееся положение*).

Из статьи этой мы узнаем, что из трех больших гидро-

*) Проф. А. Морозов, инж. Н. Антушев и инж. А. Бесчинский «Задачи гидростроительства в 3-ем пятилетии», «Плановое Хозяйство», 1937 г., сентябрь-октябрь.

станций на Волге, постройка которых была постановлена в марте 1932 года и должна была быть закончена в 1935 г., проект Ярославской гидростанции «базировался на совершенно недостаточном изыскательском матерьяле и слабом освещении схемы использования Верхней Волги в целом. В результате, после того, как в строительство Ярославской ГЭС было вложено около 70 миллионов рублей, постройку пришлось прекратить и перенести створ в Рыбинск». Очень неблагоприятно сложилось положение и со строительством Нижегородской (Горьковской) станции: «Вопросы постройки (Горьковской) станции систематически игнорировались, финансирование изысканий производилось в ничтожных размерах и с начала 1935 года работы были фактически законсервированы». Строительство третьей станции, Пермской, тоже переведено «на консервацию», и авторы полагают даже, что «в настоящее время представляется более целесообразным уже не продолжать строительство в Перми, а сооружать станцию на верхнем участке Камы» (впоследствии правительство вернулось к мысли о постройке Горьковской и Пермской станций).

Крушением проектов Ярославской, Горьковской и Пермской гидростанций не ограничились в этот период злоключения советского гидроэлектростроительства. В середине 30-х годов фактически снят был с очереди и проект четвертой, самой большой гидростанции, намеченной в 1932 г.: проект Камышинской гидростанции молчаливо был заменен проектом постройки Куйбышевского гидроузла, двух огромных гидроэлектростанций на так назыв. Самарской луке. Это и есть основное звено проекта Большой Волги.

***

Средняя Волга, протекая с севера на юг, упирается у Ставрополя в скалистый короткий холмистый кряж, Жигули, и резко поворачивает на восток, чтобы обойдя Жигули, повернуть у Самары (ныне Куйбышева) на запад и затем у Сызрани вновь повернуть на юг, как бы продолжая свое первоначальное направление. Этот изгиб Волги от Ставрополя до Сызрани и называется Самарской лукой. При этом внутри луки, несколько выше Ставрополя в Волгу с юго-запада впадает река Уса, своим средним течением подходящая близко (на два — два с половиной километра) к Волге у южного конца Самарской луки. Еще в 1910 году молодой инженер К. В. Богоявленский впервые выступил с проектом прорытия

канала из Усы к южной оконечности Самарской луки и выпрямления течения Волги путем направления его с помощью плотины у Ставрополя по руслу Усы на юг: одновременно с сокращением судоходного пути по Волге на 130 км открывалась возможность использовать энергию Волги путем устройства здесь большой электростанции. Энергичные попытки Богоявленского добиться признания его идеи не имели успеха. Проект его показался фантастическим. Лишь в конце 20-х годов идея устройства гидростанции на Самарской луке возникла вновь. Вскоре мысль о постройке здесь большой гидроэлектростанции (это был так назыв. проект «Волгостроя») выросла в сложный проект гидроэнергетической реконструкции всего бассейна Волги, получивший популярное название проекта Большой Волги.

Впервые идея Большой Волги — в этом ее широком понимании — была выдвинута проф. А. В. Чаплыгиным на Всесоюзном совещании по борьбе с засухой, состоявшемся в конце октября 1931 года, и затем в ряде статей в периодической печати. Майское 1932 г. постановление правительства о постройке Камышинской гидроэлектространции, которым идее Большой Волги было дано несколько иное конкретное содержание, дало толчок для напряженной работы планирующих органов и научных учреждений над проблемами Большой Волги. В ноябре 1933 года состоялась специальная сессия Академии Наук с привлечением большого числа специалистов не из состава членов и сотрудников Академии, посвященное «Проблемам Волго-Каспия». На сессии обсуждение вопросов Большой Волги развернулось очень широко.

Как правило, вопросы,уже решенные правительством, не подлежат на таких конференциях критике. Когда один из участников сессии, инженер Гаевский, в одной из секций сессии осторожно отметил «спорность» рентабельности Угличской станции (на Верхней Волге), докладчик Ф. С. Воеводский в своем заключительном слове недвусмысленно напомнил ему, что «Угличская станция декретирована, это есть решение Правительства, и всякий, кто так говорит, выступает против Партии и Правительства»*). И тем не менее постройка Камышинской гидростанции встретила глухую, а временами и открытую оппозицию на сессии.

Высказывания эти, вероятно, отражали начавшиеся уже в руководящих советских кругах колебания в вопросе о Ка-

*) «Проблемы Волго-Каспия», Труды ноябрьской (1933 г.) сессии Академии Наук. Москва, 1934 г., т. I, стр. 272.

мышинской гидростанции. Правда, утвержденный в 1934 г. 2-ой пятилетний план требовал еще продолжения и окончания «проектировочных работ» по Камышинскому проекту. Но практически этот проект вскоре был оставлен и на первое место бесспорно выдвинулся проект Куйбышевского гидроузла.

Середина 30-х годов была как бы периодом относительного затишья в публичном обсуждении проблем Большой Волги. Камышинский проект отступил на задний план; Ярославский, Горьковский и Пермский заглохли; Волго-Донской так и не получил признания в качестве первоочередного проекта. Упорная работа продолжалась над Куйбышевским проектом и над множеством встающих в связи с ним частных проблем. Весною 1938 г. Управление строительством Куйбышевского гидроузла внесло на утверждение правительства подробно разработанный многотомный проект. Летом 1939 г. проект этот в основном был утвержден правительством, хотя многие части его и продолжали носить предположительный характер. При утверждении весною 1939 года 3-го пятилетнего плана «развертывание строительства» Куйбышевского гидроузла было выдвинуто в качестве основной задачи третьей пятилетки в области гидроэлектростроительства.

Проект Большой Волги был задуман в начале 30-х годов прежде всего, как проект, обеспечивающий ирригацию засушливых областей Заволжья. Энергетические и транспортны цели являлись в проекте дополнительными. В процессе обсуждения и разработки проекта цели его выросли и несколько сдвинулись. Значение его, как ирригационного проекта, явно несколько отступило на задний план. Но одновременно рамки ирригационной проблемы раздвинулись, и проблема ирригации Заволжья встала частью, как большая проблема улучшения климатических условий в южном Заволжьи и в полупустынных областях к северо-востоку от Каспийского моря.

Проект Большой Волги в своем разработанном виде предусматривал устройство на Волге и Каме и в меньших размерах на Оке ряда высоконапорных плотин, создающих на всем протяжении Волги серию глубоководных, напоминающих собой проточные озера водоемов. Характерной особенностью продольного профиля Волги, оказывающей определяющее влияние и на все планы ее реконструкции, является незначительный угол ее падения. Возле Калинина (Твери) падение

реки еще достигает 13,9 сантиметров на километр, но уже у Горького оно уменьшается до 6,0 см, у Казани до 5,5 см, у Ульяновска (Симбирска) до 3,8 см, потом несколько возрастает, достигая 4,8 см у Куйбышева, 4,0 см у Саратова, опять 4,8 см у Сталинграда, и падает до 2,5 см у Ертаевска и 1,5 см у Астрахани. При таком незначительном угле падения реки плотины высотою в 20-30 метров вызывают подъем воды в реке на 400-600 километров вверх по течению.

В соответствии с гидрологическими условиями Волжского бассейна и местными геологическими условиями и была разработана схема плотин и гидростанций на Волге и ее притоках. На самой Волге намечено было создание шести больших гидростанций: у Рыбинска, у села Василево близ Горького, у Чебоксар близ Казани, на Самарской луке, у Камышина и одна станция ниже Сталинграда. Эта система плотин и гидростанций должна была дополняться двумя менее значительными станциями на Верхней Волге — Иваньковской и Угличской, и одновременно намечалась серия плотин и гидростанций на Каме и Оке. Суммарная мощность гидроэлектростанций, входящих в эту сложную сеть, должна была достигнуть от двенадцати до двенадцати с половиной миллионов киловатт, почти шестикратной мощности Ти-Ви-Эй и более чем двадцатикратной мощности Днепро-ГЭС'а.

Экономически целесообразная эксплоатация больших гидроэлектрических станций возможна лишь при урегулировании стока, ослабляющем его сезонные, а по возможности и погодовые колебания и таким образом обеспечивающем более или менее полное использование мощных станций*). На Волге эта проблема приобретает особенно большое значение: волжский сток отличается резкой неравномерностью и около 70% стока приходятся на весну. Очень значительны и погодные колебания: при среднем годовом стоке в 267 куб. км. Волжский сток в маловодные годы опускается до 171 куб. км, по некоторым данным даже до 140 куб. км. Создание плотин и огромных водоемов на Волге и ее важнейших притоках должно изменить водный режим Волги: значительно ослабить прежде всего сезонные и в известной мере смягчить и погодные колебания. В том же направлении должна действовать и переброска в бассейн Волги значительных водных масс из соседних бассейнов, в первую очередь имеющая

*) Это требование неприменимо лишь к гидростанциям на реках, вытекающих из больших озер, питающих реку более или менее равномерно в течение всего года.

целью не регулирование волжского стока, а обеспечение водного баланса Каспийского моря. На этой интересной и своеобразной проблеме я еще остановлюсь ниже.

Но и наиболее равномерное возможное регулирование стока остается относительным и не может поэтому обеспечить полной равномерности работы гидростанций и максимального использования их мощностей. Наилучшее использование гигантских Волжских станций предполагает поэтому включение их в электроэнергетическую систему огромного района, охватывающую водные и тепловые станции, соединенные линиями высоковольтных передач с электростанциями соседних районов. Чаплыгин пишет об этом почти в поэтических тонах:

> «...Мощные волжские гидростанции явятся электрическим сердцем, посылающим потоки энергии во все части этого громадного электрического организма. Электросистемы Центрального Промышленного, Поволжского, Уральского, Центрально-Черноземного, Заволжского и Сталинградского районов при помощи линий высоковольтных передач, опирающихся на волжские гидростанции, будут объединены в единую энергетическую систему Волжского бассейна, соединяющуюся на западе с энергосистемой Большого Днепра и на юге с системами Северного Кавказа и Донбасса. Так осуществится мощное энергетическое кольцевание европейской части СССР»*).

Это пока только музыка будущего, но увлекательная музыка.

Более конкретные формы принял план постройки и использования центрального звена проекта Большой Волги — Куйбышевского гидроузла. Общая мощность гидроузла определена при утверждении проекта правительством летом 1939 года в 3 миллиона квт (более пятикратной мощности ДнепроГЭС'а) с возможным доведением ее после постройки других гидростанций на Волге и Каме до 3,4 миллионов квт. Гидроузел должен состоять из двух станций — Жигулевской в 30 км выше и Переволокской в 63 км ниже Куйбышева. Мощность отдельных аггрегатов намечена от 170 до 180 тысяч квт.

---

*) А. В. Чаплыгин «Большая Волга», «Новый Мир», 1938 г., март, стр. 236.

Первая группа аггрегатов общей мощностью от 800 тысяч до 1 миллиона квт должна была быть введена в действие в 1948 году, полная мощность до 3 миллионов квт в 1950 году. Использование энергии электростанций в рамках районной схемы должно обеспечить выработку электроэнергии в количестве около 12 миллиардов квт-часов в год (в среднем); после создания передач, связывающих Куйбышевский гидроузел с мощными сложившимися электросистемами Москвы, Горького и Урала, использование водяной силы на гидростанциях Куйбышевскаго узла должно достигнуть 90% и выработка энергии в среднем за год 14,5 миллиардов квт-часов, а после завершения реконструкции Волги с притоками и максимального возможного урегулирования стока даже 16 миллиардов квт-часов. Несколько более половины этой энергии должно было использоваться в Поволжье, остальная энергия должна была передаваться в соседние районы, в том числе 2,7 миллиарда квт-часов в Московский район. Перспектива эта построена на предположении о громадном экономическом подъеме всего Волжского района и соответственно о громадном росте потребления электрической энергии, в частности о росте в Среднем Поволжье потребления электроэнергии водяных и тепловых станций с 546 миллионов квт-часов в 1937 году (в конце 2-ой пятилетки) соответственно до 2,1 млрд., 5,8 млрд. и 14 млрд. квт-часов в 1942, 1947 и 1952 годах (т. е. в конце 3-ей, 4-ой и 5-ой пятилеток). Рамки этой статьи не позволяют остановиться на широких планах развития в этой связи хозяйства всего Среднего Поволжья, на создании новых отраслей промышленности, подъеме земледелия и пр. Это были головокружительные планы.

Нет возможности останавливаться здесь и на значении реконструкции Волги в деле улучшения условий транспорта. Это наиболее спорная часть проекта Большой Волги. Свободное движение крупных судов далеко вверх по Волге и из бассейна Каспийского в бассейн Балтийского моря — наиболее важная задача в деле транспортной реконструкции Волги — не требует создания таких больших и трудноосуществимых сооружений, как плотины на Средней и тем более на Нижней Волге, а в основном разрешается осуществленной в настоящее время реконструкцией Верхней Волги (при условии улучшения и системы каналов между обоими бассейнами). Более далеко идущие планы реконструкции Волги встре-

тили на сессии Академии Наук глухую оппозицию со стороны транспортников, указывавших, что реконструкция эта в ряде вопросов создаст для транспорта большие трудности, преодоление которых потребует огромных средств и огромных усилий. Но это для «Нового Журнала» слишком специальная тема.

Напротив, представляют большой общий интерес вопросы, вставшие в связи с обсуждением проекта Большой Волги, как ирригационного проекта. Майское 1932 г. постановление о постройке Камышинской гидростанции продиктовано было прежде всего соображениями ирригационной политики. Осуществление этого проекта должно было прежде всего обеспечить «организацию в Заволжьи устойчивой пшеничной базы с валовым производством пшеницы в 300 миллионов пудов (т. е. около 5 миллионов тонн — **С. Ш.**) на поливных землях». Для осуществления этой цели должна была быть создана станция мощностью от 1,8 до 2,0 миллионов киловатт, «обеспечивающая орошение машинным способом посевной площади в 4-4.3 миллиона гектаров в Заволжьи (Средняя Волга с захватом районов примерно Кинель-Самара на севере и нижняя Волга до па аллели Камышина на юге)». Предрешенным в этом постановлении был не только вопрос о месте и о размерах гидростанции и о районе орошения, но и о методе орошения: «машинным способом», т. е. повидимому, не поливом по поверхности, а в виде дождевания, до сих пор нигде в мире иначе, как для орошения садовых и некоторых технических культур, не применявшегося.

Вопрос, казалось, был решен, и участники сессии Академии Наук останавливались главным образом на частных проблемах. Но вскоре после окончания работ сессии из среды ученых начали раздаваться голоса, предостерегающие против поспешного решения всего комплекса вопросов об ирригации Заволжья. Член Академии Наук Б. А. Келлер выступил в начале 1934 года со статьей, в которой, после, повидимому обязательной лестной характеристики решений сессии, высказал свои сомнения относительно намечавшегося плана широкого орошения Заволжья. Нижневолжская экспедиция Академии Наук установила, писал Келлер, что «в условиях засухи, следуя за постепенным понижением уровня влаги в почве, корни пшеницы могут достигать глубины до 2,5 метра, а на орошаемых полях, по сделанным наблюдениям, они достигают лишь 65 сантиметров», что приведет к тому, что «пшеница не обнаружит достаточной устойчивости против суховеев». К этому присоединяется и ряд других моментов: «Полив изнеживает

пшеницу, делает ее более беспомощной», и, напротив, «сорняки дадут в условиях орошения чрезвычайно быстрый рост и, помимо, другого вреда, будут пускать буквально на ветер огромные количества воды». Автор не отвергает идеи ирригации Заволжья, но напоминает о «грандиозности и высокой ответственности задачи», решение которой «требует развертывания в ближайшие годы напряженной исследовательской деятельности для разработки многогранных проблем агротехники, физиологии растений и почвоведения в деле орошения Заволжья»*).

Вслед за ботаником Келлером выступил агроном-почвовед Н. С. Соколов, подчеркнувший, что почвы Заволжья «содержат некоторое количество подвижных солей. Нарушенный водный режим в сторону его усиления заставит пробудиться эти соли», что «может неблагоприятно сказаться на физических свойствах почв и послужит тормозом для высокой их производительность»**). Еще решительнее выступил вскоре член-корреспондент Акад. Наук, почвовед Б. Б. Полынов. И он начал с солидаризации с решениями сессии Академии Наук, но затем перешел к решительной критике проекта: здесь и опасность засолонения почв, и опасность заболачивания, и опасность «деградации почв» и «изменения в неблагоприятную сторону структуры почв». «Судя по многочисленным примерам, засолонение почв при орошении представляет наиболее распространенную опасность, так как количество 'испорченных', т. е. засолоненных в результате орошения земель нередко достигает 50% и даже более от всей орошаемой площади». Автор приводит затем ряд аргументов, в силу которых эта опасность особенно велика при осуществлении проекта Камышинской гидростанции»***).

Повидимому, такого рода соображения сыграли известную роль при приостановке работ по постройке Камышинской станции и перенесении центра внимания в проекте Большой Волги из сферы вопросов ирригации в сферу вопросов энергетики и транспорта. Задача орошения Заволжья в рамках проекта Большой Волги, однако, не была снята с обсуж-

*) Б. Келлер «Проблема Большой Волги и борьба с засухой», «Плановое Хозяйство», 1934 г., январь.

**) Н. Соколов «Химия почв и повышение урожайности в районах Большой Волги», «Плановое Хозяйство», 1934 г. апрель.

***) В. Полынов «Изучение природных условий орошения Заволжья», «Плановое Хозяйство», 1935 г., май.

дения, но осуществление ее было перенесено в более отдаленную перспективу.

***

При разработке ирригационных проблем Большой Волги очень рано встал вопрос, который в таком виде нигде в мире не вставал. Волга впадает в Каспийском море, величайший в мире замкнутый водный бассейн, и широкое изъятие из Волги воды на нужды орошения угрожает нарушить водный баланс Каспийского моря и вслед затем изменить и климатические условия на огромной территории, примыкающей к Каспийскому морю. При первоначальной постановке вопроса необходимость обеспечения водного баланса Каспийского моря отнюдь не казалась бесспорной. На Всесоюзной конференции по борьбе с засухой в октябре 1931 года нашелся даже докладчик, инженер В. Н. Авдеев, выступивший с проектом «каптажа Волги», увода ее вод в засушливое Заволжье и в закаспийские пустыни и постепенного осушения большей части Каспийского моря (через 37 лет «нефтеносное дно Каспия у Апшерона и Челекена освободится вовсе от воды») *). Но такие диллетантские проекты не могли, конечно, выдержать сколько-нибудь серьезной критики, и на сессии Академии Наук в ноябре 1933 г. вопрос ставился уже совсем иначе.

Осуществление проекта Большой Волги должно было бы сопровождаться значительным уменьшением притока Волжских вод в Каспийское море: не только вследствие значительного расхода воды на ирригацию, но и вследствие и парения воды с поверхности больших водохранилищ, создаваемых при реконструкции Волги, и со значительно расширенной поверхности Волги. Проф. Г. К. Ризенкампф выступил на сессии Академии Наук с рассчетами, согласно которым забор воды на нужды ирригации уменьшит Волжский сток в Каспийское море на 24-27 кб. км. в год и вместе с потерями на испарение Волжский сток уменьшится на 33 куб. км.; а после осуществления намечаемой в более отдаленной перспективе реконструкции и других рек Каспийского бассейна (Урала, Терека, Куры и др.) уменьшение стока в Каспийское море достигнет 60 куб. км. в год. При этом уменьшении водного прихода уровень Каспийского моря начнет понижаться, площадь зеркала

*) «Известия» от 1-го ноября 1931 г.

Каспийского моря начнет уменьшаться, пока приток воды в море и испарение с поверхности его вновь не начнут уравновешивать друг друга. По Ризенкампфу, это равновесие рудет достигнуто при понижении уровня моря в приблизительно 4,4 метра и при сокращении теперешней поверхности в 436.340 кв. км. до 365.000 кв. км.*).

Уменьшение количества испарений с поверхности Каспийского моря неизбежно имело бы своим последствием уменьшение количества атмосферных осадков, выпадающих в закаспийской передней Азии, и дальнейшее «усыхание» полупустынного климата местностей, расположенных к северу-востоку от Каспийского моря. Но это как раз и есть та территория, откуда «язык пустыни» (по выражению Чаплыгина) протягивается в области Нижнего Поволжья. «Язык» этот в течение последнего века далеко вытянулся на запад, и процесс этот продолжается. Это сказывается в частности во всем Нижнем Поволжьи (и частью в Среднем Поволжьи) в передвижении за последние 50 лет всех изохиэт (т. е. кривых, показывающих количество атмосферных осадков) на северо-запад**). Осведомленный автор писал об этом продвижении пустыни из Азии в юго-восточную Европу:

> «Засушливые и даже пустынные условия, наблюдаемые сейчас в южной части Заволжья, сравнительно недавнего происхождения. В XIII-XIV веках здесь находился центр огромного кочевого хозяйства, которое, конечно, не могло развиваться на тех песках и солонцах, которые характерны сейчас для этого района. На месте нынешних песков была тогда ковыльная степь, перемежавшаяся отдельными лесными зарослями. Эти заросли существовали еще в XVII и XVIII веках по рекам Уралу, Б. и М. Узеням и доходили до Каспийского моря. Усыханию этот край подвергся под влиянием прежде всего средне-азиатских пустынь, а также вследствие хищнического хозяйствования царских колонизаторов (Яицкого казачьего войска). Особенно способствовало усыханию края полное истребление лесов в конце XVIII и в начале XIX веков»***).

---

*) «Проблемы Волго-Каспия», т. I, стр. 19-20.

**) Инж. А. Миронов «Ирригация Заволжья и борьба с засухой», «Плановое Хозяйство», 1934 г., август-сентябрь.

***) Инж. А. Миронов «Вопросы ирригации и мелиорации южных засушливых зерновых районов в 3-ем пятилетии», «Плановое Хозяйство», 1936 г., июль.

Перед лицом этой опасности реконструкция Волги требует одновременного разрешения задачи дополнительного «питания» Волги водами, заимствованными из других речных бассейнов. Климатологическими соображениями отнюдь не исчерпывается, однако, аргументация в пользу обеспечения водного баланса Каспийского моря. Сохранения его современного уровня требуют и интересы городов и портов Каспийского побережья и интересы Каспийско-Волжского рыболовства. Однако, останавливаться на этом нет нужды, так как необходимость «компенсационного питания» Волги и Каспия для возмещения потерь водного стока при реконструкции Волги является сейчас общепризнанной.

Ризенкампф на сессии Академии Наук предложил компенсировать потери Волжского стока путем переброски прежде всего 12,2-12,5 кб. км. воды ежегодно из бассейна Дона. Это мероприятие было связано у Ризенкампфа с постройкой Волго-Донского канала. Но этого изъятия воды из Дона было бы недостаточно для компенсации водных потерь Каспийского моря уже в первые годы осуществленной реконструкции Волги и других рек Каспийского бассейна. Поэтому Ризенкампф настаивал на энергичной разработке вопроса о «северном питании» Волги — т. е. о переброске в бассейн Волги значительных водных масс из бассейнов северных рек. По рассчетам Ризенкампфа, уже в ближайшие годы возможно было бы «путем несложных и сравнительно недорогих мероприятий» (путем устройства водохранилищ на водоразделах) обеспечить ежегодную переброску в Волгу 13,7 кб. км. воды из бассейнов рек Сухоны, Онеги, Вычегды и Печоры, относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана. В дальнейшем размеры «северного питания» могут быть значительно расширены при помощи более сложных устройств*). В. Д. Никольский, выступивший со специальным докладом о «северном питании», исчислил технически и экономически оправданную переброску воды из бассейнов северных рек в бассейн Волги в 35 кб. км. в год с возможным увеличением этого количества в будущем**). Ни секции, ни общее собрание сессии не вынесли по этому вопросу решения, ограничившись принципиальным признанием необходимости обеспечения водного бассейна Каспийского моря.

Дальнейшая разработка этого вопроса привела к идее «единой общегосударственной генеральной схемы перерас-

*) «Вопросы Волго-Каспия», т. I, стр. 39, 52-53.

**) Там же, т. I, стр. 225-226.

пределения водных рессурсов». В рамках этой схемы получили более широкое освещение и вопросы о компенсационном питании Волги и Каспия. «Питание» это должно быть обеспечено в порядке самотечных переброс (путем устройства водохранилищ на водоразделах) в количестве 25 кб. км. в год из северных рек и 12 кб. км. из Дона. «При более детальной разработке предложенных схем не исключается возможность отнесения захватывающих плотин вниз по течению северных рек; это может повысить общий размер самотечных переброс примерно до 50 кб. км.». Независимо от этих переброс, «генеральная схема» намечает — пока лишь как «проектно-инженерное предположение» — широкую водохозяйственную реконструкцию всей огромной Каспийско-Аральской территории. Реконструкция эта в частности предусматривает переброску с помощью насосных установок (а не самотеком) около 180 кб. км. воды ежегодно из сибирских рек Оби, Иртыша и Томи в район Аральского моря и отсюда в район Каспийского моря и создания здесь огромных новых испаряющих площадей с общей суммой испарений тоже в 180 кб. км.*). Если этот проект когда-либо осуществится, это приведет к глубокому изменению климата в юго-восточном углу Европы, и проблема борьбы с засухой в Нижнем Поволжьи, может быть, перестанет существовать или по крайней мере в значительной степени утратит свою остроту. Пока это лишь инженерная мечта, не оказывающая сколько-нибудь заметного влияния на разработку текущих народохозяйственных планов.

***

К началу 2-ой мировой войны Советский Союз непосредственно подошел к строительству основного звена проекта Большой Волги — Куйбышевского гидроузла. Работа эта была приостановлена еще до вступления в войну самого Советского Союза. После войны к Куйбышевскому проекту пока не возвращались, и в ближайшие годы, видимо, не предполагают вернуться. На первый план выдвинулись сейчас другие части проекта Большой Волги. На состоявшейся в

*) А. А. Миллер-Шульга «О территориальном перераспределении водных рессурсов (К проблеме единой водохозяйственной схемы Союза)» в «Энергетических рессурсах СССР», изд. Энергетического института Академии Наук, Москва, 1938 г., т. II, стр. 291-298.

конце ноября 1945 г. в Молотове (Перми) специальной сессии Академии Наук, посвященной проблемам экономического развития Западного Приуралья (Молотовской области), в докладах Б. Е. Веденеева и Б. К. Александрова был широко поставлен вопрос о реконструкции Камы с притоками. У впадения Белой в Каму, выше города Молотова, должна быть построена большая гидростанция с водохранилищем, которое улучшит условия судоходства по Каме и ее притокам и облегчит регулирование стока по Каме и отчасти по Волге. Окончание строительства этой станции отнесено к 1950 г. В дальнейшем намечается создание еще двух — гигантских — станций: в Соликамске и Воткинске. Постройка Соликамской станции связана с устройством водохранилища площадью больше Ладожского озера (!), общего для верховьев Камы, Печоры и Вычегды. Это водохранилище не только должно сыграть крупную роль в регулировании Камского и Волжского стока, но и явиться источником «северного питания» Волги. Кроме этих больших станций на сессии Академии Наук было намечено создание ряда плотин и станций среднего размера, улучшающих — частью уже в первые годы 4-ой пятилетки — условия судоходства в восточной части Камского бассейна и открывающих возможность Камско-Иртышского (т. е. в конечном счете Волжско-Обского) водного сообщения*). Это, конечно, только часть того сложного комплекса, который получил название проекта Большой Волги. Но если эти предположения осуществятся, это будет большой шаг вперед по пути к реконструкции Волжского бассейна.

История разработки, или, может быть, лучше сказать осторожнее — история постановки проблемы Большой Волги с чрезвычайной отчетливостью вскрывает и положительные, и отрицательные черты советской системы планирования. Национализация земли и сосредоточение в руках государства всех средств производства очень облегчают широкую постановку больших народохозяйственных проблем, открывая — в принципе — возможность обсуждения и решения их не столько с точки зрения интересов отдельных отраслей хозяйства, отдельных областей или групп населения, сколько с точки зрения интересов народного хозяйства в целом. Это имеет большое политическое и социально-психологическое значе-

*) «Известия» от 2-го декабря 1945 г.

ние, устраняя сопротивление партикулярных интересов и приучая и хозяйственных работников, и население мыслить в категориях не частного, а народного хозяйства, подчинять частные интересы — областные, групповые, личные — общим интересам.

Это имеет и большое экономическое значение, облегчая возможность постановки сложных задач общенационального характера, трудно разрешимых в обстановке борьбы частных интересов, и облегчая осуществление больших проектов путем ассигнования для этих целей значительных сумм из общегосударственных средств.

Но система советского планирования — в конкретной обстановке, в которой она применяется, — таит в себе и большие опасности. Безграничные полномочия органов государственной власти в области планирования при невозможности независимой критики намечаемых, а тем более уже утвержденных правительством («декретированных») планов, при отсутствии общественного механизма для свободного отстаивания различных интересов, — создают чрезвычайно благоприятную обстановку для расцвета так сказать планового авантюризма: поспешного, без всесторонней их оценки, построения сложных планов, осуществление которых должно оказать глубокое влияние на экономику огромных районов и условия существования громадных масс населения. История разработки проекта Большой Волги очень богата примерами такого поспешного, незрелого решения больших народохозяйственных проблем. Характерной чертой этого планирования является легкость, с которой решаются проблемы, затрагивающие жизненные интересы сотен тысяч людей. Таков, например, при реконструкции Волги вопрос о затоплении местностей с многочисленным населением, которое подлежит при осуществлении проекта принудительному выселению. Поразительно, что при обсуждении проекта Большой Волги лишь немногие исследователи и плановые работники касались этого вопроса, да и касаясь его, останавливлись главным образом на вопросе о размерах причиняемых затоплениями убытков. Так в ноябрьской 1933 г. сессии Академии Наук вопрос о затоплениях затрагивался лишь в интересах сравнительной оценки проектов Камышинской и Самарской гидростанций.

По существу, вопросы, связанные с затоплением значительных населенных площадей, почти не привлекали к себе внимания сессии, и в многочисленных принятых сессией резолюциях — они занимают 59 страниц убористого шрифта —

о затоплениях, связанных с осуществлением проекта Большой Волги, просто не упоминается.

Очень мало внимания уделялось на сессии Академии Наук и вопросу о размерах капиталовложений, которых потребует осуществление проекта Большой Волги. Об этом, правда, говорили некоторые ораторы, а проф. Ризенкампф представил даже по этому вопросу обширные рассчеты, но и об этом в резолюциях сессии не сказано ни слова. Это характерное невнимание к вопросу о стоимости осуществления проекта один из существенных его пороков. Планирование требует рассчетов и советские плановики это отлично знают. Но запутанность советской денежной системы, отсутствие устойчивой валюты и необходимость производить рассчеты частью в так наз. «условных рублях 1926/27 г.», частью в «условных рублях 1931/32 г.», частью в неустойчивых «текущих рублях» придает всем рассчетам — особенно, когда они касаются периодов в пять, десять, пятнадцать лет, — очень неопределенный характер и благоприятствует развитию того псевдо-планирования, которое я назвал выше плановым авантюризмом. Сейчас, в связи с дальнейшим расстройством денежной системы СССР в результате войны, положение в этом отношении еще ухудшилось. Но это явление временное. Урегулирование денежной системы, установление ясности в хозяйственных рассчетах является для Советского Союза насущной необходимостью. Это трудная, но разрешимая задача, и в ближайшие годы она, вероятно, будет разрешена. Тогда и подсчеты необходимых для осуществления народохозяйственных планов капиталовложений и оценка экономической выгодности или невыгодности тех или иных мероприятий примут более реальный характер. Тогда и проект Большой Волги подвергнется, может быть, новой разработке.

С. Шварц

В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

(Из воспоминаний)

Наступили приемные экзамены в Академию, на душе неспокойно, волнение охватывает меня всего — выдержу ли я экзамены? Ведь мой рисунок слабоват — я это знаю; могу лишь дать верный контур, а тушевать совсем не умею, рисунок постоянно выходит пестрым, черным. За этюд из глины я не боялся, в нем я был уверен.

Настал день явки, это было в августе. Утром впустили нас в большую залу. Нас было 21 человек — все больше мужчин, женщин было немного. На этюд и рисунок давалось сроку две недели. Три часа каждое утро мы лепили горельеф с натурщика. Места распределялись по жребию. Мне достался рыжий Федор, тот самый, с которого я лепил у себя на квартире для практики. Это меня ободрило, я его хорошо знал, знал его пропорции, его характер. Этюд сразу пошел, и было весело, ходя по зале, осматривать работы других и сравнивать их со своей. Вскоре я убедился, что, строго говоря, у меня тут не было опасных соперников: кругом работы были много слабее моей. Но вот этот рисунок! Сегодня в пять часов мы должны были начать его, ох как жутко! Настал вечер, в рисовальных классах народу больше — живописцы и скульпторы рисуют вместе, и живописцев было более ста человек; архитекторы рисуют отдельно гипсы. Рисуют в трех классах. Мы ходим взад и вперед по классам и выбираем, с какого натурщика сделать рисунок, затем по жребию выбираем места. Наконец кончилась жеребьевка, все уселись, заскрипели карандаши, в залах тихо, лишь слышен шелест бумаги или скрип угля; время от времени кто то кашлянет или уронит что-либо на пол и этот звук гулко раздается в высокой аудитории. Стоит натурщик как вкопанный, заломив руку назад, выставив ногу, бодро, грудной клеткой вперед, стоит он и чуть колышется. Статуя! Привык, поза типичная, академическая; так рисовали и прежде, давно, десятилетиями стояли тут натурщики, заломив руку, не дыша, грудной клеткой вперед; так же тихо скрипели угли и карандаши в руках других художников, ушедших от нас в далекое прошлое; еще висят по

стенам рисунки К. Брюллова, Бруни, Серова. И кого тут только не было! В этих залах творилось русское искусство... Несмело, точно жизнь моя зависела от этого, начал я свой рисунок. Прикрепив кнопками бумагу, пригладив ее ладонью, чтоб не было пузырей, пододвинув стул поближе, начал мерить карандашем пропорции модели; провел вертикаль, наметил верх, низ, середину, вот тут будет голова, тут наклон плеч, здесь таз, и пошло, и пошло... Каждый день сходились мы сюда, начали сближаться, знакомиться, узнавать кто откуда... С разных концов матушки России слетелись сокола наши — сброд какой-то, все больше голытьба, милая, родная, вся полная одним духом — страстью к искусству. У каждого уже есть свои любимцы, свои идеалы. Говорят о профессорах, гадают к кому попадут. И, конечно, о Гуго Залемане, скульпторе-анатомисте говорят больше всего. Его боятся все, живописцы меньше, а скульпторы просто дрожат при его имени. Он — гроза Академии; длинный, лохматый, с нависшими бровями, с торчащими щеткой усами, всегда небритый, в черном, потертом сюртуке, застегнутом на-глухо, он как тень проносится по бесконечным корридорам на длинных ногах, вселяя суеверный ужас. О его чудачествах и строгости ходят легенды; но говорят и то, что он неподкупен, честен и правдив, не боится Совета, а сам Совет боится его, вроде как и мы.

Императорская Академия Художеств была основана Императрицей Екатериной Великой, при содействии графа Шувалова, и построена на Васильевском Острове по проекту архитекторов Виллан де ла Мотт и Кокоринова. Большая масса этого здания, в чудных пропорциях с куполом по середине, раскинулась на набережной Невы, в цепи других старинных зданий, начинавшейся Томоновской биржей, продолжавшейся — Академией Наук, ярко красным Университетом, более темным, тоже красным, Кадетским корпусом, когда-то бывшим дворцом всесильного Меньшикова, тенистым Румянцевским сквером и наконец нашей Академией Художеств, моей мечтой с ранних лет. Много раз я смотрел на нее и думал, удастся ли мне когда нибудь поступить в нее; не верилось, что мечта моя осуществится. Величавые сфинксы из «древнего града Фив» стояли и сторожили пристань против входа в Академию и казались мне такими же загадочными как и судьба моя. А по ту сторону Невы развернулась пано-

рама дворцов, Исаакиевский собор, Сенат; гордо вздымается «Медный Всадник», гулко и отчетливо раздаются постукивания копыт рысаков по торцам набережной, весело звенит и гремит трамвай на Николаевском мосту, а барки, нагруженные всякой всячиной, тихо скользят по широкой, водной глади Невы. Ярко играет августовское солнце на шпилях Петропавловской крепости, сумрачно выглядывающей из ряда красочных пятен домов, тянущихся вдоль Невы... А вокруг Академии тишина, пыльная улица, мощеная булыжником со скатом к середине — дремлет Васильевский Остров, колыбель русского искусства...

Академия — это целый мир; она соединяет в себе чудный музей, расположенный в прохладных, двухсветных залах, библиотеку, церковь, знаменитый циркульный двор по размеру диаметра купола храма Св. Петра в Риме, квартиры чиновников, студии выпущенных на конкурс учеников, классы, лекционные залы и столовую для учеников. При Академии существовало еще много других зданий; так, все профессора имели свои студии, некоторые выходили окнами в сад, еще Екатерининского времени, или на Литейный двор. Литейный двор — это были формовские мастерские, где отливались в гипс работы учеников, одобренныя Советом и затем хранившиеся в школьном музее, в главном здании. На Литейном дворе также находились квартиры натурщиков. Они считались на государственной службе и получали жалование и квартиру, а за долгие службы — медали. Тесно сроднились они с Академией. Поколения учащихся прошли через них. Имена некоторых из них — например, Антона, тонкого, мускулистого, бывшего когда то слесарем и попавшего в Академию на конкурсе натурщиков много лет тому назад, или Василия по прозванию Глинщика, потому что он приготовлял глину на скульптурное отделение, пользовались широкой известностью. Василий, которого иногда звали также «Толстым», был незаурядный человек. Прожил он в Академии целую жизнь, искусство понимал хорошо, конечно искусство академическое, и даже собирал картины. Покупал у учеников этюды и эскизы, у кого за пятерку, а у кого и за трешню, и так понемногу набрал интересную коллекцию. Многие из учеников делали впоследствии имена, и работы их росли в цене. Он всегда безошибочно определял, какую «категорию» получит ученик в конце месяца, он хорошо знал Совет и его вкусы.

Кругом в просторных квартирах со светлыми студиями жили наши «маститые»: Маковский, Беклемишев, бывший ректор Академии и другие.

***

И вот мечта многих лет осуществилась, я поступил в Академию. Она стала моей. Я ходил как в тумане. Я был горд, что я был первым в списке, говорили даже, что я был принят единогласно. Какое счастье!...

Наш класс помещался в первом этаже и окнами выходил на Румянцевский сквер. Вход же в Академию был с Четвертой линии. По длинному корридору ученики попадали в гардеробную, где старый служащий Федор, весь белый, с розовыми щеками, улыбаясь принимал наши потрепанные пальто. Отсюда опять по корридору, по холодку, в сторону от пейзажной мастерской Дубовского шел путь в наши скульптурные классы. В классах по углам стояли классические гипсы: Аполлона Бельведерского, Венеры Медицейской и известный торс Парфенонский, которым мы так часто любовались. Во второй комнате корчился Лаокоон. В классах было жарко, пыльно, пахло глиной и сыростью. Уже стояли и сидели в застывших позах натурщики. Нас было немного — всего шесть мужчин и три женщины. Старые ученики посматривали на нас снисходительно и даже слегка свысока. Тут был и Залеман. Я смотрел на него со страхом. Я не в первый раз видел его и так боялся, что он меня узнает. Несколько лет перед тем, еще гимназистом, я ходил копировать в Музей Александра III и однажды зашел к Верфелю, в магазин бронзы, попытаться продать там свои копии. Разглядывая их, Верфель посоветовал мне пойти к Залеману в Академию и спросить его мнение, могу ли я рассчитывать сделаться художником. Он говорил мне: — «Вам Гуго Романович скажет, он понимает».

И вот однажды, набравшись храбрости и не сказав ничего домашним, я захватил с собой свою последнюю композицию, в белом воске, которую считал лучшей и отправился к Залеману. Фигурка изображала Татьяну, сидящую на скамейке с книгой. Композиция была наивна, но при всей ее детскости вещица эта имела в себе что то милое и свежее. И вот, завернув ее тщательно в тонкую бумагу, понес я мою бедную Таню на суд! С трепетом вошел я через железную калитку во двор и по глухой, темной лестнице поднялся на второй этаж. На дверях была прибита медная дощечка, с выгравированным именем «Гуго Романович Залеман». Ух! Дернул за ручку медный звонок. Резко прозвучал он, где-то, за дверями; затем послышались шаги, неряшливая горничная открыла дверь и

провела меня в кабинет, где на столе стояли начатые из красного воска наброски к Кимврам, очень ловко сделанные — мускулы так и выделялись, все так правдиво. Наконец откуда-то снизу, по внутренней лестнице, соединявшей кабинет с нижним помещением, вошел человек. Он был худой, длинный, седой, волосы торчали во все стороны, лицо угреватое, нос толстый с красными жилками, глаза сидели глубоко, под нависшими бровями. Сумрачно смотрели они и цвет их был стальной, серый; иногда же в них искрилась веселая насмешка и они глядели на вас детски-добрые, и все угреватое лицо Залемана, с толстыми морщинами небритых щек, с усами торчавшими щетиной, преображалось доброй улыбкой и тогда его редкое уродство даже делалось привлекательным. Но не дай Бог разгневать его, темные искры сыпались из его глаз, а из под щетины усов гремели страшные слова. И вот перед этим человеком предстал я со своей Татьяной. Я готов был провалиться сквозь землю. Я воочию теперь видел, как слаба была моя Таня рядом с этими мускулистыми Кимврами. Он взял ее из моих рук, повернул вокруг и пробурчал с усмешкой:

— Попытка творчества?

Боже мой, я весь горел. Из под щетины голос продолжал:

— Хотите быть скульптором?

Я хрипло отвечал, шепотом:

— Да.

— Ну, тогда идите в Поощрение, а потом сюда.

Я ушел. В душе все металось. Он не сказал ничего, только посоветовал итти в Поощрение, значит надежда есть... И вот, спустя лет шесть, я опять встретился с Залеманом и как я боялся, чтоб он меня не узнал, но Залеман, очевидно, не помнил меня. Он лишь спросил, где я учился, и, чтоб придать себе больше важности, я отвечал, что учился в Париже, а о Поощрении даже и не сказал ничего. В ответ на это я услыхал насмешливое бурчание:

—Ну, посмотрим, как вас учили в Париже.

***

В классах, как в скульптурном, так и в живописных, занятия начинались в 10 часов утра, в час был перерыв для завтрака. В классах мы работали исключительно с мужской модели. После завтрака шли научные предметы, лекции по истории искусств, анатомии и перспективе, а в пять часов мы сно-

ва собирались на рисунок и рисовали до семи часов вечера. Кроме того четыре раза в неделю мы посещали практические занятия по анатомии и по перспективе. Практические занятия по анатомии состояли в рисовании костей скелета со всех сторон под руководством Залемана; перспектива заключалась в черчении разных перспективных рисунков — комнат с окнами, раскрытыми дверями, лестницами, сводами и пр. И так, приходя в Академию в 10 часов утра, я редко уходил ранее 10 часов вечера. Кроме этюда требовалось еще исполнение эскизов на заданные профессором темы. Их мы исполняли в перерывы, и в особенности в лекционные часы. За все наши работы в конце месяца Совет Академии, состоявший из всех классных профессоров и руководителей мастерских, ставил отметки, называвшиеся категориями. Были еще денежные награды, а в скульптурном отделении — формовка этюда на казенный счет. Это была высшая награда в нашем отделе. Такая работа затем ставилась в школьный музей Академии. По поступлении, новичок состоял на испытании в течении первого полугодия, и за этот срок он должен был получить известное количество хороших категорий за этюд, рисунок и композицию. На последнюю обращалось особенное внимание, и иногда ученик сравнительно слабый в этюде и рисунке, но успешный в композиции, оставлялся в классах и даже переводился через несколько лет в мастерские. Первая категория давалась редко, всегда была до известной степени событием в нашей академической жизни, о котором говорили. Срок пребывания в классах был неодинаков, обыкновенно ученик оставался года два или два с половиной, но иногда при особенных успехах срок сокращался — полтора или даже год, что бывало весьма редко. Из классов ученик переходил в мастерские, где он оставался еще года на два. Ученик имел право выбрать себе специальность и поступить, конечно с согласия руководителя, в ту мастерскую, которая ему была больше по склонности. Так в живописном отделе были мастерские: пейзажа — Дубовского, бытовой живописи — Маковского, батальной — Самокиша, портрета — Кардовского и гравюры — Матэ. А так как у скульпторов был лишь один скульптор руководитель: — В. А. Беклемишев, то естественно и выбора не было. Архитектора тоже имели несколько руководителей. В мастерских уже была и женская модель.

В скульптурном отделении каждый ученик имел свою модель и работал над этюдом целое полугодие; этюд делался в натуральную величину, тогда как в классах мы лепили лишь горельефы и менее натуры; по истечении двух, а то и более

лет, ученик с одобрения Совета выходил на конкурс на получение звания свободного художника. Кроме звания давались еще заграничные поездки — наш русский *Prix de Rome*. По живописи этих «призов» было три, а по скульптуре один. Каждый конкуррент получал отдельную студию на весь год; модель его оплачивалась канцелярией, а отопление и освещение было даровое. Кроме того, что все учились бесплатно, многие еще получали стипендии в очень большом размере (самая большая была «крестьянская»). Для получения звания необходимо было иметь не менее четырехклассного образования общего и сдать экзамены по научным предметам, преподававшимся в Академии: по анатомии, перспективе и истории искусства. Научные предметы надо было знать хорошо, так как экзаменовали строго, в особенности по анатомии, ибо тут присутствовал сам Залеман. Тыкая пальцем в разные места на теле обнаженного натурщика, он задавал быстро вопросы и требовал такого же быстрого ответа. Со мной например было так: я ответил на все вопросы без ошибки и лишь на последнем вопросе замешкался, но подумав все же дал верный ответ. Однако за это я не получил «весьма удовлетворительно», несмотря на то, что был до известной степени любимцем Залемана. Он не простил мне замешательства. И когда я позже зашел к нему в студию, он усмехаясь сказал: «Этого было довольно, раз вы задумались, значит нетвердо знали». И потом прибавил: «Уж слишком много вы первых категорий имели, сами виноваты, что больше с вас и требуется». Я стоял ошеломленный такой логикой. «Вот тебе и награда за все мои труды», думал я. Но сказанное Гуго это было больше чем «весьма удовлетворительно», это было отеческое поучение, и я ему благодарен по сей день.

С самого начала Гуго Романович забрал нас в руки. Не исполнить того, что он требовал, было невозможно, такая сила была в каждом его слове. Как я уже говорил, он отнесся с сомнением к моему парижскому обучению. И вот через несколько дней, подойдя к моему первому этюду, он спросил меня, знаю ли я что-нибудь об анатомии. Я отвечал, что знаю «кое-что». Однако после двух, трех вопросов он ехидно заметил: «лучше скажите, что вы ни черта не знаете». Затем указав на мой этюд, он спросил: «что вы тут делаете»? Я отвечал с недоумением: «этюд, горельеф». — «Нет, это не го-

рельеф», отвечал Гуго, «это гористая местность». У меня сердце замерло, душа ушла в пятки... Гуго взял глину и большими шлепками набросал комки на разные места, уже почти законченные, повернулся и вышел, волоча ноги, шмыгая ими по полу. Эта его шмыгающая походка, вся его фигура, с заложенными за спину тонкими руками, с шеей, торчащей из низкого мягкого ворота с сильно выдающимся кадыком, как сейчас памятны мне... Старые ученики обступили меня как-то особенно торжественно, довольные моим разгромом и, казалось мне, хотели показать, что далеко не так легко быть наравне с ними. Стали снисходительно объяснять, что Гуго не имел намерения этими шлепками испортить слабую работу, а указывал в каких местах, насколько не хватало рельефа. Я начал внимательно вглядываться и вскоре ясно понял большую осмысленность поправок. Я загорелся желанием доказать Гуго, чего я стою, и лихорадочно работал все утро. На следующий день он подошел прямо ко мне, минуя других, долго стоял позади меня и следил за тем, как я работаю. Я страшно волновался и, когда я поворачивался, чтоб дать ему подойти для новой критики, он лишь бурчал: «работайте, работайте». Через несколько времени он опять подошел, резко отпихнул меня в сторону и начал подробно объяснять анатомию руки, торса, ноги, так четко, ясно. Показывал влияние на поверхность тела разных мускулов, объяснял отчего кожа в иных местах была разного цвета, и как по разным буграм и впадинам на теле можно было, зная анатомию, разобраться в форме. Он, бывало, не подпускал нас к натурщику, хватал за руку и говорил: «Стойте, стойте, издали, с вашего места вам лучше видно». И правда, издали бывало видно яснее; подойдешь и уже потеряешь из виду то, что так ясно было видно издали.

И вот теперь, когда он впервые подошел ко мне, когда в первый раз я услыхал его объяснения, я понял, что я должен был запомнить все им сказанное, если я хочу, чтоб он меня полюбил, как ученика. Это был тот момент в моей жизни, который я не смел пропустить. Час или даже дольше пробыл со мною Гуго, я весь трепетал от волнения. Вернувшись домой, я вызубрил названия всех мышц, о которых он мне говорил. На следующее утро, как я и думал, он прямо подошел ко мне и начал задавать вопросы. Очевидно оставшись доволен ответом, он ничего не сказал и пошел к другим ученикам. Гуго никогда никого не хвалил, самая большая его похвала была — «это ничего». Он произносил слова немного в нос, гнусавил и сильно картавил. На нас Гуго производил какое

то особенное впечатление — недосягаемости. Его изумительные знания, верность всех его замечаний, лаконичность и насмешка, заставляли нас трепетать перед ним. Мы любили задавать ему вопросы об искусстве, о классическом конечно, так как «модерна» он не любил. Беседы происходили обыкновенно в проходе, перед классами, куда мы выходили покурить в перерывах. Хотя Гуго Романович был сам страстный курильщик, он никогда не позволял себе курить в классе, а выходил в проход, садился на табуретку около дверей, скрещивал длинные ноги и громко пыхтел папиросой. Мы обступали его со всех сторон и задавали вопросы. При этом я замечал, что спрашивающие старались сложностью вопросов выдвинуться перед ним, обратить на себя его исключительное внимание. Однако, он никогда этого не замечал, а отвечал всегда просто и ясно.

Больше всего Залеман преследовал леность. Он решительно всех считал лентяями. И не прощал лень в ком бы то ни было. Правда, он сам работал неутомимо, вставал рано утром и прямо шел к себе в студию. Его студия находилась в глубине Литейного двора и окнами выходила на Большой проспект. Она производила впечатление голое, серое, неуютное. Тут по сторонам стояли его старые работы, отлитые в гипс, по стенам на полках — несколько эскизов. Посереди же стояла большая фигура в глине, изображавшая человека, строгающего палку ножичком. Над этой статуей он работал много лет, он уже работал над ней, когда я поступил в Академию в 1913 году, и не кончил ее в 1917 году, когда я уехал из Петербурга, с тем чтоб никогда больше не вернуться... Но он бы ее никогда и не кончил. Он постоянно менял то то, то сё. То переменит положение руки, то ноги. Раз как-то зайдя к нему я заметил, что он изменил ногу, придав ей новый изгиб, подчеркнув своеобразный излом в голени, бывший скорее уродством, уклонением в сторону случайной особенности. Я спросил его, отчего он взял эту черту модели. Гуго отвечал, что поневоле увлекаешься натурой. И вот от таких увлечений работа не подвигалась. Местами же она была необыкновенно сильна. Богатство формы поражало, эта его работа была совсем в другом роде чем другие, известные его работы, находящиеся в музеях Академии и Александра III-го. В ней он передал все свое изумительное знание человеческого тела. К сожалению свет этой работы никогда не увидит. Она погибла в развале, последовавшем за большевистским переворотом, и творец ее, бескорыстный пуританин, умер изгнанный из Академии за «консерватизм». Изгнанный из той Ака-

демии, в которой он родился в семье Залемана-отца, тоже скульптора, работавшего с Монферраном над скульптурными украшениями Исаакиевского Собора. Тут в этой Академии он вырос в традициях Мартоса, Пименова, барона Клодта, друга его отца. Тут же прошла вся его зрелая жизнь. Он умер от голода, слишком гордый и скромный, чтоб кого-либо просить. Подделываться же к новым хозяевам он не мог...

Каково было ему умереть вдали от Академии, ему, любившему ее настолько, что никогда, со времени возвращения из заграничной поездки, он ее не покидал... Однажды весной я зашел к нему проститься перед отъездом в деревню. С удивлением он меня спросил: «Куда же вы это едете?» «В деревню», отвечал я, «отдохнуть». «Отдохнуть?» переспросил он меня, как то фыркнув при этом. «Разве вы уж так устали? К чему вам ехать в деревню, тут у вас есть студия, работайте, а отдыхать будете в Академическом саду, будем вместе гулять, а впрочем...» Он махнул рукой и презрительно замолчал. Я понял однако, что означал этот жест — «лень», подумал он...

Каждый день, начиная с весны, лишь просыхала земля в саду, после занятий в шестом часу, а в весенние вечера и позже, можно было наблюдать его длинную фигуру, в длинном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в широкополой черной фетровой шляпе, шагающую по саду. Обойдя быстрыми шагами небольшой сад по всем дорожкам, Гуго присаживался на скамейку, выходившую на Четвертую линию, закидывал длинные руки вдоль спинки скамейки и следил взглядом за редким движением по тротуару и улице. Проходившие бывали по большей части связаны чем либо с Академией, все ему почтительно кланялись, а он бурчал им в ответ и придавал своему небритому, уродливому лицу выражение, долженствовавшее означать улыбку. Бывало подойдет к нему и присядет рядом другой скульптор, маленький Роман Романович Бах, и каким то величественным покоем веяло от этой старомодной парочки... Зимой Гуго гулять почти вовсе не ходил. Ученики рассказывали мне, что на похоронах художника Ционглинского его спросили, как давно он не был на Невском, на что он отвечал — «пятнадцать лет»...

Залеман был суров и непреклонен и, как я уже говорил, всех считал лентяями. Но сердце у него было доброе под этой суровой маской. Его единственная привязанность в жизни была его мать, умершая всего за несколько лет до моего поступления в Академию. Однажды в Совете профессоров рассматривалось прошение одного ученика об отпуске в середине

учебного года, для сопровождения больной матери на юг. Гуго Романович все отказывал, говоря, что это лишь предлог, а настоящая причина — лень. Тогда горячий заступник молодежи покойный Ян Ционглинский, зная Гугино слабое место, сказал «А ну:ка, Гуго Романович, еслибы ваша мать была больна, вы бы отпустили ее одну?» — Гуго только рукой махнул и пробурчал: «пусть едет». Гуго часто помогал бедным ученикам деньгами и лишь с усмешкой говаривал, что «свистит в кармане». Про его чудачества ходило много рассказов. В студии у него стояли несколько метел из березовых веников и вокруг летали чижи, свившие себе в них гнезда. До чижей у него были кролики. Кто-то ему подарил кролика и, чтоб кролику не было скучно, Гуго приказал Дмитрию, натурщику прислуживавшему ему в студии, купить на рынке кроличиху. Но вот, однажды, к его удивлению, пропала кроличиха. Гуго удивлялся, но вскоре все объяснилось появлением кроличихи с целым семейством. Развелось этих кроликов очень много. Кроличиха выводила их в заброшенной печи в студии. Старый кролик их часто обижал, вследствии чего Гуго приказал Дмитрию купить плетку и этой плеткой наказывал злого, старого кролика. Гуго долго терпел всякие бесчинства кроликов, пока в один прекрасный день они не поели его восковые эскизы. Этого даже Гуго стерпеть не был в состоянии. Он приказал Дмитрию отнести их к приятелю в Академию Наук для опытов. Это был конец кроликов... Однако вскоре Гуго стало скучно одному в студии и он поручил Дмитрию купить чижей. С тех пор они и летали по студии, садились на гипсовые статуи и повсюду оставляли свои визитные карточки... А весной бывало Гуго замечал глубокомысленно: «что-то мои чижи всякую пакость начали подбирать, гнезда вить собираются, видно скоро весна будет».

Гуго очень любил сильных и мускулистых натурщиков и потому борец по фамилии Городничий очень ему полюбился. Городничий был большой скандалист и нахал, но Гуго все ему прощал за мускулы. Однажды, позируя ему, он вдруг спросил Гуго Романовича:

— Поди, много вы денег переплатили Николаевне?

— А что? — спросил Гуго.

(Николаевна была экономка Гуго).

— Да вот вам жениться бы пора.

Невесты нет, — отвечал Гуго. — А у тебя есть что ли?

— Да есть, Гуго Романович, и с приданым, с большим, сто рублёв за ней.

— А кто-ж она?

— Кухарка Владимира Маковского.

Гуго только долго смеялся...

В Гуго Романовиче было странное соединение угрюмости и ребячества, свойственное людям с необыкновенно чистой душой. Соединение величайшей скромности и пренебрежения к тем, кого он считал ниже себя. Так он не скрывал своего презрения к Совету профессоров. Компануя однажды барельеф из римской истории, я изменил кое какие детали истории, переданной Плутархом о Кориолане. Указывая Гуго на эту мою вольность в обращении с историей, я выразил опасение, что Совет не одобрит такое уклонение от Плутарха. На что Гуго лишь презрительно фыркнул и сказал: «А вы думаете, Совет читал Плутарха?». Гуго часто приходил в классы, но никогда не соблюдал определенных часов, и всегда являлся неожиданно. Уже издали мы слышали его шмыгающую походку и, как только мы замечали его приход, в классе воцарялась тишина и мы сосредоточенно начинали работать над своими этюдами. Я замечал на лицах всех скрытое волнение от ожидания, к кому он подойдет. Бывало Гуго станет сзади, делается жутко, но не отходишь от этюда, не уступаешь ему места, так как он этого очень не любил, а ждешь, чтоб он сам тебя отпихнул. А то часто бывало Гуго постоит так несколько минут молча и вдруг увидишь его длинную руку из за спины, ткнет длинным худым пальцем в этюд и молча уйдет. И вот после стоишь и голову себе ломаешь, что он имел в виду, одно лишь было несомненно, что что-то было неладно в этом месте. Иногда вдруг разразится грозой над кем нибудь, мы все стихаем, а Гугин голос гремит. Бедная жертва его гнева дрожит, ни жива ни мертва. Однако постепенно голос стихает, переходит в нормальную речь и наконец совсем умолкает, и лишь слышится шуршание подошв о цементный пол...

К весне настроение наше естественно становилось тревожным; решались, ведь, многие судьбы. Того переведут, того оставят, а кое-кого может быть даже исключат. Для такого бедняка это означало начинать все сначала: т. е. вновь конкурс, и если примут — опять испытательное полугодие. На конкурсном экзамене профессора не знали имен конкурентов, так что вновь поступающему исключенному не было риска быть опознанным и быть не принятым лишь по преду-

беждению профессора. Я знал одного, который держал экзамен девять раз, на девятый был принят, но затем опять был исключен. За первый же год я составил себе почетную репутацию, как среди профессоров, так и среди учеников. Я получил несколько первых категорий, бывших редкостью. А один этюд сам Гуго приказал отлить на казенный счет. С какой гордостью смотрел я на надпись, нацарапанную на мягком фоне этюда: «отформовать на казенный счет». Как я был счастлив, вера в себя, в свое будущее, создавала в душе настроение полного равновесия и удовлетворения. Я слился душой с Академией, с ее историей. Я как то породнился с ней.

Весна была на дворе. В академическом саду по просохшим дорожкам Гуго уже гулял в одном сюртуке и в широкополой фетровой шляпе... У конкуррентов в мастерских шла горячая работа. Ночи уже были белые и в классах, где мы рисовали, опускались шторы, чтоб было возможно рисовать при электрическом свете. В жизни я не забуду, как по субботам, в последний час рисунка, доносился звук благовеста из церкви св. Андрея Первозванного, находившейся неподалеку на Большом проспекте. Мерные удары колокола с тихим перезвоном мягко неслись в классы. Грустно и размягчающе звучали эти призывы... А в классе тихо, скрипят угли, шуршит бумага, и время от времени раздается голос учителя, поправляющего рисунок ученика. Солнце садилось далеко за Васильевским Островом, где-то в конце Невы, и лило свои розовые лучи. И в щелях между шторами блестели они своим золотым блеском... Кончался урок, поднимались шторы и, бывший до того ярким, электрический свет в лампочках блек, делался таким бледным, а на дворе, в академическом саду так дивно пахли почки деревьев и солнце последними лучами ласкало их...

Глеб Дерюжинский

ПАМЯТИ Л. Е. ЭЛЬЯШЕВА

В Нью Йорке скончался старейший русский общественный деятель Лев Ефимович Эльяшев, весьма видный член Партии Народной Свободы.

Лев Ефимович родился в 1863 году в Москве. В работе кадетской партии он принимал участие с самого ее основания. Но еще до того он был тесно связан с некоторыми из ее будущих руководителей: П. Н. Милюковым, И. И. Петрункевичем, Ф. И. Родичевым, М. М. Винавером, П. П. Юреневым. Л. Е. был членом Центрального Комитета Партии и, будучи состоятельным человеком, оказывал ей и материальную поддержку. Помогал он работой и деньгами и ряду благотворительных организаций в России. Его отзывчивость была в Москве хорошо известна.

После прихода большевиков к власти Л. Е. был арестован, затем выпущен и бежал в Киев, оттуда в Константинополь. Из Турции он скоро переехал в Берлин, затем в Париж. В день убийства В. Д. Набокова он был ранен пулей при обстоятельствах всем памятных. С той поры его близкие политические отношения с П. Н. Милюковым перешли в тесную личную дружбу, продолжавшуюся до конца жизни Павла Николаевича. Вероятно, в «Новом Журнале» будут в близком будущем напечатаны некоторые материалы, относящиеся к последним годам жизни Милюкова (в частности, одна декларация, написанная им незадолго до кончины и рисующая его политическую позицию совершенно не так, как она намечалась в его нашумевшем письме). Редакция надеется поместить и некоторые письма Павла Николаевича к Л. Е. Эльяшеву и к его супруге, впрочем не имеющие политического характера.

В 1921 году произошел раскол партии Народной Свободы. Она разделилась на три течения. Л. Е. примкнул к левому, которое сначала именовалось «Милюковской группой». Четырьмя годами позднее в Париже образова ось Республиканско-Демократическое Объединение. Л. Е. был одним из его основателей. В этой организации и прошли последние годы его жизни. Несмотря на свой возраст, он работал в ней с увлечением и с энергией. После катастрофы 1940 года он переехал в Соединенные Штаты. До последних дней он чрезвычайно интересовался политическими делами. Резгром гитлеровской Германии был его последней великой радостью. Кончина этого выдающегося общественного деятеля большая потеря для его личных и политических друзей.

БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ КНИГИ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

Soviet Politics ot Home and Abroad, by Frederick L. Schuman, Knopf, New York, 1946. Pp. 663. $4.00; *USSR Foreign Policy*, by Victor A. Yakhontoff, Coward-McCann, New York, 1945, Pp. 311. $3.50; *Soviet Far Eastern Policy, 1931-1945*, by Harriet L. Moore, Princeton University Press, Princeton, 1945. Pp. 284. $2.50; *American-Russian Rivalry in the Far East: A Study in Diplomacy and Power Politics, 1895-1914*, by Edward H. Zabriskie, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1946. Pp. 226, $3.50.

Новая книга профессора Шумана содержит мало неожиданного для тех, кто знаком с более ранними работами этого плодовитого автора. Его увесистые томы следуют один за другим через промежутки в немного месяцев. Их отличительные черты — догматизм, многословие, масса ненужных подробностей и почти патологическая потребность оправдывать и обелять все, что относится к Советской России.

Шуман, повидимому, сознает, что с чисто литературной точки зрения его последняя работа оставляет желать много лучшего. «Эта книга», пишет он в предисловии, «столь длинна не потому, что я не имел времени сделать ее короче, но потому что сама тема не может быть изложена сжато и просто если не приносить в жертву существенных фактов». К сожалению, трудно согласиться с этим утверждением автора. «Советская политика дома и заграницей», которой посвящена его работа, не есть, конечно, новая тема; она была не раз разработана до него несравненно более ярко, объективно, интересно и кратко. Те, кто следят за текущей литературой о советской России и читают периодическую прессу, не найдут на шестистах страницах «Советской политики» ничего, что не было бы им знакомо. Научный анализ такого крупного исторического явления, как советский период русской истории, требует внимательного критического изучения огромного материала, объективности, способности сосредоточиться и, главное, времени. Давнее и мудрое правило «служенье муз не терпит суеты» не совместимо с лихорадочной погоней за последним сообщением вечерних газет.

Главной темой книги является влияние международной обстановки и политики великих держав на внутреннее развитие и внешнюю политику Советской России. Последнему вопросу отведено особенно много места. Если книга Шумана не содержит нового фактического материала, то ее никак нельзя упрекнуть в отсутствии своеобразных интерпретаций. Одна из ранних глав «Советской политики» дает очерк истории России с древнейших времен. Мысль о связи прошлого с настоящим, хотя и не очень оригинальная, по сути совершенно здравая: русское прошлое содержит много ценных данных, необходимых для понимания советского режима. Увы, сухой и поверхностный конспект Шумана, занимающий 32 страницы, ничего для этого понимания не дает. Читатель с недоумением спрашивает себя, какая связь существует между советской политикой и появлением вендов и готов в степях будущей южной России. Лишь в дальнейшем изложении цель исторической экскурсии выяснится: Шуман выступает защитником теории «исторической необходимости» в самой примитивной ее форме. Читатель узнает, что все основные явления русского прошлого — Киевская Русь, самодержавие, крепостное право — были всецело результатами борьбы с внешним врагом. Факторы того же порядка — «нападения» со стороны Лондона, Парижа, Токио, Вашингтона и Варшавы — предопределили внутренний строй и внешнюю политику Советской России (стр. 126). В развитии этой теории Шуман идет дальше, чем трафаретные клише советской пропаганды. Он утверждает, что вторая мировая война и разногласия между союзниками после ее окончания — результат интервенции в России в 1918-1921 гг. (стр. 149); что та же интервенция заставила советы организовать Третий Интернационал (стр. 167), а Брест-Литовский мир привел к установлению диктатуры коммунистической партии вместо коалиции «на широкой базе» (стр. 132). Автор, впрочем, признает, что «марксистская доктрина могла бы дать те же результаты», но он все же полагает, что национализация 1918 г. была вызвана не теоретическими соображениями, а «политической необходимостью» (стр. 160). Едва ли нужно прибавлять, что, по мнению Шумана, англо-французская политика 1939 г. не оставила Сталину никакого выбора кроме договора с Гитлером (стр. 380).

Шуман не все одобряет в диктатуре пролетариата. Он думает, однако, что «если бы в течении последних двадцати лет СССР был политической демократией западного образца... Советский Союз не существовал бы сегодня» и вместе с ним «погибла бы независимость Великобритании и свобода Америки» (стр. 326). В виду столь исключительных заслуг диктатуры, неясно почему Шуман выражает надежду, что она сможет со временем переродиться в демократию: не может же он желать уничтожения Советского Союза, независи-

мости Великобритании и свободы Америки?

Шуманские интерпретации внутренней политики Кремля не менее занятны. Мы узнаем, что Ленин предполагал организовать коммунистическую партию, как «воинствующий монашеский орден помазанников, которые исполняют Завет (Gospel), вдохновлены Откровением (Vision), и всецело преданы Делу (Cause)» (стр. 39). Автор проявляет глубокое проникновение в скрытые помыслы и мотивы действий русского народа. Он считает ошибочным мнение, что Россия была вовлечена в мировое революционное движение кучкой экстремистов, вопреки ее желанию: напротив, большевики получили власть в 1917-1918 гг. потому, «что русские народные массы были исполнены стремления спасти мир и в то же время себя, призывая повсюду рабочих и крестьян к восстанию против правящих классов» (стр. 168). Единогласие советских выборов объясняется традицией веча и национальной «страстью к единству» («passion for unity», стр. 323).

Книга Яхонтова дает односторонний и бледный очерк внешней политики СССР от октябрьской революции до весны 1945 года. Написанная во время войны, она воспроизводит с утомительным однообразием официальную советскую точку зрения и ничего не прибавляет к тому, что хорошо известно сколько-нибудь осведомленному читателю. Простое повторение давно знакомых теорий не делает их, конечно, более убедительными.

Г-жа Мур, подобно Шуману и Яхонтову, строго придерживается ортодоксальных взглядов, диктуемых Москвой, но в отличие от двух предыдущих авторов она делает это совершенно открыто. Цель ее книги, как указывает сама г-жа Мур, познакомить американского читателя с тем, что «сказано и сделано» СССР в дальне-восточном вопросе с 1931 по 1945 год. В этих узких рамках, которые, исключая критический подход, неизбежно придают ее работе пропагандистский характер, г-жа Мур выполнила относительно удачно поставленную ею себе задачу. Ее изложение охватывает основные вопросы советской политики на Дальнем Востоке и дает полезную сводку главных документов и комментариев советской печати. Документальные приложения, которые занимают почти половину небольшой книжки г-жи Мур, являются наиболее ценной частью ее работы.

«Русско-американское соперничество на Дальнем Востоке» профессора Забриски резко отличается и по характеру и по содержанию от книг Шумана, Яхонтова, и г-жи Мур. Это солидная и отлично документированная работа серьезного историка, результат многих лет кропотливых изысканий, написанная к тому же Sine ira et studio. Несмотря на «академический» подход автора, а быть может и благодаря ему, монография Забриски проливает много света на то, что происходит сейчас на Дальнем Востоке. Автор использовал огром-

ный материал, включая документы архива министерства иностранных дел в Вашингтоне и ряд ценных официальных и полу-официальных советских изданий.

В вводной главе Забриски дает весьма дельный сжатый очерк русско-американских отношений от конца восемнадцатого до конца девятнадцатого века.

Главная тема книги — русско-американское соперничество на Дальнем Востоке в двадцатилетие 1895-1914 — разработана очень полно. Прекрасно владея источниками, Забриски выпукло очерчивает стадии любопытного и не всегда последовательного процесса, под влиянием которого «традиционная дружба» превратилась в открытую враждебность. Яблоком раздора между Россией и Соединенными Штатами сорок-пятьдесят лет тому назад, как и сегодня, была Манчжурия. Непоследовательность, случайность, а часто и близорукость дальневосточной политики, как Петербурга, так и Вашингтона, ярко выступает из сдержанного рассказа автора. Эта неспособность государственных людей начала двадцатого века предвидеть результаты решений, чреватых последствиями, должна бы послужить серьезным предостережением для нашего поколения. Так американская политика «открытых дверей», официальной целью которой было предотвратить раздел Китая и обеспечить внутреннюю его независимость, «превратилась со временем в главный повод к интервенции» (стр. 190). Как известно, во время русско-японской войны симпатии Рузвельта и американского общественного мнения были на стороне Японии. Вашингтонские политики полагали, что война ослабит обоих соперников и сделав их непримиримыми врагами, будет содействовать укреплению американского влияния в Китае. На самом деле победоносная война чрезвычайно усилила Японию, и уже в 1907 году произошло сближение Токио с Петербургом, которое привело к секретному договору 1912 года и установлению русской и японской «сфер влияния» в Манчжурии и Монголии. Так называемая «дипломатия доллара», т. е. попытка подчинить Китай американской гегемонии путем финансового и экономического контроля, столь деятельно поддерживаемая Тафтом и его статс-секретарем по иностранным делам Ноксом, вызвала лишь ожесточение в Петербурге и способствовала дальнейшему русско-японскому сближению.

Забриски разумно воздерживается от заманчивых параллелей с современностью, но они напрашиваются сами собой. При этом однако, не следует забывать и новых факторов, резко отличающих настоящее положение от прежнего, и в особенности — утраты Японией положения великой державы и наличия революционных элементов в дальне-восточной политике Советской России.

М. Т. Флоринский

Germany — Our Problem, by Henry Morgenthau Jr. Harper and Brothers, New York, 1945.

Книга «Германия — наша проблема» бывшего секретаря казначейства при Рузвельте Генри Моргентау заслуживает самого серьезного внимания. В ней поставлен в категорической форме один из коренных вопросов современной мировой политики: возможно ли предотвращение новой германской агрессии без полной ликвидации германской тяжелой промышленности и в частности промышленности металлургической, химической и электрической. Отрицательный ответ, даваемый Моргентау на этот вопрос, истолковывается часто сторонниками «мягкого мира», как его желание (диктуемое «фанатической жаждой мести») уничтожить всю германскую промышленность. Достаточно прочесть книгу Моргентау, чтобы убедиться, насколько не соответствует действительности это толкование.

Период, протекший между первой и второй мировой войной, показал совершенно неопровержимо, как ошибочны были представления о «суровости» Версальского договора. Никто иной, как Освальд Шпенглер, признал: «Легенда о том, что мягкий мир мог бы предотвратить вторую войну, могла возникнуть только в головах людей, которые никогда не изучали истории германской мысли». Все меры, которые были предусмотрены в Версале для предотвращения новой германской агрессии — разоружение, контроль, оккупация, содействие установлению в Германии демократического режима — оказались недостаточными. Уже вскоре после Локарно, напоминает Моргентау, Германия оказалась благодаря своему промышленному потенциалу (сталь, уголь, электричество, химические заводы) самой сильной страной в Европе. Чтобы это не повторилось сейчас, необходимо одно: уничтожение этого потенциала.

Но не будет ли ликвидация германской тяжелой промышленности вместе с тем тяжелым ударом по всей европейской экономике? Ответ Моргентау на этот вопрос гласит: представление о том, что благосостояние Европы неразрывно связано с существованием германской тяжелой индустрии, — миф, усиленно распространяемый германской пропагандой в течение ряда лет.

Приводимые Моргентау данные несомненно подтверждают это положение. Германия — напоминает он — не снабжала Европу ни железом, ни сталью, ни произведениями химической и электрической промышленности. Доля германских товаров в импорте всех европейских стран не превышала 12½ процентов. При этом германский импорт искусственно поддерживался вывозными пошлинами, системой «clearings» и т. п. мероприятиями. Так же неверно и представление о том, что Германия «не может прокормить себя», если ее

тяжелая промышленность будет ликвидирована. До войны Германия производила 83 процента всей потреблявшейся ею пищи. Раздробление юнкерских поместий и увеличение числа рабочих рук в земледелии позволит сделать его более интенсивным. Конечно, количество калорий потребляемых немцами понизится, но не надо забывать, что перед войной Германия в отношении питания стояла почти на одном уровне с Соединенными Штатами (3000 кал. в Германии, 3030 — в Соед. Штатах). Понижение питания немцев неизбежно при всякой политике, если союзники только не захотят кормить врагов за счет друзей.

Предотвращение новой германской агрессии — таков, по Моргентау, основной и единственный критерий, с которым союзники должны подходить к германской проблеме. С этой точки зрения он обсуждает и вопрос о репарациях, отвергая репарации натурой, как содействующие развитию германской промышленности. Единственная форма репараций, рекомендуемая им, — репарация в форме благ, имеющихся налицо в настоящий момент ((добыча, награбленная немцами, машины, запасы сырья и труд немцев в разоренных ими странах по восстановлению того, что ими было разрушено).

Хочется еще обратить внимание на ту главу книги Моргентау, в которой он указывает на связь между позицией, занимаемой некоторыми политическими кругами в Соединенных Штатах по отношению к Германии, и позицией, занимаемой ими по отношению к России. Это действительно весьма интересный факт: очень часто сторонники «мягкой» политики по отношению к Германии являются в то же время противниками каких-либо компромиссов, когда речь идет об отношении между Америкой и СССР. Надо «щадить» Германию, так как она (и Япония) может еще «пригодиться». Моргентау справедливо указывает, что эта психология существовала еще во время Версаля и имела результатом «изменение условий мира в пользу Германии». «Если мы будем мудрыми — писал Ллойд Джордж в меморандуме, представленном Версальской конференции 25 марта 1919 года — мы предложим Германии мир, который, оставаясь справедливым, будет для всех разумных людей предпочтительнее перспективы большевизма». Очень любопытно также приводимое Моргентау рассуждение германского психолога и филолога Гуго Мюнстерберга. «В постоянной борьбе между нациями — писал Мюнстерберг в 1915 году — наступил момент, когда два антагониста, Англия и Россия, пришли к общему стремлению — обессилить Германию. Это общее стремление объединило их на один день. Но на следующее утро после достигнутого совместно успеха они опять будут ожесточенными врагами... Положение Германии никогда не будет таким сильным, как в тот момент, когда она должна будет решать, итти ли Центральной Европе с Англией против России или

с Россией против Англии. Обессилить Германию значит приблизить час борьбы между Англией и Россией, и по сравнению с этой борьбой нынешняя война может показаться лишь прелюдией». «Если наша политика — говорит Моргентау — будет иметь целью укрепление Германии, как барьера против России, она будет больше способствовать возникновению новой мировой войны, чем какая бы то ни было другая линия нашей внешней политики». Это положение он сопровождает другим предостережением: «Если мы создадим из Германии барьер (против России), мы должны быть готовы к тому, что она будет пытаться использовать Россию против союзников, предлагая мощь Центральной Европы тому, кто заплатит более высокую цену. Мы никогда не будем знать наверное, будут ли немцы итти с Россией против Соединенных Штатов или с Соединенными Штатами против России».

У Германии есть и желание «сделать еще одну попытку» завладеть миром — доказывает Моргентау — и возможность сделать эту попытку. То, что мы знаем о психологии немцев после поражения, рассказы возвращающихся из Европы офицеров и солдат — прямое подтверждение первого положения. Может быть несколько более неожиданно второе. Однако и здесь приводимые Моргентау данные чрезвычайно красочны. Когда он, ссылаясь на Лондонский «Statist», сообщает, что уже через несколько недель после сдачи Германии в Рейнской и Рурской области и в Сааре работало 400 германских заводов и что по исчислениям некоторых статистиков Германия в момент сдачи сохранила 75% своей промышленной производительности, над этими цифрами нельзя не призадуматься. Кстати, он отмечает, что сведения о разрушении германских заводов бомбардировками очень преувеличены. В частности, многие заводы — Моргентау сообщает названия некоторых из них — уцелели, можно сказать, чудом. А «чудо» заключалось в том, что акции их как раз находились в руках американских банков и корпораций.

«Если мы будем так глупы, что позволим Германии организовать и экипировать большую армию после войны и снова стать мировой угрозой, мы заслужим ту участь, которую повлечет за собой эта глупость». Так писал в 1919 году ближайший советник Вильсона полковник Хауз. Если мы прибавим к словам «организовать и экипировать большую армию» фразу «или создать сильную тяжелую промышленность», то эти слова окажутся столь же правильными сегодня, как они были правильны тогда — утверждает Моргентау.

Но не отразится ли ликвидация германской тяжелой промышленности, которая неизбежно связана с весьма серьезным ограничением исследовательской работы германских лабораторий, на прогрессе науки? Ответом Моргентау на этот вопрос я хочу закончить настоящую рецензию. Лично я с этим ответом вполне согласен. Да,

пишет Моргентау, очень возможно, что «миру придется подождать, пока некоторые открытия, полезные с точки зрения здоровья и благосостояния человечества, будут сделаны не-немцами. Но опыт прошлого показал, что общее количество жизней, спасенных немецкими открытиями, составляет только ничтожную долю того количества жизней, которое было потрачено во время двух мировых войн, в которых научный гений Германии играл гораздо большую роль, чем в мирных достижениях». **С. Соловейчик**

В. Н. Ипатьев: «Жизнь одного химика. Воспоминания». Т. I: 1867-1917 гг. (XII+560 стр.); т. II: 1917-1930 гг. (635 стр.). Нью Йорк, издание автора, 1945 г. Цена за 2 т. —8.50 д.

Последние десятилетия для России были периодом расцвета мемуарной литературы. Книг и статей мемуарного характера после 1917 г. было напечатано едва ли не больше, чем за все предшествующие столетия истории государства российского. Но нервный темп нашего времени наложил свою печать и на эту литературу. В огромном большинстве случаев современные воспоминания представляют из себя торопливые записи о тех или иных событиях, участником которых привелось быть автору. Мемуары старого типа, когда авторы рисовали большие полотна, спокойно подводя итоги «пережитому и передуманному», являются редкими, единичными исключениями... Воспоминания В. Н. Ипатьева, принадлежат к числу таких исключений, даже и среди них выделяясь обилием фактического материала, его разносторонностью, широтою круга наблюдений и разнообразием зафиксированных встреч.

По своему основному призванию, автор является ученым-исследователем, — *философом-химиком», как он сам себя любит определять (кстати сказать, в русской литературе эти воспоминания, если не ошибаемся, являются вообще первыми воспоминаниями химика). Химия составляет по-истине основную страсть всей его жизни. В соответствии с этим основной темой его повествования является рассказ о научно-исследовательской работе и обо всем, что с этой работой связано. В этом отношении воспоминания Ипатьева представляют единственную в русской литературе летопись соответствующих сторон научной жизни страны за последние полвека.

Но Ипатьев меньше всего был человеком, склонным замыкаться в одну чисто-научную работу. В нем всегда была сильно развита жилка большого строителя-практика. Ипатьев впервые по настоя-

щему развернулся в годы первой мировой войны, когда его усилиями в России была фактически заново создана химическая промышленность.

Политически активным человеком Ипатьев никогда не был, но из его рассказа ясно, что с ранней молодости он разделял те умеренно либеральные настроения, которые в конце прошлого века были так распространены в кругах русской интеллигенции. Это определяло его место в общественной жизни страны. Его политические симпатии в период 1905 и следующих лет колебались между кадетами и мирнообновленцами. Он состоял председателем объединения родительских комитетов средних учебных заведений Петербурга, а в годы первой мировой войны играл видную роль в жизни военно-промышленных комитетов...

Эти особенности общественно-политической позиции Ипатьева предопределили его отношение к революции, рассказ о которой составляет наиболее значительную часть его воспоминаний. Он, конечно, никогда не сочувствовал большевикам; больше того, он до сих пор не может простить Временному Правительству, что оно не использовало июльские дни 1917 г. для полного разгрома большевистского движения. Но поскольку это не случилось, он стал смотреть на большевиков, как на единственную силу в стране, которая могла спасти Россию от хаоса полной анархии. Естественно, что он с самого начала считал ошибочной тактику бойкота, которую проводила русская интеллигенция в отношении к большевистской власти, и всюду, где только мог, отстаивал тактику сотрудничества с последней. Эту линию он проводил и в своем собственном поведении, — и в Артиллерийской Академии, и в Академии Наук, и в организациях военного ведомства, и в организациях хозяйственных.

Наиболее значительной была его работа в этих последних: в течении ряда лет он был даже членом Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства. Значение той части воспоминаний, где говорится об этой работе, для понимания советского периода исключительно велико. Автор является не только п е р в ы м, кто освещает деятельность Президиума изнутри, но и в будущем останется е д и н с т в е н н ы м: все остальные члены этого органа советской власти ушли из жизни (большинство их уничтожено Сталиным), не оставив своих воспоминаний. К сожалению, рассказ Ипатьева в этой части неполон: автор относительно подробно останавливается только на тех сторонах деятельности Президиума, в которых он сам принимал активное участие. А так как на свою роль он смотрел как на роль ученого специалиста, то вопросы б о л ь ш о й политики, — даже политики хозяйственной,— остаются почти полностью вне поля его зрения. Именно поэтому для него остаются непонятными некоторые из событий, имевшие прямое отношение к

нему лично. Так, например, он повидимому, не отдает себе отчета, что основной причиной гонений, которым он подвергся в 1927 и следующих годах, было его лояльное — и чисто деловое — отношение к Троцкому, против которого Сталин и его тогдашние помощники (Куйбышев и др.) вели свой главный поход. В виду этого правильно понять значение сообщаемых Ипатьевым в этой части его воспоминаний фактов можно только постоянно сопоставляя их с общей историей Советской России тех лет.

Помимо главной темы второго тома воспоминаний, читатель найдет в нем не мало и других весьма интересных данных. Так в нем впервые освещается история отношений советской власти с Академией Наук. Большой интерес представляют характеристики тех крупных большевиков, с которыми автору приходилось близко соприкасаться: очень показательно, что из этих характеристик симпатией проникнуты отзывы о тех, которые позднее пали жертвою преследований Сталина (Троцкий, Иоффе, И. Н. Смирнов, В. Н. Яковлева, И. Смилга, А. И Рыков, Ю. Л Пятаков), в то время, как ближайшие соратники Сталина выступают почти неизменно в самом неприглядном свете (с самим Сталиным Ипатьеву сталкиваться не пришлось).

Особняком следует поставить еще один важный эпизод, также находящий освещение в воспоминаниях Ипатьева: речь идет о секретных соглашениях с Германией по вопросу об изготовлении на территории России вооружений для немецкого райхсвера. В общей форме об этих соглашениях было достаточно известно (их разоблачили немецкие с.-д. еще в 1927-28 гг.). Воспоминания Ипатьева не только полностью подтверждают эти разоблачения с русской стороны, но и дают много новых деталей, позволяющих утверждать, что дело шло об очень большом плане, который был сорван именно потому, что он был разоблачен с.-д. По свидетельству Ипатьева, на заводах, которые были специально для этого устроены в России, шло изготовление для немецкого райхсвера не только оружия, но и ядовитых газов...

В краткой рецензии, конечно, нет возможности исчерпать богатое содержание двух объемистых томов, но и сказанного, думается, достаточно, чтобы понять общее значение этих воспоминаний. Они, несомненно, принадлежат к числу наиболее крупных явлений в области мемуарной литературы, увидевшей свет за последние десятилетия.

Б. Н-ский

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое издание, выходящее раз в три месяца.

●

Цена одной книги по предварительной подписке 2 доллара; цена двух книг — 4 доллара; цена трех книг — 5 долларов. В розничной продаже книга стоит 2 доллара 25 центов.

●

Адрес редакции:

Mrs M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel.: ENdicott 2-9893.

Там же принимается подписка.